

БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

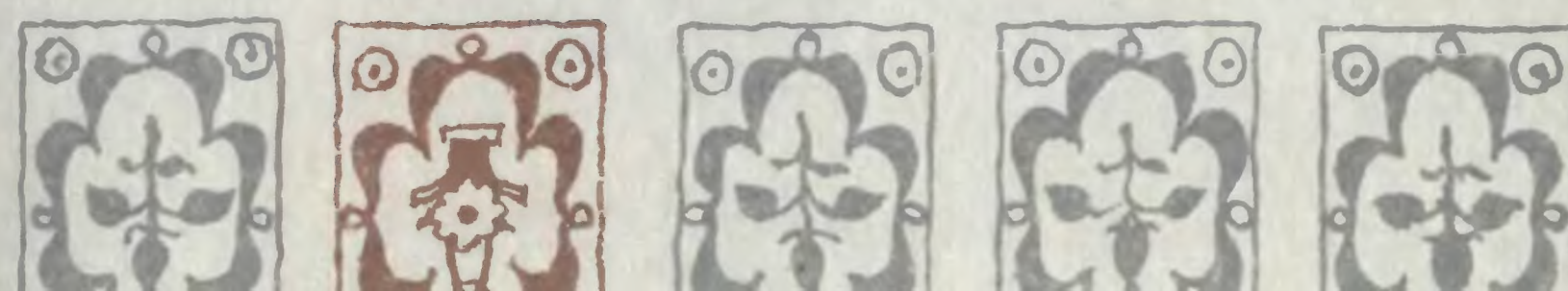


М. ГОРЬКИЙ
ИЗБРАННОЕ



М. ГОРЬКИЙ
ИЗБРАННОЕ







БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



М. ГОРЬКИЙ

*И*ЗБРАННОЕ



МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1982



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гоичар Олесь
Дехтерев Б. А.

Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсайд
Михалков С. В.

Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова Э. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Предисловие

Н. Н. ЖЕГАЛОВА

Оформление серии

Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации

Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Г 4803010101—469 Подп. изд.
М101(03)82

© Предисловие. Состав. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982 г.

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ РОССИИ

Когда в литературу входит мастер, создающий новый, яркий и волнующий мир идей и образов, мастер, поднимающийся до больших и смелых идейно-художественных обобщений, исследование его творчества постепенно так углубляется и расширяется, что приобретает характер самостоятельной науки. Гомер, Данте, Шекспир, Гете, Бальзак, Диккенс, Толстой, Достоевский и еще ряд мастеров первого ранга обрели бессмертие в эстетической памяти человечества — и каждому из них посвящена особая наука. Предметом специального, систематического изучения стало и творчество Алексея Максимовича Горького (1868—1936).

И как же интересно погрузиться в мир Горького!

Этот мир сверкает разнообразными красками, которым даже недруги писателя не могли не отдать должного. Горький всегда юношески остро воспринимал Красоту и зорко подмечал все темное, недостойное человека, умел ядовито высмеять все мелкое, претенциозное, мещански самодовольное (блистательная ирония Горького, сдержанная, иногда совсем невозмутимая по форме, но безжалостная по существу и напоминающая иронию Флобера и Чехова, мало изучена). Густой и яркий бытовой колорит соединяется в его книгах с философичностью. Он умеет увлечь за собой в странствия по Руси, умеет и втянуть нас в «сражения» догадок и систем, в напряженную работу ищущего, а иногда и капризно-причудливого, неугомонного человеческого интеллекта.

Величие, красота и сила русской классической литературы всегда заключались в ее глубокой, органической народности, мощно заявившей о себе и в «Слове о полку Игореве», и в страстной трагической исповеди протопопа Аввакума, и в величавой философской лирике Ломоносова, и в творениях Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Лескова, Некрасова, Толстого и других корифеев XIX века. Эту народность великой русской литературы унаследовал Горький. Но в его творчестве она поистине поднялась на новую, высшую ступень.

О творческой индивидуальности художника, который был одновременно и почтительным наследником русской классики и исполненным революционной смелости новатором, о его месте в социальных битвах нашего столетия очень хорошо сказал Феликс Эдмундович Дзержинский, которого мы знаем не только как славного борца революции, но и весьма тонкого в эстетическом отношении человека, наблюдательного психолога. Дзержинский встречался с Горьким в 1910 году на острове Капри и посвятил этим встречам несколько строк в своем письме Главному управлению социал-демократии Польши и Литвы, — несколько строк, представляющих собой целый портрет.

«С Горьким довольно часто встречаюсь, — писал Феликс Эдмундович, — бываю у него, иногда иду с ним на прогулку. Он произвел на меня огромное впечатление — своею простотою, своею жизненной силой и жизнерадостностью. Он интересуется всем, все хочет объять и все по-своему воспринимает душевно и правдиво. Его, по-видимому, мучит то, что он в изгнании, — и он ловит всякое проявление жизни, которое доходит до него оттуда, и создает целые картины сел и городов и живет этим — живет так, как будто бы сам был там и как будто сам был душою народа — его поэтом, его голосом и его надеждой. Он является поэтом пролетариата — выразителем его коллективной души».

Именно потому, что Горький — гениальный выразитель коллективной души пролетариата, он и занял такое важное место в духовной жизни человечества, стал символом новой эпохи в истории его художественного развития.

Горький не только яркое явление в искусстве слова, но и начало, становление и величайшие триумфы нового, революционного, художественного метода — метода социалистического реализма.

Возникновение социалистического реализма обычно связывают с романом «Мать» и пьесой «Враги», появившимися в 1906 году. Но в этих произведениях социалистический реализм выступает уже в своих зрелых, классических формах. А предшествующие полтора десятилетия литературной деятельности Горького — их как истолковать? Неужели они прошли целиком и полностью под знаком «старого» искусства, под знаком «старых» художественных методов? Ведь эстетические предпосылки социалистического реализма заметны уже в «догорьковской» литературе — и русской и мировой. Так неужели в творчестве самого Горького до 1906 года не проявились какие-то элементы нового художественного метода?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прежде всего преодолеть бытующее схематическое, однолинейное, слишком рационалистическое (рассудочное) понятие о художественном методе. Необходимо учитывать, что художественный метод — это

сложнейшая и многогранная система не только философских, политических и научных взглядов художника, но и его понятий о Прекрасном, а также его эмоционально-психологических восприятий, произвольных духовных реакций на различные явления социальной жизни и природы; метод в искусстве — это не только мировоззрение, но и мироощущение, в методе присутствует не только отчетливое, математически ясное интеллектуальное начало, но и то, что принято называть интуицией (неотделимое от разума, но не сразу освоенное им, еще не озаренное его светом, как бы инстинктивное постижение действительности). Метод, прежде чем стать завершенной, зрелой системой, проходит разные стадии своего формирования и проявляет себя как бы фрагментарно («элементы метода»).

Для понимания генезиса (происхождения) метода социалистического реализма очень важно не упускать из виду, что и революционное самосознание рабочего класса сформировалось не сразу, а проходило через определенные этапы развития. Когда Горький делал первые шаги в искусстве слова, пролетариат еще не был на том уровне осознания своих исторических задач, какого он достиг накануне и особенно в период первой русской революции. Горький идейно рос вместе со своим классом. Однако это нельзя понимать упрощенно как два, так сказать, параллельных, одинаковых по темпам процесса. Дело гораздо сложнее. Вот что пишет о соотношении пролетарского движения с его эстетическим отражением критик-марксист В. В. Воровский: «... Если *политическая* идеология приняла вполне определенные формы, точно соответствующие смыслу, направлению и задачам рабочего движения (марксизм), то нельзя того же сказать про *эстетическую* идеологию. Эта область человеческого творчества, по самому свойству своему поэтического отображения жизни, менее всего точно отражает действительность и более всего запаздывает с этим отражением. Художественное творчество, носящее определенные классовые черты, складывается лишь тогда, когда сам класс уже значительно оформился и осознал свою самостоятельность. На заре движения, когда только начинают формироваться первые кадры будущего боевого класса и умы охватывает еще неясная, расплывчатая, хаотическая идея борьбы, эстетическая идеология проникнута лишь неоформленными, радостными предчувствиями и чаяниями, преисполнена сознания избытка накапливающихся сил и жажды дать исход этим силам».

Горький как художник революционного пролетариата, как мастер социалистического реализма сформировался в революционных битвах 1905 года. Однако духом смелого новаторства, несущего на себе эмоционально-психологический отпечаток ранних настроений и устремлений рабочего класса, свойственного

этому классу исторического оптимизма, литературная деятельность Горького была проникнута с самого первого опубликованного его произведения («Макар Чудра», 1892). И еще до вступления в литературу Алексей Пешков написал «Песнь старого дуба», поэму, запечатлевшую все, о чем автор «думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни». «Песнь старого дуба» не сохранилась. Но одна фраза из поэмы дошла до нас, ее сообщает сам Горький в очерке «Время Короленко». Вот эта фраза: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Декларация — знаменательная.

Знаменательно и то, что «Песнь старого дуба» несомненно была произведением романтическим¹. Горький начинал свой путь как романтик — романтик не абстрактно-созерцательный или кабинетный, а прошедший (вернее, проходящий) суровую школу жизни и любящий жизнь, несмотря на все ее тяготы и мучения. Он мог бы сказать о себе словами высоко ценимого им первоклассного мастера остросюжетного повествования — капитана Майн Рида (кстати, тоже прошедшего через суровые житейские «университеты»): «В жизни много романтического — это не иллюзия. Романтика живет не в светских гостиных... Романтику надо искать в других местах — среди великой и могучей природы, хотя и не только там. Ее можно найти среди полей и дубрав, среди скал и озер, так же как и на людных улицах больших городов. Ибо родина ее в человеческих сердцах — сердцах, которые охвачены высокими стремлениями и бьются в груди у людей, жаждущих Свободы и Любви» (Майн Рид, «Квартеронка»).

«Высокими стремлениями», мечтой о светлых человеческих отношениях было проникнуто и сердце Алексея Пешкова, «нижегородского цехового», и с этими мечтами, с этими стремлениями он вступил в литературу; и он оставался верен им до конца своих дней.

«Несогласие» с бескрылым существованием, чуждым «духа смятенного», резкое осуждение духовной аморфности и трусости омещанившейся интеллигенции, совершенно непривычный для тех лет высокий жизненный тонус отличают уже экзотические, несущие на себе печать огромного, но еще незрелого таланта рассказы «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

¹ Романтизм, если определить его в самой общей форме, — это художественный метод, основанный на стремлении выделить и типизировать наиболее патетические, яркие, контрастирующие элементы действительности, найти необыкновенное в обыкновенном, воссоздать жизнь в ее самых острых и драматических моментах. Александр Блок (романтик до глубины души) понимал романтизм — точнее, романтическое мироощущение, романтическое восприятие бытия — как стремление «жить удесятеренной жизнью». Реализм рационалистичней, научней, он основан на художественном исследовании жизни, преимущественно в ее повседневном течении, на более строгом и конкретно детализированном социальном анализе. Горький нас покоряет жизненной правдой и как реалист и как романтик.

В произведениях этих мы находим сложное соединение разнообразных идей и романтических увлечений. Молодой Горький явно идеализирует цыганскую вольницу. Моральный кодекс революционного пролетариата, конечно, требовал более критического отношения и к старой Изергили с ее анархическими нравственными понятиями, и к странной паре — Лойко Зобару и Радде, этим сверхиндивидуалистам, подменившим истинную любовь жаждой власти над чужой душой и обожествлением собственного «я». Но нельзя не отдать должное молодому художнику: залюбовавшись своими колоритными героями, он вместе с тем заклеил крайний индивидуализм, воплощенный в образе зловещего, всеми отвергнутого Ларры.

Своеобразный вызов косному и реакционному мещанству заключался и в характерной для раннего Горького поэтизации кочевой стихии. Картинный цыганский мирок был как бы противопоставлен обывателям, всем, кто погрузился в одноцветные, анемичные будни, забыл о сильных движениях души. Горький, который, конечно, подписался бы под словами автора «Квартеронки»: «В жизни много романтического — это не иллюзия», всегда осуждал тех, кто не замечал красоты мира, осуждал тех, кто все подчинял мелким, суетным, банальным расчетам и страстишкам. Эта борьба Горького против обывательского «антиромантизма» (с которым он мучительно столкнулся еще в свои юные годы, о чем поведал в автобиографической трилогии) также проходит через всю жизнь писателя.

Высокий оптимистический тонус двух «южных поэм» Горького, антиницшеанская направленность легенды о Ларре, яркий, «антибудничный» колорит рассказов — все это если и не было осознано современниками как первый проблеск новой литературной эпохи, то, во всяком случае, поразило их своей дерзкой новизной и весенней свежестью. Но самая главная новизна — сейчас это особенно ясно — заключалась в легенде о Данко.

Она была первым по времени и выдающимся по своей трагической силе и глубине социально-философского смысла воплощением тех понятий о человеке, о его сущности и призвании, которые очень рано сложились у Горького и в дальнейшем конкретизировались, углублялись, обогащались новыми оттенками, но в основе своей оставались неизменными.

Сущность этой концепции человека, характерной для нового, становящегося искусства, то есть для искусства не только воплотившего лучшие идейно-эстетические традиции мировой культуры, но уже развивающегося в сторону социалистического реализма, заключалась в том, что человек рассматривался как воплощение высочайшего духовного потенциала (пусть до поры до времени, в силу исторических обстоятельств, еще не реализованного)

и как носитель высочайшей ответственности за устройство жизни, за судьбы мира. Эта концепция требовала решительного преодоления узко понятых интересов своего «я», требовала беззаветного служения интересам своего народа, интересам всего человечества, требовала активности, энергии, творческого деяния.

Данко предстал перед читателем как живое воплощение такого героического идеала. Сила и убедительность этого образа были в том, что молодой художник не просто декларировал свою философско-эстетическую программу, а нашел для обрисовки героической фигуры Данко живые, яркие краски, нашел удивительные слова — совершенно простые и эпически-мудрые, порой неожиданные, звучащие как отголосок чего-то сказочного, древнего и вместе с тем не умирающего никогда. Уже начальные строки увлекают нас в мир старинной, простой и нетленной сказки: «Жили на земле в старину одни люди...» Большой эмоциональной силой обладают в горьковской легенде резкие контрасты: жизнерадостные, веселые люди — и необходимость забыть все радости жизни, уйти в болота, во тьму; лучи солнца — и лесной мрак... Каждая деталь в этом произведении — многозначительна, символична или тяготеет к символу. Как олицетворение темной и равнодушной судьбы предстают перед людьми «каменные деревья» с их молчанием и неподвижностью. А чего стоит одна, по-гоголевски смелая гипербола: сердце Данко «пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца...». Немногими решительными и смелыми, напряженно-эмоциональными мазками, которыми так силен романтизм, создан образ человека, живущего не для себя, а для своего народа, человека, бросающего вызов судьбе и злым силам угнетения.

Выше мы назвали легенду о Данко произведением трагическим. Ее трагизм заключается не только в том, что Данко погибает, но и в том, что он духовно одинок. В легенде, символически утверждающей идею гражданского подвига, показана и судьба личности, далеко опередившей свое время и даже пугающей современников смелостью и величием духа. Вспомним упреки и угрозы, с которыми люди в пути обрушились на Данко; вспомним, как один из спасенных им соплеменников, осторожненький и трусливый, наступил ногой на еще не погасшее сердце того, кто отдал жизнь за других...

Почему же писатель, начиная свой творческий путь на заре нового — пролетарского — этапа освободительного движения и, надо полагать, уже прекрасно зная, что тип одинокого героя стал анахронизмом (то есть чем-то несвоевременным, отжившим, принадлежащим другой эпохе), все-таки изобразил своего героического юношу одиноким? Тут мы должны напомнить читателям: самый жанр легенды означает повествование о прошлом — может быть, об очень далеком прошлом. Так было! — говорил художест-

венной логикой своей легенды Горький. Но в легенде заключалась и другая мысль: так больше не должно быть! Тесно общаясь с народнической интеллигенцией, Горький знал, что в ее кругах еще не совсем утратили авторитет народнические теории о «толпе» и о «герое», который ведет за собой «толпу». Вообще проблема взаимоотношений личности и народа вовсе не была снята с повестки дня. Жанр легенды давал Горькому возможность заострить, преподнести в интенсивно-эмоциональной форме, свойственной романтизму, проблему, которая еще сохраняла (и до наших дней сохраняет) свою актуальность. Молодой пролетарский художник как бы призывал еще лишь начинавшие пробуждаться массы внимательней относиться к своим героям, а героев — больше заботиться о том, чтобы их идеи становились достоянием народа. Самая заостренность социально-этической и философской проблемы взаимоотношений личности и общества — заметим, что она и в дальнейшем чрезвычайно интересовала Горького, — была знаменем новых идейно-творческих исканий в литературе.

Но главное заключалось в прославлении героического подвига, совершаемого ради счастья людей. Образ Данко и созданный несколько позже образ вольнолюбивого и гордого Сокола воплотили в себе то мощное революционно-романтическое начало, которое органически войдет в социалистический реализм и породит в нем особую «стилевую линию» (ныне все более привлекающую внимание исследователей).

Художественные свершения молодого Горького-романтика были прекрасны и имели необычайный резонанс. Горьковский романтизм (с которым писатель не расставался никогда) был порожден историческими битвами эпохи. Только художник, кровно связанный с молодым революционным классом, мог создать такие смелые, близкие всем народам романтические образы, как образы Данко и Сокола. Однако по основным, преобладающим свойствам своего художественного мироощущения, эстетического отношения к действительности Горький был реалистом. И чем шире развевалась его литературная деятельность, тем очевиднее становился этот факт.

Та же историческая обстановка, которая породила горьковский романтизм, властно требовала от писателя и совсем иных прозрений, требовала более аналитического, объективного, «исследовательского» подхода к действительности.

Конечно, и Данко и Сокол были поэтической трансформацией вполне реальных впечатлений, размышлений, мечтаний, навеянных «хождением» беспокойного, мучительно ищущего, необыкновенно талантливого человека по Руси (слово «мучительно» здесь не просто традиционный эпитет, — вспомним о попытках Алексея Пешкова в 1887 году покончить с собой). Но Горькому

хотелось глубже постигнуть то необычайное и увлекательное, что открылось перед ним, постигнуть и запечатлеть великую страну, охваченную невиданным брожением, работающую, страдающую, веселящуюся, философствующую... Да, непременно и философствующую.

В одной из ранних статей Горький сказал о себе, что «сызмальства склонен к «мудрости эллинской, философией зовомой, сиречь любомудрием». Эта черта была в нем народной чертой и вместе с тем знаменем эпохи. На пороге великих перемен мысль народная пульсировала особенно напряженно, страстно, порой следуя самыми причудливыми путями в поисках истины. И надо сказать, что для Горького человек был интересен прежде всего как существо мыслящее и философствующее. С молодых лет Горький испытывал «радостное и гордое удивление», когда наблюдал, как из-под внешней «оболочки» людей — «оболочки», может быть, и самой незначительной, серенькой — «возникают, выбиваются огни мышления». Этот страстный и благородный интерес к «огням мышления» и связанный с ним интерес к науке, своего рода культ научной, философской мысли никогда не покидали Горького...

С 90-х годов начинает Горький создавать свою уникальную панораму пестрой и встревоженной, ищущей, борющейся народной Руси, панораму ее социальной жизни, все более сотрясаемой классовыми антагонизмами, панораму ее духовной жизни.

Первые фрагменты этой многотомной, мозаичной национальной эпопеи отмечены одной, как бы экзотической особенностью — интересом молодого художника к русским людям, живущим вне общества.

Мог ли такой социально чуткий художник, как Горький, пройти мимо этой неустроенной, выбитой из колеи, неприкаянной Руси!

Образы босяков — это как бы первый обвинительный акт, предъявленный Горьким несправедливо и неразумно устроенному обществу. В самом деле: при всех своих слабостях и недостатках основные «босяцкие» персонажи Горького несомненно обладают значительным умственным потенциалом. В этом им никак не откажешь. Они красноречивы, остроумны, они гораздо умней и интересней многих «хозяев жизни» (хотя и последних объективный и честный художник Горький вовсе не склонен «оглуплять»). Горьковские люмпен-пролетарии, у которых нередко нет даже ломтя хлеба, чтобы утолить свой голод, оказались способны понять, что поистине «не единым хлебом жив человек». Для их жизненной философии характерен своеобразный культ внутренней независимости, известное презрение к суетным благам мира сего, накладывающим собственнические оковы на человеческую душу...

Вспомним, например, какую гордость, какую широту натуры

проявляет портовый босяк Челкаш, столкнувшись с дикой стихией собственнических инстинктов, овладевшей темным деревенским парнем Гаврилой. Нельзя отказать в своеобразной гордости, в остроумии и философических способностях красноречивому ротмистру в отставке Аристиду Фомичу Кувалде — герою рассказа «Бывшие люди». А сколько чуткости и такта оказалось в душе отверженной обществом юной Наташи, так поэтически описанной в грустном и гневном рассказе «Однажды осенью»! И каким непоколебимым духом самокритики проникнут босяк Коновалов, явно несправедливый к себе, но привлекающий нас тем, что не хочет снимать с себя ответственность за свою жизнь! А какую обостренную впечатлительность проявляет этот «босяк» по отношению к художественной литературе! Вспомним также Емельяна Пиляя. Человек грубоватый и, казалось бы, дошедший до цинического отношения ко всей жизни, он знал минуты самого возвышенного нравственного просветления, минуты, о которых он уже не в силах забыть.

Естественно, перед читателями Горького возникал вопрос: соответствует ли идеалам правды и справедливости общество, которое не нашло применения духовным силам этих людей?

В своих рассказах молодой художник отобразил непримиримые антагонизмы между хозяевами и трудящимися, набросал первые, свидетельствующие о замечательной психологической наблюдательности и сатирической едкости автора, портреты стяжателей (вспомним, например, купца Петунникова и его сына в «Бывших людях»). Горький уже тогда начал присматриваться к психологии пролетария и подметил в нем черты духовного здоровья, веселой бодрости и безжалостного критицизма по отношению к буржуазно-либеральной, псевдогуманистической болтовне («Озорник»). Он подметил в рабочих — это было одно из самых замечательных, самых перспективных открытий молодого писателя! — не только стремление улучшить материальные условия своего бытия, но и смутную тоску по эстетическому и этическому идеалу (рассказ «Двадцать шесть и одна», принадлежавший к тем горьковским произведениям, которые особенно любил Ленин). В эти годы писатель уже начал разрабатывать и одну из основных, капитальных тем своего творчества — тему интеллигенции, ее призвания и долга, тему ее взаимоотношений с народом («Ошибка», «Варенька Олесова», «Читатель» и др.).

К концу 90-х годов запас социальных наблюдений Горького был уже колоссальным. Писатель не мог не задуматься над необходимостью расширения жанрового диапазона своего творчества. И вот новеллист становится романистом, а несколько позже и драматургом. Это жанровое разнообразие, не характерное для рус-

ских писателей того времени, было одним из проявлений творческой силы возникающего нового направления.

Есть определенное сходство в тематике и проблематике первых романов Горького — «Фома Гордеев» и «Трое».

Каждый из этих романов, если воспользоваться философско-литературным термином позднего Горького, представляет собой «историю молодого человека». Так Горький обозначил ряд талантливых произведений XIX столетия, изображающих сложные, иногда весьма драматические, формы взаимоотношений личности и общества — личности, стремящейся обрести свое «я» и определить свое место под солнцем, и общества, в котором царят законы эгоизма и насилия.

Горький в своих романах конца XIX — начала XX века нарисовал типы молодых людей, порожденные своеобразной эпохой — эпохой, когда русский капитализм праздновал свои триумфы и одновременно демонстрировал явные признаки какой-то «собачьей старости», как писал А. В. Луначарский.

Это соединение внешне триумфального с неблагополучным, гнилым, античеловеческим в буржуазном обществе, осложненное в России анекдотически зловещими уродствами живучего феодализма, было по-разному воспринято молодыми людьми Горького.

Крестьянскому сыну Илье Луневу, одному из основных героев романа «Трое», свойственны фанатический дух индивидуализма, непреклонное намерение любой ценой выбиться в люди, то есть стать благополучным, преуспевающим собственником. Но к этому у Лунева присоединяется заветная мечта о внешнем и внутреннем благообразии, о том, чтобы у него все было красиво и чисто — не так, как в городских трущобах, где проходили его отроческие годы, и не так, как у вульгарного, жуликоватого трактирщика Петрухи Филимонова. И этот нравственно-эстетический элемент в сознании Лунева, на протяжении всего романа тонко выявляемый автором, и составляет ключ к пониманию той на первый взгляд странной, запутанной, карамазовски темной драмы, которая разыгралась с Луневым. И в раскрытии этой драмы опять-таки блестяще проявилась социальная и нравственная зоркость художника-новатора.

Мечта Ильи (собственная галантерейная лавочка) стала реальностью. Но радости это не принесло. Именно теперь Лунев с небывалой остротой понял то, что смутно ощущал давно, — понял, что живет в обществе, где грань между злом и добром едва ли не стерлась. С особенным удивлением, даже — на первых порах — с некоторым испугом почувствовал он, что в его собственной душе, в душе убийцы, нет и намека на раскаяние. Очевидно, в этом мире все позволено. Только будь похитрее и никого не жалей.

Как видим, Илья приходит к упрощенному и более «скромно-

му», без наполеоновского размаха, варианту философии, к которой пришел Раскольников, герой романа Достоевского «Преступление и наказание».

Но далее обнаруживается и существенная разница между героем Достоевского и героем Горького, объясняемая не только различием мировоззрений двух замечательных писателей России, но в еще большей степени «индивидуальными особенностями» эпох, возникновением новых философско-эстетических начал в русской и мировой литературе.

В сложной гамме настроений Раскольникова, после того как он совершил убийство, преобладает мучительное для него, создателя концепции «сверхчеловека», осознание того факта, что он оказался человеком слабым, человеком толпы, неспособным хладнокровно «преступить» извечные законы. Впрочем, он оказался достаточно хладнокровным, чтобы, отняв жизнь у трех людей¹, продолжать жить. Достоевский, гениально проследив все, даже самые мельчайшие, движения возбужденной и извращенной мысли Раскольникова, все оттенки его настроений и осуждая его как человека, «преступившего» древнюю заповедь «не убий», не был, однако, свободен от христианской снисходительности по отношению к своему герою. Это проявилось и в завершающем роман намеке на возможность воскресения души Раскольникова. Заключительный аккорд романа навеян христианским учением о том, что искреннее раскаяние очищает самую преступную душу, и о том, что господь бог простит любого грешника, если тот покается.

Разрабатывая свое (еще не вполне оцененное) искусство психологического анализа, Горький многому учился у Достоевского — у одного из величайших в мире художников-психологов. Но попытки Достоевского найти решение всех волнующих человечество проблем в евангельских легендах, его чрезмерная сосредоточенность на патологических душевных состояниях и его реакционные политические тенденции, естественно, были глубоко чужды Горькому. Признавая шекспировскую глубину автора «Братьев Карамазовых», Горький нередко полемизировал с ним — полемизировал и как публицист и как художник.

Эта полемика заметна и в романе «Трое». Молодой пролетарский писатель понимал, что христианское отношение Достоевского к ницшеанцу Раскольникову таит в себе опасность примирения и с общественным строем, порождающим «наполеонов» разного масштаба. Поэтому Горький сознательно поставил Илью Лулева в раскольниковскую ситуацию, чтобы показать недопустимость, противоестественность малейшего намека на примирение с воин-

¹ Раскольников не только убил старуху-процентщицу и ее сестру, но и стал виновником преждевременной смерти своей матери.

ствующим индивидуализмом, с царящим в мире социальным злом. Если в романтической легенде о Ларре писатель сделал судьей отщепенца народа племя, то судьей Лунева он сделал самого Лунева.

При всех его ницшеанских тенденциях, этот крестьянский сын еще не утратил здорового народного начала, и оно не позволяет ему примириться с обществом и с самим собой. Угрызений совести по поводу своего образа жизни как будто нет. Но есть страшные, все нарастающие тоска и отвращение. Противно жить в обществе, где имеет вес и значение Петруха Филимонов. Противно видеть фальшивые семейные отношения обывателей. Противно ощущать самого себя копошащимся в этом болоте, измаранным грязью и кровью. Ведь мечтал о жизни чистой и красивой... Устроив предварительно шумный, скандальный разоблачительный дивертисмент, несколько омрачивший настроение небольшой группы мещан, Илья Лунев кончает с собой.

В описании жизни и гибели Лунева нет прямолинейной, обнаженно-публицистической полемики с Достоевским. Но Горький возлагает на человеческую личность большую степень ответственности за ее социальное поведение и проявляет гораздо большую непримиримость к эксплуататорскому строю.

Скрытая полемика с христианскими идеями Достоевского (и не только Достоевского) содержится и в истории жизни и гибели Якова Филимонова.

Образ этот также свидетельствует о силе Горького как художника, чуткого к различным идейно-нравственным исканиям народной массы. Яков — возвышенная натура, он привлекает своей одухотворенностью. Но искания его окрашены в христианские тона покорности. Неудивительно, что жизнь сломила Якова. Его трагедия — как бы демонстрация несостоятельности христианской философии и этики.

Горький наблюдал и другой социально-психологический тип — тип человека, идущего «сверху» на «дно», — наблюдал и остро интересовался им. Ибо и этот тип был выражением определенных процессов, происходящих в буржуазном обществе. Иногда такое выпадение из социальной колеи было связано просто с деградацией буржуазной личности, иногда было результатом своеобразного недовольства, бунтарства, мятежа тех, кого Горький впоследствии назовет «блудными детьми» буржуазии.

Таким «блудным сыном» своего класса является Фома Гордеев. Это один из наиболее колоритных образов, созданных молодым Горьким. Писатель дал герою романа имя апостола, который прославился своим скептически недоверчивым умом. Сознательно ли это сделал Горький — трудно сказать. Как бы то ни было, нежелание ничего принимать на веру — даже от наиболее почитаемых авторитетов, готовность бестрепетно вложить персты в

любые язвы образуют главную черту Фомы Гордеева. В его сердце живет дух обличения. И весь роман построен на столкновении этого человека с миром «лавочников».

Правда, Фому трудно считать положительным героем, ибо, резко и гневно нападая на окружающих, он снял с себя нравственную ответственность за устройство собственной жизни. Его анархические дебоши, совершаемые в компании всякого рода авантюристов и представителей богемы, влекут за собой страдания и гибель ни в чем не повинных людей. «Баржу № 9-й разбили. Человеку спину перешибли, — а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп...» — докладывает о подвигах Фомы его крестному отцу Маякину капитан одного из гордеевских пароходов.

Однако есть в этом неприкаянном, лишнем человеке и какое-то здоровое нравственное начало, заставляющее его с презрением отворачиваться от той морали и жизненной программы, которые навязывает ему философ купеческого мира Маякин. В конце романа Фома духовно сломлен, царство маякиных превратило его в юродивого. Но в стихийном мятеже этой личности, сохранившей в себе, при всех своих слабостях, какой-то элемент народного представления об истине и справедливости, было своего рода предупреждение — суровое предупреждение! — господствующим классам.

Новым молодым героем своего времени является пролетарий Павел Грачев («Трое»).

Этот замечательный и до сих пор не вполне оцененный образ, в сущности, гораздо более значителен, нежели образ Нила из пьесы «Мещане». Павел многогранней, одухотворенней, более вдумчив, внимательней к людям; он — талантлив. В этом образе воссозданы весьма существенные, яркие черты молодого рабочего, постепенно, в результате мучительных испытаний, наблюдений и размышлений приходящего к пониманию механики общества, к пониманию необходимости борьбы.

Романы «Фома Гордеев» и «Трое» интересны не только тем, что в них запечатлено разнообразие путей, открывавшихся в конце XIX века перед вступающими в жизнь молодыми людьми, но и широкими картинами социальной действительности, разнообразными типами хозяев. Из этих типов наиболее значителен Маякин, показанный смело, тонко и правдиво, во всем своем «блеске» — Маякин умен, деятелен, красноречив — и во всей своей духовной нищете: весь его «блеск» служит, в конце концов, звериной проповеди пожирания слабых сильными.

Два первых романа Горького с их новаторским, революционным духом, с их глубоко аналитическим подходом к действительности были не только выдающимися образцами критического реализма, но уже содержали в себе отчетливые признаки социалистического реализма.

Годы общественного подъема, которые предшествовали первой русской революции, были годами и дальнейшего стремительного творческого роста Горького, его духовного, идейного созревания. В эти годы он обогатил русскую литературу такими произведениями, как реалистические пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники», как романтическая философская поэма «Человек».

Только художник, усвоивший новый, революционный взгляд на мир, мог так остро выявить непримиримые социальные противоречия России, создать такие социально-психологические типы, как старшина малярного цеха Бессеменов, хозяин ночлежки Костылев, паровозный машинист Нил, представитель бродячей Руси Лука. В обрисовке этих типов проявился огромный талант Горького-психолога, необычайная зоркость художника-революционера.

Присмотритесь, прислушайтесь к Костылеву. В каждом его слове — говорит ли он о лампадном масле или философствует о недопустимости существования людей, не имеющих строго определенного места в обществе, — отражается точка зрения хозяина, самодовольного, упрямого, лицемерного, страшного и опасного в своей непоколебимой ненависти ко всему живому, новому, свободному, ко всему нарушающему домостроевские каноны.

Еще интересней, сложнее, затейливей, многогранней образ Бессеменова, образ, в котором наряду с костылевским началом есть и элементы трагизма. Бессеменов предстает перед нами не только как консерватор и собственник, но и как отец, страдающий из-за никчемности своих детей, как человек, веривший в незыблемость старого мира и смутно ощутивший его зыбкость, непрочность и бессильный противопоставить надвигающимся переменам какие-нибудь свои духовные ценности. В конце концов, то общечеловеческое, что есть в Бессеменове, не может скрыть, затушевать костылевской сущности его жизненной позиции, его философии.

И мы опять убеждаемся в том, как искусно умел Горький уже тогда соединить анализ сугубо индивидуальных особенностей личности с анализом ее классовой природы, показать обреченность мира лавочников. Да, это было совсем новое искусство.

Глубокий психологизм Горького, его социальная зоркость, его философичность еще выразительней, интенсивней проявились в создании образа Луки. Тут перед нами один из ярчайших социальных портретов горьковской галереи, фигура в высшей степени многозначительная, интересная не только в социально-бытовом и психологическом, но и в историческом плане. Разумеется, Луку можно понять лишь в связи с общим идейным замыслом пьесы.

Идейно-художественная сила пьесы «На дне» заключалась не только в революционной критике господствующего строя, но и в революционной народной самокритике. Горький обнажил противоречивость и бесчеловечность социальных отношений,

делающих неизбежным возникновение «дна». В то же время художник выявил в концентрированной, заостренной почти до гротеска форме и те слабости и иллюзии, обломовскую пассивность и безволие, а также равнодушие, холодный скептицизм невежества, которые еще были свойственны какой-то части народа и мешали ему выйти на дорогу самостоятельного исторического творчества. Своей пьесой художник как бы призывал демократию очиститься от всего темного и вредного, что прилипло к ней в ходе истории. А прозвучавшая в пьесе знаменитая формула о человеке призвана была напомнить о необходимости борьбы за человеческое достоинство.

Образ Луки — это еще небывалый в русской (да и в мировой) литературе образ бродячего простонародного философа, образ, в котором воплотились искания и блуждания известной части социальных низов, стремление к истине и путаница понятий, трезвый реализм мышления и фантастическое бегство в утопические страны, создаваемые воображением патриархальных крестьян. Лука — носитель христиански окрашенной и вместе с тем плебейски самобытной, причудливой системы взглядов, в которой есть и детская вера и холодный скепсис, есть небрежно-снисходительное утешительство, крайний индивидуализм и стремление к коллективу. Странник этот — довольно тонкий психолог и неутомимый наблюдатель. В нем, как заметил известный немецкий критик и публицист Франц Меринг, «кроется нечто философическое».

В сложном комплексе понятий и настроений этого бродячего философа заметен явный критицизм по отношению к хозяевам, отчужденное (если не враждебное) отношение к полицейскому государству и даже элементы скептического отношения к идее «бытия божиего». Однако преобладающим началом в сознании Луки является начало христианское. Лука — апостол христианского учения. Это его профессия. Он распространяет евангельскую этику и в форме непосредственного призыва терпеть, как велел Христос, и в форме повторения излюбленного христианами тезиса о том, что «все мы на земле странники», и особенно в форме утверждения универсальной, неразборчивой жалости («Христос от всех жалел...», «ни одна блоха — не плоха» и пр.). И эта проповедь Луки в защиту терпения и всяческих иллюзий объективно соответствует программе Костылева, содержателя ночлежки, внушавшего ее обитателям, что «не всякая правда нужна». Вот почему В. В. Воровский назвал Луку «шарлатаном гуманности». Не следует только всего Луку сводить к этой формуле. Он гораздо сложнее, интереснее, затейливее.

Образ Луки, если рассматривать его в философско-историческом аспекте, — это яркое и целостное художественное обобщение специфических особенностей простонародной формы выро-

ждающегося христианства, уже лишенного внутренней убежденности, уже эклектичного, разъедаемого сомнением, но еще цепляющегося за жизнь и пытающегося выполнять свою социальную функцию примирения рабов с их горькой участью.

В то же время Лука — демонстрация и дарований, таящихся в народе. Ибо человек этот несомненно даровит, своеобразен, оригинален. Только дарования его затемнены, извращены длительным воздействием господствующих классов, их «учителей жизни» на массу народную.

Если в пьесе «На дне» отсутствуют персонажи, связанные с передовыми, прогрессивными силами общества, то в «Мещанах» и «Дачниках», хотя эти пьесы и не обладают такой яркостью, как «На дне», мы находим типы людей начала XX века, не удовлетворенных старым порядком жизни, протестующих против него. Таковы представители демократической интеллигенции: Шишкин, Цветаева (в «Мещанах»), Влас, Варвара Михайловна, Мария Львовна (в «Дачниках»). Но самым интересным, исторически значительным образом социального протестанта, бросающего вызов старому обществу, является в ранних пьесах Горького образ паровозного машиниста Нила.

Отнюдь не претендуя на то, чтобы создать законченный образ героя нового времени, революционного пролетария (для этого Горький тогда еще и не был вполне готов духовно, идейно), писатель, как бы в дополнение к лирико-трагическому образу Павла Грачева, проходящего через страшные социальные «университеты» и в мучительных поисках подошедшего к новому мировоззрению, открывает в русской действительности и иной тип передового рабочего.

С Павлом Грачевым Нила роднят страстное отрицание социальной несправедливости и жажда борьбы, еще не подкрепленная, впрочем, конкретной политической программой. При сходстве или единстве мировоззрений эти люди очень не похожи друг на друга. Перед нами два разных характера. Если у Грачева — художественная натура, которой знакомо и чувство грусти, и то, что Анатоль Франс называл «молчаливыми оргиями раздумья», то Нил — натура более мажорная и несколько прямолинейная. Он весь сосредоточен на охватившем его с некоторых пор воинственно-оптимистическом настроении и еще как бы не видит всей сложности исторической и социально-житейской обстановки, не догадывается о том, что пролетарскому революционеру надо уметь изучать действительность в разных ее проявлениях, не только постигать общие идеи, но быть в какой-то мере психологом. Конечно, энергия и бодрость Нила — качества социально ценные. Художественная логика пьесы рождает у читателя ощущение того, что в дальнейшем пока еще несколько неопределенная революционность

Нила найдет опору в отчетливой программе, включающей в себя и высокие гуманистические идеалы, характерные для пролетарской революции.

Воспринявший, унаследовавший от позднего Толстого и от Чехова идейно-психологический мотив — «так больше жить нельзя», Горький сумел придать этому мотиву историческую и социальную конкретность, разглядеть живые силы, призванные изменить действительность. Но Горький этим не ограничился. То общественное настроение, которое он выразил в многообразных, реалистически конкретных формах, писатель воплотил и в синтезирующих, предельно обобщенных, символических формах. Он сумел в рамках совсем небольшого, крошечного произведения дать как бы квинтэссенцию ожиданий, чаяний и устремлений, волновавших в первые годы XX века передовую Россию.

Мы имеем в виду, конечно, «Песню о Буревестнике». Ослепительно яркие краски («черная молния», «синее пламя» и т. п.), смелая и полная исторического смысла романтическая символика (Буревестник как символ неизбежной революции, пингвины как воплощение обывательской робости и т. д.), страстное пророчество о неизбежности бури и не менее страстный призыв «Пусть сильнее грянет буря!» — предельная лаконичность, соединенная с предельной экспрессией, — все это делает «Песню» замечательным памятником мировой революционной поэзии. «Песня о Буревестнике» наряду с «Песней о Соколе» стала классическим выражением того мощного романтического начала, которое естественно и органически вошло в становящееся, формирующееся направление социалистического реализма.

Первую русскую революцию Горький встретил уже будучи «европейски знаменитым писателем»¹, и притом писателем новой, невиданной формации, в творчестве которого все отчетливей проявлялись элементы нового художественного метода, впоследствии получившего название метода социалистического реализма. Революция дала мощные идейные импульсы Горькому, как бы форсировала его и без того стремительное творческое восхождение. И вот что интересно: она не только заострила способность Горького к социально-политическому анализу, то есть к постижению отношений между классами и всего, что характеризует положение, интересы и позицию каждого из них, но и придала новую глубину горьковскому психологизму.

Ни в творчестве самого Горького до 1905 года, ни в творчестве какого-либо другого русского или зарубежного писателя еще не было такого проникновенного изображения процесса обновления души, такого тонкого раскрытия всех нюансов становления нового

¹ См.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, с. 369—370.

революционного сознания, какие мы находим в романе «Мать».

Сказанное относится в первую очередь к образу Ниловны. Она — основной, главный персонаж романа. Решающее значение этого образа в структуре книги видно уже из ее названия.

Самым замечательным в истории Ниловны представляется гармоническое соединение темы материнского сердца с темой социальной и политической.

Перед нами разворачивается своего рода психологическая хроника. И сколько душевных нюансов запечатлено в ней! Тихая и покорная печаль женщины, забитой опустившимся, одичавшим мужем; такая же покорная и мучительная грусть, вызванная тем, что юноша-сын как будто бы двинулся по отцовскому — дикому и бесчеловечному — пути; первые в жизни радости, испытанные ею, когда сын сумел преодолеть дешевые соблазны хмельных и диких развлечений; затем новая тревога материнского сердца при виде того, что сын «сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни»... Автор не торопится. Он знает, что мгновенных обновлений души не бывает. И перед нами проходит день за днем в жизни матери; мы наблюдаем и ее сомнения, и возникавшее в отдельные минуты отчуждение от сына и от его друзей — и наблюдаем, как постепенно формируются в ее духовном мире новые настроения и понятия. И каким сложным, каким богатым оказывается ее духовный мир!

В романе Горького извечное приобретает новый смысл и новую остроту, ибо оно показано в сложнейшем драматическом социальном контексте; а идейные искания и прозрения женщины конца XIX — начала XX века становятся трепетно-живыми, потому что они пронизаны извечным светом материнского чувства.

О наступлении новой исторической эпохи и новой литературной эпохи возвестил миру и образ Павла Власова, не столь насыщенный психологическими нюансами, как образ Матери, но тоже обаятельный, монументальный, исполненный глубокого значения. Это был первый в мировой литературе образ политического вожака рабочих, несущего в массы идеи научного социализма, организующего массы для живого, практического, революционного дела.

Образ Павла, как и образ Матери, нарисован одновременно и в трезво-реалистических и в приподнято-романтических тонах. Эти краски подсказаны писателю самой жизнью. Революционная борьба рабочего класса требовала научного постижения социальной действительности, строгого учета всех ее факторов, и она же требовала того духовного подъема, того энтузиазма, без которых была бы невозможна победа. Поэтому Павел Власов показан как трезвый аналитик, как человек в высшей степени сдержанный, доходящий в понимании своего долга до «монашеской суровости», и он же показан в драматические минуты своей жизни, когда ему

хотелось «бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде». Читая такие строки, мы вспоминаем Данко. Но если герой легенды был трагически одинок, то герой романа силен своей все крепнущей связью с рабочим коллективом, с передовой интеллигенцией. Настала эпоха исторического творчества самых широких слоев трудящихся — рабочих и крестьян, эпоха, выдвинувшая совсем новый тип героя. И это прекрасно показано в романе.

Новаторство Горького проявилось и в раскрытии тех благотворных изменений, которые были привнесены социалистическим идеалом в семейные отношения. Мы видим, как возникает и развивается дружба Пелагеи Власовой и Павла Власова, дружба, которую породили не только материнская любовь и сыновняя любовь, но и совместное участие в великом историческом деле. Сложнейшая диалектика отношений этих двух замечательных людей очень тонко и проникновенно раскрыта Горьким. Павел оказывает сильное духовное воздействие на Ниловну. Общение с сыном заново открывает ей глаза на мир. Однако и она влияет на сына. И ее влияние, как показывает с помощью тонких психологических и житейских нюансов Горький, было не менее значительным. Может быть, даже более значительным! Общение с Матерью было для сурового, на первых порах несколько прямолинейного и резковатого Павла школой сердечной доброты, скромности и такта. Он стал мягче по отношению к близким людям, его душа стала более гибкой, чуткой и мудрой. Он достиг благодаря общению с Матерью той высокой человечности, без которой немислим подлинный революционер.

Наряду с романом «Мать» историческое значение приобрела и пьеса «Враги». О ней написано немало и еще немало будет написано. Но пожалуй, самый интересный, хотя и сверхлаконичный и на первый взгляд парадоксальный отзыв о ней принадлежит автору пьесы.

«Почему бы Вам не поставить «Врагов»? Вещь веселая и простая...» — так писал Горький режиссеру «Петербургского театра» Николаю Дмитриевичу Красову в 1907 году.

Что же веселого в пьесе, основным положительным героям которой уготованы царским правительством тюрьма и ссылка?

Пьеса «Враги» проникнута такой непоколебимой верой в торжество народного дела, такой свежестью и бодростью, таким здоровым народным юмором, в ней так едко высмеиваются традиции и устои господствующих классов, что, право, можно понять, почему автор назвал эту вещь «веселой».

Но почему он назвал ее «простой»? Ведь в ней изображены сложнейшие социальные конфликты, столкновение не только классов, но и философских, политических, нравственных идей.

И все дано в движении, в борьбе; раскрываются процессы, которые под воздействием исторической обстановки совершались в сознании разнообразнейших людей. На редкость сложная пьеса! Сложная и вместе с тем необыкновенно отчетливая, прозрачная по своей идейно-художественной концепции. Впервые в мировой драматургии выступил художник, вооруженный подлинно научным пониманием исторического процесса. И была какая-то всенная радость в самом настроении Горького, который именно в те годы навсегда соединил свою судьбу с большевистской партией, особенно остро ощутил не только литературную свою зрелость, но и политическую, ощутил свою способность проникать в глубь событий и видеть их историческую перспективу. Эта радость звучит во многих его письмах тех лет.

Величайшая заслуга Горького в том, что он показал в пьесе «Враги» пролетариат как хранителя общечеловеческих духовных ценностей, как силу, непреодолимость которой заключается не только в справедливом гневе и железном натиске, но и в новой — подлинно человеческой — морали.

Не следует, однако, думать, что сущность нового — социалистического — искусства заключалась в непосредственном изображении революционного пролетария. Вслед за созданием романа «Мать» и пьесы «Враги» Горький написал такие произведения, как «Жизнь Матвея Кожемякина», «Городок Окуров», «Жизнь ненужного человека», «Детство», «В людях» и многие другие, в которых объектом художественного исследования является непролетарская социальная среда. Однако эти произведения относятся также к направлению социалистического реализма.

Сущность этого метода заключается прежде всего в особом подходе к действительности, в художественном осмыслении, освоении ее с позиции борющегося рабочего класса, воодушевленного идеалами марксизма-ленинизма. Искусство социалистического реализма не всегда изображает революционного борца, но оно всегда изображает мир с точки зрения этого борца. О чем бы ни писал представитель литературы социалистического реализма, он все рассматривает в свете марксистско-ленинской философии, он постигает и воссоздает жизнь в ее исторической и социальной конкретности, в перспективе ее развития, движения, в перспективе ее революционного, социалистического преобразования. В этом заключается самый дух социалистического реализма, этим определяется не только общая идейная направленность нового искусства, но и весь его эмоциональный строй и колорит, все бесконечное богатство его художественных стилей и характерный для него пафос — пафос исторического оптимизма.

Взглянуть с точки зрения борющегося пролетариата на недавнее прошлое и настоящее родной страны, расширить исторический

диапазон ее художественного исследования, глубже постигнуть Русь и порожденные ею непростые характеры во всей их сложности, со всеми их противоречиями, всемерно способствовать художественным словом усилению революционной, творческой активности народных масс, преодолению всего косного, обломовского, что мешало движению вперед, — так можно в нескольких словах определить задачу, которая воодушевляла Горького в предоктябрьское десятилетие.

«Очень — и все больше — люблю Русь, любуюсь талантливыми ее людьми, коих вижу немало, любуюсь ими во всех позициях, хотя частенько позиции эти талантов и недостойны».

Взволнованное признание Горького (оно содержится в одном из его писем) относится к тому времени, когда он работал над «окуровским» циклом, состоящим из произведений: «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Большая любовь», «Записки доктора Ряхина» (две последние повести остались незаконченными). Приведенный выше фрагмент горьковского письма можно было бы поставить эпиграфом к этому циклу. В нем все дышит любовью к родной земле. Но любовь эта не снисходительно-умиленная, а требовательная, даже суровая, проникнутая духом национальной самокритики и — главное! — соединенная с трезвым социальным анализом, с историческим подходом к жизни России.

Историзм романа «Мать» и пьесы «Враги» выражен ярко и отчетливо; все основные коллизии этих произведений самым непосредственным образом связаны с историческим процессом, с определенными политическими ситуациями в России. Историзм «окуровского» цикла не менее глубок и последователен, но проявляется он не в таких непосредственных формах; здесь история подобна отголоскам далекого грома, отблескам далеких молний; впрочем, отголоски порой приближаются, отблески порой усиливаются и даже слепят глаза обитателей окуровского царства. И духовный, нравственный облик персонажей в конечном счете определяется, оценивается в его соотношении с народными идеалами, с историческими задачами, стоящими перед страной.

Размеры статьи заставляют нас ограничиваться лишь одним примером, но примером чрезвычайно выразительным. Речь пойдет об одном из самых замечательных образов, созданных Горьким, — о Матвее Кожемякине.

Историко-хронологический диапазон романа «Жизнь Матвея Кожемякина» чрезвычайно широк: от 60-х годов XIX века до эпохи первой русской революции. Необыкновенно богат историческим и житейски-бытовым содержанием и необыкновенно красочен этот роман. Артистизм формы, виртуозное воссоздание различных, иногда весьма «фигурных», речевых манер, тонкое

искусство стилизации (фрагменты из летописи Матвея) — все это напоминает произведения волшебника русской речи Лескова. Об авторе «Левши» и «Очарованного странника», соединявшем обостренный критицизм в отношении к темным сторонам народной жизни с умением видеть горящие в этой темноте живые огоньки разума и совести, напоминает и подход Горького к окурковскому бытию — бытию провинциальных городов старой России.

Много мрачного и страшного в этом захолустном мире, так мучительно знакомом Горькому. Однако писатель с напряженным вниманием, с великой надеждой всматривается в те глубинные духовные процессы, которые начались в пореформенной России, даже в самых ее дремучих, окурковских уголках. Он увлечен игрой пробуждающейся мысли, его радует все талантливое и особенно все доброе в человеке. Этот интерес к личности задумавшегося обитателя окурковского царства в соединении с ясным пониманием исторической перспективы и помогли художнику вылепить образ Матвея Кожемякина.

Горький, несомненно, любит своего Матвея, любит его доброту, отзывчивость, деликатность, совестливость, впечатлительность. Матвей живет интенсивной внутренней жизнью. Он решил стать правдивым летописцем, историком городка Окурова. Горький наделил своего героя литературным дарованием, и есть своеобразная прелесть в старомодно-наивных, безжалостно-точных, иногда невозмутимых, иногда скорбно-трагических записях Матвея. В сущности, Матвей гораздо одаренней всех (уже утративших значительную часть своего революционного жара) интеллигентов-народников, чьи бесконечные, шумные споры он слушает так доброжелательно, так терпеливо и по-детски почти-тельно...

Да, Горький любит Матвея, но любовь эта — строгая, даже суровая. И дело не только в том, что писатель показывает, как дикая окурковская стихия иногда угарно захлестывает сына и наследника Савелия Кожемякина. Критицизм Горького по отношению к Матвею проявляется прежде всего в том, что писатель непрерывно как бы подвергает своего героя историческому экзамену. Жизнь идет вперед, волны событий, новых идей и настроений — пусть в ослабленном и нередко весьма причудливом виде — докатываются до окурковского захолустья, и Матвей с его социальной и нравственной чуткостью все острее ощущает зло и несправедливость, отворачивается от них в тоске. Матвея уже тяготит завещанное отцом «дело». Подобно Илье Луневу он мечтает о жизни светлой и чистой; сердце его радуется появлению таких бодрых и возвышенных натур, как Люба Матушкина. Но сильнее всех мечтаний и надежд оказывается в Матвее тяготение

к покою, к тихой созерцательности, к самоизоляции от тревог современности...

В романе вынесен приговор апатичному и пассивному отношению к жизни. Но приговор этот вынесен умным и тактичным художником, сумевшим одновременно запечатлеть и прославить то светлое, благородное, что было в натуре Матвея и что воспринималось как своеобразное свидетельство духовных сил, скрытых в народе, как залог его грядущего духовного обновления.

Этим соединением острого социального анализа с прославлением живых и творческих сил, все более разнообразно и ярко дающих о себе знать в трудовом народе, этим историческим и философским оптимизмом замечательны и другие произведения, написанные Горьким в предоктябрьское десятилетие.

В 1912—1917 годы художник публикует цикл «По Руси» — рассказы, в которых беспощадно-трезвое изображение социальных язв и народной темноты пронизано мощным и радостным светом надежды, уверенности в историческом будущем народа. Особенно потрясает правдивостью, радостно волнует оптимистической философией рассказ «Рождение человека» — маленькая гениальная поэма в честь живой жизни, в честь женщины-матери. Напряженным драматизмом — драматизмом не только событий, но и внутренней жизни юного героя, мечтающего постигнуть тайну народной души и находящегося в потоке размышлений, сомнений, колебаний и прозрений, — замечателен рассказ «Ледоход». В этом рассказе, как при вспышке молнии, выступает из темноты повседневной, тягостной и угрюмой жизни та сила духа, твердость, решительность и находчивость, которыми в годину исторических испытаний изумлял человечество русский народ.

Победой нового искусства — искусства социалистического реализма были и автобиографические повести «Детство» и «В людях» (и завершающая часть трилогии — «Мои университеты», написанная уже в советское время).

Поэзия детских, отроческих и юношеских лет... Ее по-разному воссоздавали и воспевали многие писатели. С. Аксаков и Л. Толстой запечатлели тонкие движения молодой души, имеющей возможность свободно отдаваться радостям бытия, не знающей мучительной борьбы за существование. Чарлз Диккенс в «Оливере Твисте», Гектор Мало в повестях «Без семьи», «В семье» и «Приключения Ромена Кальбри», Джеймс Гринвуд в «Маленьком оборвыше» (который вызвал у юного Алеши Пешкова «улыбку восторга») поведали истории о детях и подростках, приговоренных буржуазным обществом к нищете и страданиям. Слово «поэзия» как будто и не подходит к их жизни. Однако выдающиеся художники слова тонко показали, что поэтическая искорка, спо-

способность мечтать и радоваться не могут быть истреблены в сердце ребенка. Поэзию можно приглушить, но нельзя убить.

Горький унаследовал от этих славных мастеров глубокое понимание детской психологии. Он унаследовал от них и тонкое ощущение неповторимости, свежести и красоты духовного мира ребенка. И быть может, никто еще (кроме Льва Толстого) с такой психологической проникновенностью не раскрыл поэзию детства, как это удалось сделать Горькому.

Тяжелым и даже страшным было детство Алеши Пешкова. Изображено это Горьким с правдивостью беспощадной. Но кажется, никто из юных персонажей догорьковской литературы не демонстрировал так ярко негибкость и творческую силу человеческого духа, как это делает герой автобиографической трилогии. Здоровые, подлинно народные духовные начала, таящиеся в душе героя, оказываются сильнее окуривщины. Как стоек этот мальчуган, как он наблюдателен и впечатлителен, как рано проявилось в нем стремление к Прекрасному! Страшные гримасы социальной жизни хотя и доводят его порой до отчаяния, оказываются в конце концов бессильны сломить Алешу. Более того: действительность маленьким героем осваивается — не боимся сказать — эстетически и философски. Да, это юное существо все напряженной размышляет о жизни, учится делать обобщения и уже умеет, пока стихийно, претворять полученные пестрые впечатления в некоторое подобие художественных образов. Сам того не ведая, он уже начинает творить свой будущий — горьковский — мир.

Очень важно и интересно в трилогии то, что герой выступает не как одинокий романтический мечтатель, бежавший — мысленно — в какое-то свое фантастическое царство. Мечтательность и склонность к фантазии не отрывают героя от грешной земли, а помогают ему сохранить свое «я» и главное — помогают ему видеть и то прекрасное или ростки прекрасного, намеки на прекрасное, которые есть в реальной жизни, во многих реальных людях. Герой восприимчив ко всему подлинно человеческому. Поэтому таким плодотворным оказалось для мальчика и затем для юноши общение с его чудесной бабушкой и с другими интересными, добрыми, честными людьми, которые встречались на его пути.

Постепенно история «жизни и приключений» Алексея Пешкова вырастает в лиро-эпическую историю формирования человека — человека не абстрактного, а исторического, человека, которого его суровые «университеты» закономерно приводят к идее борьбы с существующим социальным злом. Такого образа еще не было в мировой литературе. Такой образ могло создать лишь искусство социалистического реализма.

По своей эмоционально-психологической тональности, да и по ярко выраженному биографическому характеру, к повестям о скитаниях и переживаниях Алексея Пешкова близок рассказ «Случай из жизни Макара». Это рассказ о трагическом эпизоде из жизни юноши, мечтающего «послужить великому делу обновления», но поддавшегося сомнениям и разочарованию и утратившего веру в манившие его «огоньки добра и красоты». В этом произведении писатель в особенно концентрированной форме показал давящую и, так сказать, наступательную силу обывательского бытия, обывательского самодовольства и нечуткости, от соприкосновения с которыми страдает герой рассказа. И вместе с тем художник сумел найти такие краски, что мы все время чувствуем: сокровенная основа жизни светла, прекрасна, и она не подчиняется диктату окуровщины. Каждая сцена, каждая деталь в рассказе — многозначительна и способствует созданию определенной эмоциональной атмосферы. Психологически тонко, душевно нарисован эпизод встречи «самоубийцы» с навестившими его в больнице товарищами — рабочими из пекарни, которые, не мудрствуя лукаво, просто своей чуткостью и деликатностью сумели вернуть юноше веру в себя и в жизнь. А примером почти символической детали может служить появление заблудившегося котенка, обретающего приют и тепло за пазухой у добряка-татарина, деталь, упоминаемая не один раз и вносящая с собой в трагическое повествование что-то неуловимо-прелестное, наивное, улыбчивое, напоминающее о простой жизни и о доброте человеческой...

Романтическое начало нового художественного метода с большим блеском проявилось в цикле «Сказок об Италии». В этих маленьких романтических новеллах, которые Ленин назвал «великолепными»¹, главным героем является итальянский народ. Писатель не ставил задачей изобразить народную жизнь Италии в ее повседневном течении, с ее «будничными» подробностями. Он стремился уловить, так сказать, квинтэссенцию национальной жизни, запечатлеть ее основной колорит, отразить в лаконичной, обобщенной, интенсивно-эмоциональной и поэтической форме основные черты характера простого итальянца. И поэтому была необходима та праздничность, та экспрессия, та обобщающая сила и мудрая наивность, которые характерны для сказки. Отсюда несколько условное, несколько метафорическое название цикла.

В течение десятилетия, последовавшего за поражением первой русской революции, Горький создал и еще ряд замечательных произведений: роман «Жизнь ненужного человека», выявляющий крайние формы мещанско-индивидуалистической, «подпольной»

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, с. 47—48.

психологии и показывающий дику бесмысленность и обреченность царского режима; повесть «Лето», отражающую в своеобразном реалистически-романтическом стиле пробуждение русской деревни; пьесы «Васса Железнова» (1-й вариант), «Зыковы», «Старик» и др.

Как мы уже говорили, для духовного мира Горького характерна чрезвычайная интенсивность философских исканий. Страстно ищущие люди могут порой и заблуждаться. Таким заблуждением великого писателя была предпринятая им в период реакции и вскоре им самим осужденная наивная попытка соединить социалистический идеал, которому он всегда был верен, с религиозными представлениями, построить своего рода новую религию, в которой примитивный церковный бог уступил бы место абстрактному божеству — некоему идеальному, концентрированному воплощению социальных и нравственных устремлений народа.

Временные «богостроительские» увлечения Горького отразились в его романе «Исповедь». Владимир Ильич решительно осудил и безжалостно высмеял и «богостроительство» вообще и «богостроительские» причуды Алексея Максимовича в частности. Эта суровая, но принципиальная критика помогла Горькому быстрее понять абсолютную несовместимость религии с научным социализмом.

С первых шагов своей литературной деятельности Горький проявил себя не только как замечательный художник, но и как талантливый публицист и критик. Из его статей, созданных в дооктябрьский период, особенно интересны «Заметки о мещанстве» и «Разрушение личности» — два эстетических, философских и социальных памфлета, в которых подвергнуты разгрому основные идейные и психологические «бастионы» буржуазно-мещанской интеллигенции.

В период между февральской буржуазно-демократической революцией и Великой Октябрьской социалистической революцией и некоторое время после Октября Горький хотя и оставался непоколебимым сторонником научного социализма, идеи которого он на протяжении многих предшествующих лет утверждал всем своим творчеством, однако не сумел правильно разобраться в сложнейших исторических ситуациях, связанных в перерастанием буржуазно-демократической революции в социалистическую, с установлением и первыми шагами диктатуры пролетариата. Преувеличенное представление об анархизме поднявшихся крестьянских масс, опасения за культуру, которой якобы угрожают эти массы, известная недооценка организаторских способностей партии, ее способности обеспечить союз рабочего класса и трудового крестьянства, ввести в берега разбушевавшуюся стихию — все это заставляло Горького сомневаться в достаточной

подготовленности, своевременности социалистической революции в создавшихся условиях.

Вскоре победоносное шествие революции, огромная организаторская и созидательная работа партии показали Горькому, что его опасения были неосновательны. Путь великого художника снова определился твердо и ясно — это был путь с партией большевиков, с народом, строящим социализм.

Но это — закономерно — был также и путь дальнейшего развития творческого метода Горького. Именно в Советскую эпоху художник особенно глубоко и всесторонне овладел ленинскими принципами истолкования социально-исторического процесса, что отразилось в его монументальных произведениях — в романе «Дело Артамоновых» и, с наибольшим размахом и блеском, в романе «Жизнь Клима Самгина».

В «Деле Артамоновых» история и повседневная, бытовая жизнь неотделимы друг от друга. С первых же строчек мы заморожены узорной русской речью великого художника, знакомящего нас с городом Дремовым и его обитателями. В этой галерее едва ли не каждый тип житейски, психологически колоритен и социально многозначителен. Сами прозвища этих людей красноречивы: «суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан...» И мы уже чувствуем захолустную дикость, отдаем должное меткости простонародных прозвищ, которая так восхищала Гоголя (в «Мертвых душах»). Многозначительно и название городка — Дремов...

Один из самых красочных образов, созданных Горьким, — Илья Артамонов, основатель «дела». И каким большим содержанием исполнен этот образ! Тут и стихийная одаренность русского мужика, несомненные организаторские способности, и энергия неисчерпаемая, и стремительность, торопливость, уже предвещающая XX век (Артамонов и его дети даже на церкви крестятся торопливо). Тут и грубость, дикость «чумазого», сумевшего сколотить капитал, но не успевшего приобщиться к цивилизации. И главное: неизбежный, диктуемый логикой социальных отношений отход, отрыв этого недавнего крепостного от народной почвы, стихийное движение его мысли в сторону философии господствующих классов с ее презрительным и бездушно-практическим, волюнтаристским отношением к народу (когда городской староста Евсей Баймаков говорит Артамонову: «Лен мужики наши мало сеют», тот отвечает: «Заставим сеять больше»).

А затем перед нами разворачивается жизнь наследника этого энергичного выходца из крестьянской массы — жизнь Петра Артамонова. Психология его исследована художником более скрупулезно, нежели психология Ильи Артамонова. Объясняется это, видимо, двумя обстоятельствами. Во-первых, Горького боль-

ше интересовал период, непосредственно предшествующий Октябрю. Во-вторых, как мы уже знаем, его всегда особенно привлекало исследование духовного мира людей, находящихся в процессе размышлений, исканий, блужданий и еще как бы обретающих свое «я», а порой и не способных его обрести. Петр Артамонов — воплощение упадка и неуверенности, даже растерянности хозяев. Его история — это история снижения энергии господствующего класса, история его одичания.

Огромный исторический смысл заключается и в том факте, что артамоновский мир уже не является единым, монолитным; от него откалываются, с ним порывают наиболее честные и благородные его элементы. Таким, как сказал бы Горький, «блудным сыном» своего класса оказался представитель третьего поколения Артамоновых — сын Петра Илья. Он унаследовал твердость и решительность своего деда, но эти свойства подчинены у внука совсем иным идеалам — идеалам народным.

«Дело Артамоновых», если определить его социологически и философски, — это роман о становлении и развитии русского капитализма, о враждебности капитализма духовной культуре народа, об исторической неизбежности упадка, одичания, крушения мира лавочников.

Еще более значительным историческим и социальным содержанием, еще более совершенным словесным мастерством, еще большей глубиной психологического анализа отличается итоговое произведение Горького — роман «Жизнь Клима Самгина».

«Жизнь Клима Самгина» представляет собой апофеоз почти полувековой борьбы Горького против буржуазной реакционной культуры, против антинародной философии, этики и эстетики, выдвигаемых в качестве последнего бастиона эксплуататорскими классами в период их исторического крушения.

Можно с уверенностью сказать, что нет такого философского или эстетического ухищрения реакции, которое не было бы — в истоках своих, в самой сущности своей — разоблачено в горьковской эпопее. Как бы ни изощрялись в словесных хитросплетениях современные западные эстеты и мистики, их туманная декламация не может обмануть нас, нам слишком хорошо известны их предшественники: «рыжий философ» Томилин, пришедший и в теории и на практике к самому низкопробному цинизму, мистически экзальтированная, враждебная жизни Серафима Нехаева, изломанная Лидия Варавка и прочие декаденты, беспощадно ярко изображенные Горьким. Роман «Жизнь Клима Самгина» усиливает не только нашу политическую, но и нашу эстетическую и философскую бдительность, помогает нам разглядеть, понять все то ничтожное, опасное, уродливое, противоестественное, что скрывается за разговорами современных декадентских

наставников об изжитости морали, о сексуальной революции, о последней свободе и т. п. И когда мы наблюдаем на Западе межеумочную позицию либеральной, оппортунистической интеллигенции и слышим ее сбивчивые рассуждения о грозящем посягательстве демократии на пресловутую «свободу духа», мы вспоминаем печальные блуждания, и гордыню, и тоску беспредельную, и одиночество, и духовное поражение Клина Ивановича Самгина — главного персонажа горьковской эпопеи.

Мы уже знаем, что Горький интересовался психологией людей, находящихся в процессе самоопределения. Это объясняется не только индивидуальными склонностями художника, многое творчески воспринявшего от психологизма русской классической литературы (особенно от Достоевского), но и суровой требовательностью эпохи, заставившей миллионы людей размышлять над своим местом в социальной действительности, над своей жизненной программой.

Монументальный образ человека, живущего в эпоху невиданных исторических сдвигов и потрясений, но не имеющего социальной позиции и пытающегося определить свое «я» и свое общественное призвание, нарисован Горьким в романе-эпопее «Жизнь Клина Самгина».

Герой романа напряженно, мучительно (иногда доходя до слез) старается разобраться в себе и в том, что происходит вокруг него. В душе Клина Самгина постоянно «кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий, но этот вихрь только расслабляет его, ничего не давая, не всасываясь в душу, в разум».

Подобно профессору из «Скучной истории» Чехова (о которой, кстати, многозначительно упоминается в романе), горьковский герой никак не может найти общую организующую идею, которая вносит свет и целеустремленность в жизнь человека.

Образ Самгина, как и образ чеховского профессора, мог бы служить иллюстрацией к рассуждениям знаменитого философа Спинозы о природе человеческих стремлений и побуждений, которые «нередко до того противоположны друг другу, что человек влечется в разные стороны и не знает, куда обратиться».

Но чеховский профессор лишь на склоне дней вдруг понял, что он не знает, «куда обратиться». А Самгин начинает с бездорожья и кончает бездорожьем. Ему так и не удалось «найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собою». Очевидно, здесь перед нами уже новый этап в развитии буржуазного сознания, этап декаданса (было бы упрощением зачислять Самгина в декаденты, но влияние ущербной буржуазной культуры на него — факт несомненный).

Нельзя сказать, что Самгин не пытается выйти из лабиринта,

из буржуазного тупика. Человек отнюдь не обломовского склада, он вовсе не склонен погрузиться в дремоту повседневного существования, он все время оглядывается, он мечется по жизни. Его внутренние монологи иногда отличаются страстью. Например: «Как вырваться из непрерывного потока пошлости, цинизма и из непрерывно кипящей хитрой болтовни, которая не щадит никаких идей и «высоких слов», превращая все их в едкую пыль, отравляющую мозг?»

К беспокойным размышлениям о себе, о своей участи его толкало и социальное положение — положение человека умственного труда. Однажды в юности, разглядывая в ресторане финансово-торговых воротил своего родного города, он подумал: «Кончу университет и должен буду служить интересам этих быков». Да и в зрелые годы он порой довольно остро ощущал неприятную для него зависимость от денежного мешка.

В Самгине еще не умерло известное уважение к заветам отцов, т. е. передовой демократической интеллигенции. В этом полудворянине-полуразночине, выросшем в доме, где и в период реакции 80-х годов «не торопились погасить все огни», есть демократическая закваска (отдаленные отголоски декабризма и революционного народничества), и она побуждает его оказывать услуги революции: он распространяет революционные листовки; в его доме большевики всегда могут найти приют; во время Декабрьского вооруженного восстания он даже выполняет обязанности связного между большевистским штабом и баррикадой, рискуя жизнью при этом.

Но идеалы социализма не поняты Самгиным, они остаются ему чужды. Да и знает он их очень мало, представление о них у Самгина довольно-таки фантастическое. А узнать их получше, сблизиться с народом, с народным авангардом... Этому мешает непреодолимый культ своей личности, своего «я». С юношеских лет Самгин находился под влиянием самых разных теорий буржуазных «учителей жизни», начиная от английского социолога Спенсера до немецкого реакционного философа Ницше. Преодолеть внушения буржуазной идеологии он не мог. Она поработила его. В результате история русского интеллигента Клина Ивановича Самгина становится отражением истории упадка и крушения буржуазного индивидуализма.

В сюжетно-тематическом отношении Самгин оказался для Горького весьма удобен не только потому, что воплотил в себе многие типические свойства неприкаянных слоев интеллигенции (и не одной интеллигенции: Петр Артамонов знал ужас раздвоения, мучивший Самгина), но и потому, что самгинское стремление наблюдать жизнь, все обдумывать позволило художнику развернуть широкую панораму России.

Мы видим в романе картину постепенного пробуждения народа, видим дела и подвиги подлинно народной интеллигенции — особенно замечательны образ Степана Кутузова, прирожденного бойца и полемиста, и образ скромного, как бы незаметного «товарища Якова», талантливо и твердо руководящего героями баррикады, — видим, как исторически обусловлена, как неизбежна и как справедлива была величайшая революция мировой истории.

Характерное для Горького-психолога стремление идти по линии наибольшего сопротивления, выявлять все грани человеческой натуры, в частности показывать реалистически, во всей сложности людей враждебного или чуждого лагеря, проявилось в романе «Жизнь Клима Самгина» с яркостью и мудростью высокой классики.

Не говоря уже о главном герое, изображение всех, даже самых эпизодических персонажей романа отличается многогранностью и многоцветностью. Гениально обрисован выбитый из колеи, находящийся в полном смятении, отбившийся от своего класса и с чисто русским размахом ломающий всю свою жизнь купец Владимир Лютов. Отвратителен и вместе с тем интеллектуально значителен международный хищник Захар Бердников.

И еще один пример: мать Клима Самгина — Вера Петровна. Образ Веры Петровны Самгиной окрашивается даже и в трагические тона, когда эта женщина, не нашедшая счастья в союзе с дельцом Варавакой, утрачивает однажды обычную свою сдержанность, немногословность и пытается сказать об этом своему сыну, Климу.

«Она судорожно терлась щекою о его плечо и, задыхаясь в сухом кашле или неудачном смехе, шептала:

— Я не умею говорить об этом, но — надо. О великодушии, о милосердии к женщине, наконец! Да! О милосердии. Это — самое одинокое существо в мире — женщина, мать. Одинока до безумия. Я не о себе только, нет...

Увы, сын не понимает ее, но она еще верит в то, что он поймет ее — и продолжает:

«— Гордость, которую попирают так жестоко. Привычное — ты пойми! — привычное нежелание заглянуть в душу ласково, дружески. Я не то говорю, но об этом не скажешь... Ты должен знать: все женщины неизлечимо больны одиночеством...

И вдруг, взглянув на сына, она отодвинулась от него, замолчала, глядя в зеленую сеть деревьев. А через минуту, поправляя прядь волос, спустившуюся на щеку, поднялась со скамьи и ушла, оставив сына измятым этой сценой».

Сколько скрывается за одной только деталью — «взглянув на сына»! Единственный человек, от которого она ждала понима-

ния,— ее младший сын... И хотя Горький ничего не говорит о том, каким было лицо Клима в эти минуты, мы видим это лицо: недоумевающее, усталое, удивленное, даже, наверное, и раздраженное... Мать больше ничего не говорит — просто уходит.

Роман замечателен своей глубокой, ненавязчивой, как бы не сразу заметной, но духовно покоряющей художественной логикой. На протяжении всего повествования каждая идея, отстаиваемая тем или иным персонажем, как бы сопоставляется с действительностью, подвергается реальной исторической проверке. И мы видим, как вся логика исторического процесса подтверждает великую правду, отстаиваемую большевиками. Мы остро ощущаем жизненные корни пролетарского мировоззрения, видим его постепенное становление. У Горького были все основания заметить (в беседе с одним журналистом): «На протяжении всего романа показываю, как формировались большевистские идеи».

В советское время Горький продолжал интенсивно и плодотворно работать также в области новеллистики, драматургии и литературного портрета.

В 20-е годы писателем создана своеобразная, причудливая, творчески дерзкая книга «Заметки из дневника. Воспоминания». Пестрая, эксцентричная коллекция очерковых миниатюр воспринимается как единый образ старой России с ее талантливостью, с ее чудачествами, с ее исканиями и спорами и всей неустроенной жизнью, многое искажавшей в людях и не дававшей простора для развития дарований.

С «Заметками из дневника. Воспоминаниями» имеют немало общего горьковские «Рассказы 1922 — 1924 годов». Но здесь типическое в жизни старой России и в ее людях раскрывается не путем воссоздания реальных фактов, наблюдений, а путем их творческого преобразования, или, иными словами, на основе художественного вымысла. Книга эта, как и предыдущая, замечательна своим углубленным (порой изощренным) психологизмом. Кроме того, для «Рассказов 1922—1924 годов», как и для некоторых дореволюционных рассказов Горького, характерно весьма плодотворное, эффективное соединение двух эстетических начал — реалистического и романтического.

Работой над пьесами Горький в послеоктябрьский период занимался преимущественно в последние годы своей жизни, как бы стремясь облечь свои итоговые размышления не только в форму романа-эпопеи, но и в драматические формы. За несколько считанных лет писатель создает пьесы «Сомов и другие» (1930—1931), «Егор Булычов и другие» (1931), «Достигаев и другие» (1932) и перерабатывает «Вассу Железнову» (1935).

Самая интересная из этих пьес — «Егор Булычов и другие». Когда-то, еще до Октябрьской революции, Горький мечтал

создать пьесу о герое новгородского былинного эпоса — Ваське Буслаеве. Пьесу о Буслаеве Горький не написал, но, право же, этот смелый замысел нашел своеобразное воплощение в пьесе «Егор Булычов и другие». Герой этой пьесы наделен чисто буслаевскими доблестями: широким размахом, удалью и, самое главное, критическим, безбоязненным, дерзким отношением к социальным и религиозным устоям и «священным заветам» господствующих классов, способностью подвергнуть осмеянию, а то и сокрушить любой «неприкосновенный» идол старины. Правда, есть и большая разница между удалым новгородцем и горьковским купцом: Васька Буслаев с первых шагов был самым собой, а Егор Булычов только на грани своей гибели (он смертельно болен) и гибели царской России вдруг ощутил в себе буслаевскую, протестующую стихию, отвергающую все то, чем он до сих пор, как-то по инерции, жил. И в мучительном осознании того факта, что жизнь прожита бесцельно, прожита «не на той улице» и «мимо настоящего дела», и состоит трагедия яркого, талантливого человека, так и не нашедшего себя. Мучительное и запоздалое, уже бесплодное просветление Егора Булычова и жгучая печаль еще нестарого человека, вынужденного уходить из жизни и, может быть, впервые начавшего размышлять над вечными законами бытия, и прощальные — шумные, отчаянные, буслаевские — демонстрации своей тоски и своего презрения к людям его класса и к самому богу, которого Егор объявляет своим и дьявола «компаньоном в грешных делах», — все это изображено поистине с шекспировской силой.

Горький известен как большой мастер литературного портрета. В советские годы он создал ряд великолепных портретных очерков: о Ленине, о Толстом, Короленко, Леониде Андрееве, о талантливом русском враче Алексине и др. Мастерством Горького-портретиста восхищались Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Томас Манн. В частности, Роллан в одном из писем к Горькому назвал литературный портрет Толстого гениальным.

Истинный подвижник русской литературы, Горький всегда находил время и силы для публицистической деятельности. В советское время он выступал как страстный и высокоталантливый помощник партии в ее гигантской работе по социалистическому переустройству общества. Развивая основные линии своих литературно-философских памфлетов «Заметки о мещанстве» и «Разрушение личности», он создал ряд статей против декадентской буржуазной культуры.

Горький был не только великим художником, но и замечательным организатором литературного процесса. Особенно интенсивными и широкими были его контакты с литераторами, как начинающими, так уже и завоевавшими громкое имя в послеок-

тябрьские годы. И скольким талантливым людям он помог войти в литературу, помог обрести свое творческое «я», усовершенствовать свое мастерство! При активном участии Горького были созданы и под его руководством выходили такие замечательные журналы, как «Наши достижения», «Литературная учеба». Горький был одним из организаторов Союза советских писателей. Доклад Горького на I съезде писателей — один из глубочайших, основополагающих документов нашего литературного движения.

Значение и своеобразие Горького как родоначальника новой литературной эпохи, как выдающегося общественного деятеля и борца за культуру раскрывается перед нами еще глубже и ярче на фоне его дружбы с Владимиром Ильичем Лениным. Эта дружба не просто факт биографии двух великих людей. Она и своего рода знамение или символ исторически закономерного, органического соединения передового искусства с идеями научного социализма.

Горький, пронесший через самые страшные социальные «университеты» мечту о свободном гармоничном человеке, не мог не прийти в стан Ленина, Ленин не мог не проявить огромного, сочувственного интереса к художнику — выразителю стремлений, раздумий и исканий пробудившейся народной массы.

Великому мыслителю и революционеру было близко и дорого само мироощущение, поэтическое видение Горького. Автор «Песни о Соколе» обладал той чудесной способностью увидеть все бытие как бы заново, той весенней свежестью восприятия, которые свойственны лишь художникам, чье творчество связано с молодыми, восходящими, прогрессивными силами. Для Горького, по его собственным словам, мир «только что начинался, «становился».

Это философско-поэтическое кредо Горький изложил в одной из каприйских бесед с Ильичем, — характерно, что именно ему художник поведал свое заветное, программное. И знаменательно, что горьковский взгляд на мир вызвал горячее одобрение Ленина.

Широко известное высказывание Ленина о романе «Мать» как об «очень своевременной книге», которая поможет многим рабочим перейти от стихийного участия в революционном движении к сознательной борьбе, свидетельствует о том, как высоко ценил Ленин социальный и революционный пафос, новаторскую силу Горького. В горьковском творчестве Ленин видел мощное средство идейно-эмоционального воздействия на человеческую душу, мощное средство привнесения социалистического сознания в народные массы.

Ленин всегда верил Горькому, ибо видел в нем великого художника и человека высокой души. Но дело не только в этом. Ленинская «педагогика» в отношении к Горькому определялась

и тем, что великий писатель был в глазах Ильича не изолированной, одинокой, исключительной фигурой, а представителем народной России со всеми ее напряженными и драматическими духовными исканиями. И если Горький иногда в чем-то и заблуждался, Ленин видел в этих ошибках исторически обусловленные трудности на пути народных масс к последовательно революционному и подлинно научному мировоззрению. Глубочайшая народность Горького была основой безграничного доверия Ленина к нему.

Дружба с Лениным способствовала формированию горьковского идеала человеческой личности. «Когда впервые я писал Человек с большой буквы,— рассказывал Горький в 1928 году,— я еще не знал, что это за великий человек. Образ его не был мне ясен. В 1903 году я постиг, что Человек с большой буквы воплощается в большевиках во главе с Лениным...»¹

Глубокая, но на первых порах несколько абстрактная вера художника в творческий, нравственный потенциал человека обрела с этого времени твердую жизненную основу, стала конкретной программой борьбы за нового человека. В Ленине Горький нашел совершенное воплощение того революционно-преобразующего и созидательного начала, которое писатель, большой знаток и поклонник эллинской культуры, называл прометеевским началом. Прометеевские черты Горький видел в тех людях, которые посвящают свою жизнь борьбе за торжество ленинского идеала. Созданные Горьким образы таких людей составляют одно из величайших завоеваний социалистического реализма.

В нашей статье мы могли дать лишь схему творческого пути Горького, лишь самую общую характеристику того обновления русской и мировой литературы, которое навсегда связано с именем великого русского писателя.

Горького надо изучать и изучать. Его творческий подвиг грандиозен. От «Макара Чудры» до «Жизни Клима Самгина»... Какая уникальная панорама творческих исканий и свершений, непрерывного, упорного, блистательного восхождения все к новым творческим прозрениям! Разговаривая с советским послом в Италии Д. И. Курским, Алексей Максимович сказал о своей работе над «Жизнью Клима Самгина»: «Есть у Менделеева книга с весьма полновесным названием: «К познанию России». Я был бы счастлив, если бы и мою хронику можно было бы так назвать».

Не только гениальную «хронику» Горького можно так назвать. С жадным и страстным любопытством, с вечно неутолимым

¹ Сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1969, с. 355.

«инстинктом познания» (горьковское выражение), с великой любовью к Родине, с великой ненавистью ко всему темному и злему изучал Россию художник-революционер, и вместе с ним, идя за ним, ее изучаем, познаем и мы, современные читатели.

Дать такую пищу для нашего «инстинкта познания» мог только великий художник. Рисуемые Горьким картины (каким порой мрачным ни было бы их содержание) доставляют нам большую эстетическую радость. Великий писатель яркостью и достоверностью словесной живописи так покоряет наше воображение, что мы переносимся мысленно в Россию конца XIX — начала XX века. Мастерство художника-новатора и редкое богатство познавательного материала неотделимы друг от друга в книгах Горького.

Разумеется, познавательный эффект свойствен творчеству всякого серьезного художника. И вся великая русская литература — источник познания России. Но Горький поведал нам о русском народе особенно много и своеобразно — и поведал о таких десятилетиях исторической жизни России, которые непосредственно предшествовали Октябрьской революции.

Никто из писателей не сказал больше, ярче, вдохновенней о России того времени, нежели Горький. Не случайно рыцарь пролетарской революции Феликс Эдмундович Дзержинский воспринял горьковский образ России как создание писателя, сумевшего стать «душою народа — его поэтом, его голосом и его надеждой».

Каждый, кто хочет знать, как жила наша страна в эти десятилетия, не может обойтись без книг Горького. Они — живая история. В них запечатлены не только исторические события, не только повседневный быт, в них прежде всего запечатлены во всей сложности духовная жизнь страны, движение народной мысли — через все трудности, блуждания, иллюзии, ветхозаветные предрассудки, порой капризы и причуды богатого, но стихийного и своевольного, слишком, как сказал бы Горький, «фигурного» воображения — к великой, к единственной правде века: к идеалу научного социализма.

Н. Жегалов

ПОВЕСТИ



Сыну моему посвящаю

ДЕТСТВО

I

В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Меня держит за руку бабушка, — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за нее; мне боязно и неловко.

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

— Попрошайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен,— только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню,— отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я ее.

Она ответила:

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородастые крашенные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком,— это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано.

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь,— сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою,— она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, все на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня,— причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами.

В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено темной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; ее слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша! Пресвятая мати божия, заступница...

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребенок.

— Слава тебе, господи! — сказала бабушка. — Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; прыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

— Отойди, Леня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, господи, — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит.

Мужики гулко шлепали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви, среди множества темных крестов.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. — Поплакал бы!

— Не хочется, — сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она.

Все это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут,— ответила она.— Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льется мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся,— говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поела чего, маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов,— неожиданно громко и сердито сказала мать.— Где же матрос?

Вот и слова у нее странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но,— толстая,— она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша,— крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошел братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от карава.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю зароют?

— А как же? Зароют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как ее горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, — значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

— Это астраханский, из каюты...

Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем:

— Я тебе задам!

Шум над головою становился все тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошел к двери. Она не отворяется, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный

редкозубый гребень; губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:

— Видно, в наказание господь дал, — расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянусь! А ты спи! Еще рано, — солнышко чуть только с ночи поднялось...

— Не хочу уж спать!

— Ну, ино не спи, — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. — Как это ты вчера бутыл-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг ново, все меняется; зеленые горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят

города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенется она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о нем плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Еще!

— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовый, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают ее водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, — вся она мощная и твердая, — вспоминаются мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди; чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся! Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ошестинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро глядя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождав-шись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть



детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— Нашто они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!

И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, сутились сердитые люди, стаяй вороватых воробьев метались ребятишки; и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил, — да и по сей день живет, — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал,

что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пушу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, родила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясаясь воя:

— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же, — маленький против нее, — ткнулся лицом в плечо ей:

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки

он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мной: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! — сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно оттал-

кивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Сашке Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черной сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщи-

ка, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне:

— Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смот-

реть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

— Алексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутom по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врешь, — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно Псалтырь читая, дед говорил:

— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, затапливая ее в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце мое,— шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел,— в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места,— старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, — показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь, под зеленой горой, поразложим, бывало, костры — кашницу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспомнить, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще

других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

— Ты глянь-ка,— сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах,— вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, заперет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня или мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало,— видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его,— он незабвенно просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю,— за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то,— чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было,— киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом,— ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу,— ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет,— ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять,— так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатах, ему покрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед —

своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи, — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя, — она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон обернут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, зачоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, — стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили, — целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, все брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубаше, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестья снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особенно, — совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за

неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

— За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, ее домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встречанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

— Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михайлов; он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков все более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразлично дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —
Выл бы Яков с утра до ночи:
Ой, скушно мне!
Ой, грустно мне!
По улице монахиня идет;
На заборе ворона сидит.
Ой, скушно мне!
За печкою сверчок торохтит,
Тараканы беспокоятся.
Ой, скушно мне!
Нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл!
Ой, скушно мне!
Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне,— пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому:

— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда,— он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

— Нет.

— Ну? Бывало, он да бабушка,— стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на об-

раз святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

— Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иванович? — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. — Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенийя, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилася работой,—
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнувшись в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, — и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее — так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенийя гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней,
Жаль,— праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна,— уж и не помню чья, как звали,— так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее,— вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

— Певцы да плясуны — первые люди на миру! — строго сказала нянька Евгенийя и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

— Тебе бы в трактирах плясать,— с ума свел бы ты людей!..

— Мне голос иметь хочется! — жаловался Цыганок.— Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после — хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много — Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

— Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

— Пускай! Мне глаза больше не надобны,— все видел я...

Пил он, не пьянея, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

— Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савва-теич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

— Да, господне дитя...

Все было страшно интересно, все держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутomляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

— Что это такое, что? — выл он, обливаясь слезами.— Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

— Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

— Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

— Полно, Яша, господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

— Господи, господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

— Все бы тебе знать! — неохотно, против обыкновения, сказала она. — погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

— Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помещивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

— Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

— Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал:

— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием — просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит все насквозь.

— Как забил? — говорит он, не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она все скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная, как бы. Ты держись за нее крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

— Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием.

Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

— Нет, это все без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

— Ты ведь не хотел?

— Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу.

— Не едет?

— Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

— Эхма, — говорила она сыновьям и деду, — погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, — накажет вас господь!

Дедушка хмуро ворчал:

— Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней,

полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

— Всего купил, как сказано было? — спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

— Все как надо, — весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

— Не бей голиц, за них деньги даны, — строго кричал дед. — Сдача есть?

— Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

— Опять что-то много ты привез. Гляди, однако — не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядя весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, по-свистывали, одобрительно шумели:

— Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыгана:

— Тебе отец сколько дал?

— Пять целковых.

— А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

— Четыре с гривной.

— Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги рóстят?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

— Ты нам, Ванька, по косушке поставь, — лениво говорил он.

Бабушка распрягала коня.

— Что, дитятко? Что, котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, богова забава!

Огромный Шарап, взмахивая густой гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

— Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

— Уж так, бабаня, хорош мерин, так умен...

— Поди прочь, не верти хвостом! — крикнула бабушка, при-
топнув ногою. — Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

— Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдет, — невесело говорила она. — Любит воровать, баловник! Раз попробовал — ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя досыта отведал — под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

— Тут, Леня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве, — забьют до смерти...

И еще, помолчав, она тихонько сказала:

— Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

— А то тебя будут бить до смерти...

— Не достигнут, — вывернусь: я ловкий, конь резвый! — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. — Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.

Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

— Не знаю.

— А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

— А меня?

— Ты — не Каширин, ты — Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонен к за-

бору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, — тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтоб поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых черных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

— Не сдюжишь? — спросил Григорий.

— Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

— Отворяй ворота, слепой черт!

А дядя Яков сказал:

— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

— Гляди же, не перемагайся! Пошли с богом!

— Плешивая дура! — крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

— Может, сегодня дедушка не посечет тебя, — ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на грудку приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

— Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Савватеич, козырь был, он все понимал, — за то дедушка и не любил его, не признавал.

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные

облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши,— сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывает.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня:

— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже,— отстанет...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

— Стой-ко? — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в черный потолок; темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половикам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

— Споткнулся он,— каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

— Упал, а его и придавило,— в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

— Вы его и задавили,— глухо сказал Григорий.

— Да,— как же...

— Вы!

Кровь все текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену,

Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

— Михайло в церковь погнал на лошади за отцом,— шептал дядя Яков,— а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыгана, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

— Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

— И то.

— Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

— Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая:

— Голубчик ты мой, ястребенок утешный...

Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжело ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопах с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

— Волки!

И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

— Знаю я,— он вам поперек глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что,— говорю,— поделаешь? Кони— чужие, вожжи — гнилые. Мать, невзлюбил нас господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голо-

ву, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

— Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо укутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

— Ведь врешь поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба́ душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

— Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всем, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

— Ты, господи, сам знаешь, — всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет — неведомо. А отец, — он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик, — ты бы, господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, господи, Григорья,— глаза-то у него все хуже. Ослепнет,— по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет.. О, господи, господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови.— Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости,— ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно

— Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

— Расскажи про бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

— Сидит господь на холме, среди дуга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господа ангелы летают во множестве,— как снег идет али пчелы роятся,— али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин,— каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечет его!» И так все, про всех, и всем он воздает по делам,— кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видела?

— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и крот-

кой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

— Бога видеть человеку не дано, — ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них все, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все и поспороности после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, — обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, — ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба́ душа, хорошо все у бога и на небе и на земле, так хорошо...

— А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

— Слава пресвятой богородице, — все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме все хорошо; мне казалось, в нем живетсЯ хуже и хуже.

Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

— Господи, прибери меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

— Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, — я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

— Вот и ладно, и пойдем! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее — вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

— Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

— Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она — кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

— Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка одна́ бил на первый день Пасхи от

обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И вожжами и всяко.

— За что?

— Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, — еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше! Кроме того, — муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на нее и говорила умиленно:

— Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

— Запылилась, окоптела, — ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голубá душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников. в середине же божия мать Феодоровская, предобрая. А это вот — Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

— Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал-мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я — к двери — нет ходу; увязла среди бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубенки мышинные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросычьи, — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя, — свеча еле горит, корыто

простыло, стирание на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головой, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак за-свистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке, колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти, свистят, кричат, колпаками машут, — да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела...

Не верить бабушке нельзя, — она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгальчеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалих матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

— Олеша, милый, таракан лезет, задави, Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

— Нет нигде, — говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась, — я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

— Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной, мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

— Около порога он... под сундук пополз...

— Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

— А непонятно мне — на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп — значит, стены грязные; вошь нападает — нездоров будет человек, — все понятно! А эти, — кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

— Цыц, пес, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди,

треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

— Купорос, дураки! Взорвет купорос...

— Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутылку купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно!..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстайвайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, — бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставляю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильич, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей.



толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, — только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто! Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хоряка, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

— На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо, — это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

— Боялся ты?

— Нет.

— И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

— Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он — дурак, а то — вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь?

Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: только что лег в постель — меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:

— Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, все более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

— Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

— Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

— Что это делается?

— Тетка Наталья родит, — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.

Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее.

— Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю — лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

— Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет?

Ишь как стенает тетка! Забыли про нее; она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала — с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть...

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

— Царские двери отворить надо...

— Дайте ей масла лампадного с ромом да сажу: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажу...

Дядя Михайло назойливо просил:

— Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопылив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком.

— Дурак,— сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

— Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:

— Оправдания же нам нет, никому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты,— свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

— Что болит?

Все болело; голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом,— все кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и еще много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды, где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

— На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

— Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня — она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

— А где бабушка?

— Там,— ответил дядя, махнув рукою, и ушел все так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, ви-

сит платье бабушки,— я это знал,— но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно...

V

К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо ошетилившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам.— Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка,— смотреть на все это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

— Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну, вот, Олеша, голуба́ душа, зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало все!

А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и

дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, все готовились к чему-то и звали:

— Акулина Ивановна!

Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:

— Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная — берите гусяного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите все это семь раз на блюде черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, — ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте, — вредно!

Иногда она задумчиво советовала:

— Вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите, — не умею я ответить вам.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

— Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще — кавказский...

Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

Однажды я спросил бабушку:

— Ты — колдунья?

— Ну, вот еще выдумал! — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: — Где уж мне: колдовство — наука трудная. А я вот и грамоты не знаю — ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.

И открывала предо мною еще кусок своей жизни:

— Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушиб-

ла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную, — живи-де, как сама знаешь, — а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та́ пора люди-то богаче жили, добрее были, — славные балахонские плотники да кружевницы, — все напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по́ городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, — так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, — голосок у ней не силен был, а звонок, — и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках — по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удается чего, — слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит смирной буду, н-ну... А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.

И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Ког-

да он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.

— Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:

— С медом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

— Ты гляди, не помереть бы мне!

— Не бойся, догляжу.

— То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил,— все прахом пойдет!

— А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:

— Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жены да новые дети попридержат их,— а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и краснó сверкают стекла в окнах домов,— дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?

— Буки.

— Попал! Это?

— Веди.

— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть,— это что?

— Добро.

— Попал! Это?

— Глаголь.

— Верно! А это?

— Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно...

— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От

него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задышался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо толкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо:

— Бросила тебя мать-то поверх земли, брат...

Бабушка встрепенулась:

— Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..

— Не сказал бы — горе нудит... Эх, какая девка заплуталась...

Он резко оттолкнул меня.

— Иди, гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду...

Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нем, на горке, — мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.

— Бырь пришел! — кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. — Лупи его!

Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все

внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказания, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

— Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

— Хитер ты али простодушен, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочесть псалом.

— Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же-блаже; наш-ер-блажен,— выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:

— Блажен муж,— это дядя Яков?

— Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж! — сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.

И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

— Н-да, по игре да песням он — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит! Песнотворец, словотер, балагур... Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот,— далеко ли?

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, теплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

— Дедушка!

— Ась?

— Расскажите что-нибудь.

— А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь...

Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.

Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.

— Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и все плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца.

— Однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.

— Я ó ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал, гарнизонные вступились, — разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти — народ ловкой, догадливый; довольно даже веселые, — песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие — разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал; вконец, — говорит, — погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.

— Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, — она калачи пекла да продавала, — стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий — прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это — нельзя понять! Многие поумирали от холода, они — люди теплой стороны, мороз

им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Выучился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он — черный, злой! Плохо говорил, а понять можно, и верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то по Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.

Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.

— Рассказывайте,— напоминаю я тихонько.

— Ну, вот,— вздрогнув, начинает он,— французы, значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама,— это, стало быть, моя дама, барыня моя,— а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у нее не женская, до двадцати годов меня за волосы трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николы вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нем; нежным он был, возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал...

Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя — горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:

— Запомни! Ты это запомни!

Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но

оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:

— А кто лучше: французы или русские?

— Ну, как это знать? Я ведь не видел, каково французы у себя дома живут,— сердито ворчит он и добавляет:

— В своей норе и хорек хорош...

— А русские хорошие?

— Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованый был народ. А теперь вот все на воле,— ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок,— что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много; взглянешь — человек, а узнаешь,— скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего...

— Русские сильные?

— Есть силачи, да не в силе дело — в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь все сильнее.

— А зачем французы нас воевали?

— Ну, война — дело царское, нам это недоступно понять!

Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:

— Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба — вся разная: осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали,— Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов, я те про них после скажу...

Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.

И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.

Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом:

— А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком бишь это году?..

Подумав, дед обстоятельно отвечал:

— Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.

— А верно! Еще боялись мы их...

— То-то.

Я спрашивал: кто такие олончане и отчего они бегали по лесам,— дед не очень охотно объяснял:

— Олончане — просто мужики, а бегали из казны, с заводов, от работы.

— А как их ловили?

— Ну, как? Как мальчишки играют: одни — бегут, другие — ловят, ищут. Поймают — плетями бьют, кнутом; ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.

— За что?

— За спрос. Это — дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит,— нам не понять...

— А помнишь, отец,— снова говорит бабушка,— как после большого пожара...

Любя во всем точность, дед строго спрашивает:

— Которого большого?

Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.

— Сколько прожито, сколько видано! — тихонько бормотал дед.

— Али плохо жили? — говорила бабушка.— Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!

— Это — в сорок восьмом году, в самый венгерский поход; кума-то Тихона на другой день после крестин и погнажи...

— И пропал,— вздыхает бабушка.

— И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара...

— А ты полно, отец...

Он сердился, хмурился.

— Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали — в лукошко кладем, а господь-от вложил в руки нам худое решето...

Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно побрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.

— А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты, ведьма!

В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь:

— Господи, али я грешней других? За что-о?

И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.

Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:

— Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же,— споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один...

Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.

Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:

— Эх, дурак...

И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки:

— Уйди, убью!

— Дурак,— повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.

— Старая шкура,— шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.

Я сидел на лежанке ни жив ни мертв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нем — такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:

— Ну, господи...

Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.

— Тебе больно?

Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:

— Ничего, зубы целы, губу разбил только.

— За что он?

Выглянув в окно на улицу, она сказала:

— Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё... Ты ложись с богом, не думай про это...

Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:

— Кому я говорю,— ложись? Неслух какой...

Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее: в синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате — темно.

Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:

— Спи спокойно, а я к нему спущусь... Ты меня не больно жалеешь, голубя душа, я ведь тоже поди-ка и сама виновата... Спи!

Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.

VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

— Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ — шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозит: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошло к носу, стало жутко похоже на топор.

— Слышишь, мать? — взвизгнул он. — Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову:

— Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Нате-ка! Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил.

— Тятенька, я-то при чем?

— Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф.

— Я же защитить вас приехал...

— Ну? — насмешливо воскликнул дед. — Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кось лисе этой чего-нибудь в руку — кочергу, хошь, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат — бей его в мою голову!..

Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол.

— Коли вы мне не верите...

— Верю? — крикнул дед, топнув ногой. — Нет, всякому зверю поверю, — собаке, ежу, — а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

— Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай скорее...

И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли; сквозь пыль высовывается опухолью крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам — старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко разворачивается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами; в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее — тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трех Святителей. Если смотреть прямо, — видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наливается жидким, теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил: он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, — дверь визжит, дребезжат стекла.

Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

— Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая. — Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай!

— Я боюсь там...

— Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней; в доме напротив музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

— Экой ведь благодатной, — какие стихи знает. Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, рассказывает, а бабушка — рядом с ним, слушает, расспрашивает.

— Погоди-ка, да разве божия мать и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

— Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах; мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгальчева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,
Со всяя земли злата, серебра;
Не прикрыть тебе, душа алчная,
Всем добром земли наготу твою...

И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:

Ты прости, пресвятая богородица,
Пожалей мою душеньку грешную,
Не себя ради мир я грабила,
А ведь ради сына единого!..

И богородица, добрая, как бабушка, простит ее, скажет:

Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой ты, зла-беда христианская!
А иди, ино, по своем пути —
И стезя твоя, и слеза твоя!
Да не тронь хоть народа-то русского,
По лесам ходи да мордву зори,
По степям ходи, калмыка гони!..

Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне; меня будит топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота; раздается гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечесьи головы, — улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут.

...У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:

— Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года — от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

— У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан; они заби-

рались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:

— Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:

— Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку, боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услышав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

— Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошел к окну, бабушка подхватила его под руки:

— Куда ты, куда?

— Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его пред собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко:

— Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

— Не попал! — завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

— Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то — Сибирь ему; ведь разве он поймет, в ярости, что Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

— Пускай убьет...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со

стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

— Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:

— Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.

Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, — нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

— По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко — только голову просунуть; дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

— Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил ее колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:

— Миш-ша, беги...

— А, мать? — страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке.

— Кость цела?

— Ох, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глаз. — А с ним что сделали, с ним?

— Уймись! — строго крикнул дед. — Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его... Ну, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

— За костоправкой я послал, — ты потерпи! — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. — Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!

— Отдай ты им все...

— А Варвара?

Они говорили долго: бабушка — тихо и жалобно, он — крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

— Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак...

VII

Я очень рано понял, что у деда — один бог, а у бабушки — другой.

Бывало — проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтоб не разбудить меня:

— А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает перед иконами, — вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица преславная, подай милости твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячее и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки.

— Иисусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради...

Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго; нужно было ставить самовар, — прислугу дед уже не держал; если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие, темные губы, а за чаем ворчал:

— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

— Он поймет, — уверенно отвечала бабушка. — Ему что ни говори — он разберет...

— Чуваша проклятая! Эх вы-и...

Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластена и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

— Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

— Думаете: скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это, не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарапа, она беседовала с ним:

— Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И все-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать — стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковь.

— Ну, и дура вы, сударыня моя, — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но — все это мне не нравилось, нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашла меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

— Я-а тебя, — погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

— Это ты зачем сделал?

— Она в тебя морковью кинула...

— Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнешься! Какой защитник, — взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке — он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

— Вот что, Ленька, голуба́ душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые — люди порченые; они богом испытаны, а ты еще нет, и — живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет, — понял? А кто в чем виноват — это дело не твое. Господу судить и наказывать. Ему, а — не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищулив правый глаз, добавила:

— Да поди-ка, и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина...

— Разве бог не все знает? — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила:

— Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, — на всех нас, да в иную минуту как восплачет да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться.

С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

— «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, — даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову, брови у него приподняты, ошетились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

— «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит:

— «Тебе единому согреших, — отврати лице твое от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

— «Врача родшая, уврачуй души моя многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со слезами на зеленых глазах:

— «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеша дел, отнюдь оправдающих мя!»

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржанных лепешек с творогом, — есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смороди-

ной, зреющими яблоками, а дед все еще молится, качается, взвизгивает:

— «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий,— знаю и напряженно слежу: не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня зло-
радное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

— Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

— А ты сегодня «довлеет» пропустил!

— Врешь? — беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

— Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

— На-ко вот! — восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько оплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

— А скушно, поди-ка, богу-то слушать моление твое, отец,— всегда ты твердишь одно да все то же.

— Чего-о это? — зловеще протянул он.— Чего ты мычишь?

— Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

— Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о неборимой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди и — потоплены, еще согрешили и — сожжены, разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он — меч над землею, бич грешникам.

— Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и гибелью! — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

— Ну, конечно! Еще бы не слушался ты?!

— А как же бабушка?

— Ты ей, старой дуре, не верь! — строго учил он.— Она смолodu глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы

не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

— А кто такие чиновники?

— Эк тебя мотает! — усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

— Это бога не касаемо, чиновники, это — человеческое! Чиновник суть законоед, он законы жрет.

— Какие законы?

— Законы? Это значит — обычаи, — веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами. — Живут люди, живут и согласятся: вот этак — лучше всего, это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребяташки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть — закон!

— А чиновники?

— А чиновник озорнику подобен, придет и все законы порушит.

— Зачем?

— Ну, этого тебе не понять! — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

— Надо всеми делами людей — господь! Люди хотят одного, а он — другого. Все человечье — непрочное, дунет господь, и — всё во прах, в пыль!

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

— А вон дядя Яков поет:

Светлы ангелы — божии чины,
А чиновники — холопи сатаны!

Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеется.

— Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! — сказал он. — Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это — кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками.

И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

— Эх вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, — и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их.

Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

— Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы,— отслужил бы я молебен Николе угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

— Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать,— нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною Псалтырь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

— «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю... И соблюди нас от всякого мечтания... Господи, покрый мя от человек некоторых... Даждь ми слезы и память смертную...

А бабушка нередко говаривала:

— Ой, как седни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу...

Дед водил меня в церковь: по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: все, что читают священник и дьячок,— это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он прежде всего искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни,— все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня,— бог бабушки, такой милый друг всему жи-

вому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребята относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

— Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силен и в бою ловок,— это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а! Как я тебя начну, с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

— Ну, что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только кричал и мычал:

— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав,— жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копченый человек, в тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение,— думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно.

Мальчишки бежали за ним, лукавя камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но

вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

— Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди — смерть в кармане! — кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами, — в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

— Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь покрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слышал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

— Григорий ходит по улице!

— Ну? — беспокойно и жалостно восклицала она. — На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему, — было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке — тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.

— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит, он хороший ведь...

— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.

— Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом, пророчески сказала:

— Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

— Эх вы-и...

Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась в праздники, огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки, — она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надутое, как пузырь, большие серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:

— Деточки мои — где вы?

Я спрашивал бабушку: что это?

— Нельзя тебе знать! — ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот ее увез куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась — дети ее, мальчик и девочка, померли уже, муж — проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция...

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна — большой такой, добрый зверь — и густым голосом твердит переимчивой, черной, как уголь, птице:

— Ну проси: скворушке — каши!

Скворец, скосив на нее круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь — не дается ему.

— Да ты не балуй! — серьезно говорит ему бабушка. — Ты говори: скворушке — каши!

Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки, — старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит:

— Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты — все можешь, все умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на — «Дра-астуй...»

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает:

— Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

— Убери его, дьявола, — убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый...

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травой, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской; на нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая, довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа — постройки Бетленга; в глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел дву-

мя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжелой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты,— в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар, с маленькой круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любить — не рада,
Искать другую надо!
Умей ее найти.
И ждет тебя награда
На верном сем пути!
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

— Вух, вух-вух-хх...

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди,— и невеселый длинный татарин Вале́й, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.

Это был худощавый сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

— Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

— Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на ма-

леньких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины, — колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном.

— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

— Не твое дело, молчи знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

— Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

— Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

— Ты — откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

— Здешний внук...

— Ага, да, — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счел нужным пояснить ему:

— Я не Каширин, а — Пешкóв...

— Пёшков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

— Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки, — в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

— Скверно пахнет?

— Да!

— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:

— Если скверно, так уж — не хорошо...

— Ну? — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

— В козны?

— В козны, да?

— Играю.

— Хочешь — налиток сделаю? Хорошая битка будет!

— Хочу.

— Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, — хорошо?

Это меня презестoko обидело.

— Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

— Ну-ко, подстригай малину, — сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

— Хорошее Дело чего строит?

— Горницу портит, — сердито ответил он. — Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему — съезжал бы!

— Так и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я — поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай

всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Степа играл с татаринном в карты, — Вале́й хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

— Аш-шайтан!

Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

— Пожалуйста-ко милостью, покушайте! — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня — орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неумный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, — в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклоняясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

— Мне сверху надо говорить, — сверху-то лучше!

Я поместился у ног ее, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:

Жил-был злой воевода Гордион,
Черная душа, совесть каменная;
Правду он гнал, людей истязал,
Жил во эле, словно сыч в дупле.
Пуще же всего невзлюбил Гордион
Старца Мирона-отшельника,
Тихого правды защитника,
Миру добродетей бесстрашного.
Кличет воевода верного слугу,
Храброго Иванушку-воина:
— Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливого!

Подь да сруби ему голову,
Подхвати ее за сиву бороду,
Принеси мне, я собак прокормлю!

Пошел Иван, послушался.
Идет Иван, горько думает:

«Не сам иду,— нужда ведет!
Знать, такая мне доля от господа».
Спрятал вострый меч Иван под полу,
Пришел, поклонился отшельнику:
— Все ли ты здоров, честной старичок?
Как тебя, старца, господь милует?

Тут прозорливец усмехается,
Мудрыми устами говорит ему:
— Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу богу — все ведомо.
Злое и доброе — в его руке!
Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне!

Стыдно Иванке пред отшельником,
А и боязно Ивану послушаться.
Вынул он меч из кожаных ножон,
Вытер железо широкой полкой.
— Я было, Мироне, хотел тебя убить
Так, чтобы ты и меча не видал.
Ну, а теперь — молись господу,
Молись ты ему в останний раз
За себя, за меня, за весь род людской,
А после я тебе срублю голову!..

Стал на коленки старец Мирон,
Встал он тихонько под дубок молодой,—
Дуб перед ним преклоняется.

Старец говорит, улыбаясь:
— Ой, Иван, гляди — долго ждать тебе!
Велика молитва за весь род людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебе лишнего не маяться!
Тут Иван сердито прихмурился,

Тут он глупенько похвастался:
— Нет, уж коли сказано — так сказано!
Ты знай молись, я хоть век подожду!

Молится отшельник до вечера,
С вечера он молится до утренней зари,
С утренней зари он вплоть до ночи,
С лета он молится опять до весны.
Молится Мироне год за годом,
Дуб-от молодой стал до облака.

С желудка его густо лес пошел,
А святой молитве все нет конца!
Так они по сей день и держатся:
Старое все тихонько богу плачется,
Просит у бога людям помощи,
У преславной богородицы радости,
А Иван-от воин стоит около,
Меч его давно в пыль рассыпался,
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одежда поистлела вся,
Зиму и лето гол стоит Иван,
Эной его сушит — не высушит,
Гнус ему кровь точит — не выточит,
Волки, медведи — не трогают,
Вьюги да морозы — не для него.
Сам-от он не в силе с места двинуться,
Ни руки поднять и ни слова сказать,—
Это, вишь, ему в наказание дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!
А молитва старца за нас, грешников.
И по сей добрый час течет ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

— Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

— Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это — страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет, — глаза его были полны слез; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них: это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

— Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю эдакого...

— Нет, именно это! Это страшно русское,— возбужденно выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

— Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжело вздыхала там.

Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила:

— Рассердился будто?

— Не,— ответил дядя Петр.— Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогрывать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

— Господа все такие — капризники!

Валей угрюмо буркнул:

— Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Петр тянул:

— До слез дошел. Видно: бывало, щука клевала, а ноне и плотва — едва...

Стало скучно, какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его,— так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда,— тихий, измятый, явно сконфуженный.

— Вчера я шумел,— сказал он бабушке виновато, словно маленький.— Вы — не сердитесь?

— На что же?

— А вот, что я вмешался, говорил?

— Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно — тихо слишком.

Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:

— Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, и вдруг — вскипит в душе, прорвет... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

— А вы бы женились...

— Э! — воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.

Бабушка, нахмуясь, поглядела вслед ему, понюхала табак и потом строго наказала мне:

— Ты, гляди, не очень вертись около него; боť его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один», — в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты, — она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, — такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад и там, в яме, увидел его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

— За мной?

— Нет.

— А что же?

— Так.

Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:

— Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

— Сиди... Будем сидеть и молчать — ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

— Да.

— Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо; каждый звук — шорох птицы, шелест упавшего листа — кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине — она обняла всю землю и наполняет грудь.

В такие минуты рождаются особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создается ее лицо.

Прижимаясь к теплему боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют ма-

ковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно — не по-всегдашнему — понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

— Славно, брат? То-то! А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырým сумраком, он сказал:

— Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

— Хороша у тебя бабушка,— о, какая земля!

Закрыв глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

Это ему в наказание дано:

Злого бы приказу не слушался,

За чужую совесть не прятался!..

— Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперед, спросил:

— Писать умеешь?

— Нет.

— Научись. А научишься — записывай, что бабушка рассказывает,— это, брат, очень годится...

Мы подружались. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою... И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

О, роза Сарона...

— Это чего ты делаешь?

— Одну штуку, брат...

— Какую?

— А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...

— Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

— Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, ерунда...

— А чем за хлеб платить?

— Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

— Видишь? И за говядину тоже...

— И за говядину...

Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит:

— Никак не могу я спорить с тобой, забиваешь ты, брат, меня; давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травой, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупно, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, — Хорошее Дело говорит тихонько:

— Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

— Важен генерал, а не очень умный...

Идет неуклюжий Вале́й, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надут, он смотрит, прищурясь, в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, — медная пуговица на куртке Вале́я горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами.

— Точно медаль получил, любитесь...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

— Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

— Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, — он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

— Врешь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

— Ну, врешь, брат...

— А почему ты знаешь?

— Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, — свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

— Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и еще какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему — он бросил работу и остановился передо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

— Прекрасно, именно так и было все! Очень хорошо!

Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

— Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, — понимаешь? Все!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я все сказал.

— Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, — это нехорошо запоминать! — сказал он.

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Ключникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчишке, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрее, тем сильнее, — понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками

быстрее и — легко победил Ключникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника.

— Всякую вещь надо уметь взять, — понимаешь? Это очень трудно — уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, — именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека.

— У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идет ко мне, — объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка. — Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

— Бабушка тебя боится, она говорит — чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу — враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух, на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а?

— Да!

— Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

— Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

— Это кто сказал?

— Дедушка...

— Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

— Послушай-ко,— почти шепотом говорил он, улыбаясь,— ты помнишь, я тебе сказал — не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

— Обиделся ты на меня, да?

— Да...

— А я, брат, не хотел тебя обидеть, я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься — твои станут ругать тебя,— так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам, мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его; я так и сказал:

— Это я давно понял!

— Ну вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

— Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

— Не сердись,— повторил он и шепотом, на ухо, добавил: — Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.

— Вы зачем прогнали его?

— А ты поговори!

— Дураки вы все,— сказал я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

— Да ты ошалел, пострел!

— Не ты, а все другие дураки,— поправился я, но это ее не успокоило.

За ужином дед говорил:

— Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его,— нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране,— лучших людей ее...

В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед.

После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Петр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка вилась кольцами; он курил трубку, дым ее — одного цвета с волосами — тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.

— В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьяна, свет, Лексевна, — «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «помогай садовнику!» Ладно; только как мужика ни положишь — все не хорош! В другое время она говорит: «Тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня все едино, я и рыбу... Однако только я пристрастился — прощай рыба, спасибо; а мне — в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну что ж, в извозчики, а — еще как? А еще уж ничего не успели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.

Была она старенькая, и точно ее, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр, — начал да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она — из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.

Дед сказал ему однажды:

— Ты что это скота христианским именем зовешь?

— Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет — Танька, а есть — Татиана!

Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось — Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконноваша, неправдоваша».

— Ино дело — по-моему, ино — по-твоему! — горячился дед, багровея, и дразнил: — Вашá шишá!

Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:

— А чем лучше хомы твоё? Нисколько они богу не лучше! Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе — грош!

— Уйди, Лексей! — яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами.

Петр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, — откидывал и упрекал вдогонку:

— Лишняя вещь, а — мешаешь!

Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.

— Ты — что, дядя Петр?

— Отойди, — говорил он глухо и строго.

В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане ее; я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:

— Не стоит.

Другой раз стрелок всадил несколько дробинок в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.

И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр — если был дома — поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка; пройдет, воротится назад и — снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним — белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мертвый дом Овсянникова не показывает никого.

Иногда дядя Петр гуляет без успеха, — охотник, видимо, не признает его дичью, достойной выстрела, но порою двуствольное ружье бухает раз за разом:

— Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и, очень довольный, говорит:

— В полу хлестнул!

Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра:

— Что ты ему, дикóму, потекаешь? А ну он глаз тебе выбьет!

— Не-е, никак, Акулина Иванна, — пренебрежительно тянул Петр. — Он стрелок никакой...

— Да ты-то по́што балуешь его?

— Я разве балую? Мне охота подразнить барина...

И, разглядывая на ладони извлеченные дробины, он говорил:

— Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, — она мужьев меняла вроде бы лакеев, — так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну — он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонт Ильич наведет пистолет — бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил — дернулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил — готово! Схоронили ее...

— А дурачок?

— Он — ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак — так не обидчик...

Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:

— А до смерти убить может барин?

— Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту — в самую печень! Мамонта — на погост, улана — на Кавказ, — вот те и вся недолга! Это они — сами себя! А про мужиков и прочих — тут уж нечего говорить! Теперь им — поди — особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде все-таки жалели — свое добро!

— Ну, и тогда не больно жалели, — говорит бабушка.

Дядя Петр соглашается:

— И это верно: свое добро, да — дешевое...

Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне

в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько.

— Как жить будем, сударик? В солдаты пойдешь али в чиновники?

— В солдаты.

— Это — хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе — осподи помилуй — да и вся недолга! Попу даже легче, чем солдату, а еще того легче — рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо — была бы привычка!..

Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.

— Вот ты сердишься, когда тебя дедушко высекет, — утешительно говорил он. — Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сечение — детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна — ну, она секла знаменито! У нее для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своем, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.

Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крылечке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.

— И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа — синяя, бороду брил. И не то он — дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды в чашку, поймает муху, а то — таракана, жука какого и — топит их прутиком, долго топит. А то — собственную серую изымет из-за шивороты — ее топит...

Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:

— Расскажи другое!

Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:

— Ладно, жадный, — другое. Вот был у нас повар...

— У кого?

— У графини Татьян Лексевны.

— Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина?

Он смеялся тоненько.

— Конечно — барыня она, однако — были у ней усики. Чер-

ненькие, — она из черных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот — повар; это, сударик, будет смешная история...

Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть ее всю сразу; он съел и захворал.

Я сердился:

— Это вовсе не смешно!

— А что смешно? Ну-ко, скажи!

— Я не знаю...

— Тогда — молчи!

Он снова плел скучную паутину.

Иногда, по праздникам, приходили в гости братья — печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидели на дворе Бетленга барина в меховом зеленом сюртуке; сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая, лысая, желтая голова была непокрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составил остроумный план кражи: братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.

— Как испугать?

Один из братьев предложил:

— Ты поплюй ему на лысину!

Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.

Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, ее вел молодой красивый офицер, и так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, — дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежал в кухне на полатах, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр.

— Это ты ловко удумал, сударик! — шептал он. — Так ему и надо, старому козлу, так его, — плюй на них! Еще бы — камнем по гнилой-то башке!

Передо мною стояло круглое, безволосое ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но — все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сек меня.

— Уйди! — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами.

Он захихикал, замигал и слез с полатей.

С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и, в то же время, начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.

Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова, мне казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок.

В доме Бетленга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.

— Еретики, безбожники, — говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.

Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.

Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них — мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.

Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик, с баками и кривым носом, выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков; одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отноше-

нии старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал — они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

— Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

Однажды я влез на дерево и свистнул им, — они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:

— Дети, — марш домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, — а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся, тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял честно, закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя.

— Раз, — кричал старший, — два...

Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, — исчезла.

Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича:

— Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью; он сказал:

— Тихонько, пожалуйста!..

Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена,

был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

— Ка-ак я па-ада-ал...

— Ты с ума сосол, вот сто,— сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

— Идем, все равно не скроешь...

— Вас будут бить? — спросил я.

Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:

— Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:

— Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь — не надо!

— Да, не надо,— согласился младший, вздрагивая.— Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Все это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на су-чок, с которого соскочил во двор,— он еще качался, сбрасывая желтый лист.

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково:

— Иди к нам!

Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, при-сматриваясь друг к другу, долго беседовали.

— Били вас? — спросил я.

— Досталось,— ответил старший.

Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.

— Зачем ты ловишь птиц? — спрашивал младший.

— Они поют хорошо.

— Нет, ты не лови, пускай лучше они летают, как хотят...

— Ну, ладно, не буду!

— Только ты прежде поймай одну и подари мне.

— Тебе — какую?

— Веселую. И в клетке.

— Значит — это чиж.

— Коска съест,— сказал младший.— И папа не позволит.

Старший согласился:

— Не позволит...

— А мать у вас есть?

— Нет,— сказал старший, но средний поправил его:

— Есть, только — другая, не наша, а нашей — нет, она по-мерла.

— Другая называется — мачеха, — сказал я; старший кивнул головою:

— Да.

И все трое задумались, отемнели.

По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:

— Еще вернется родная-то, погодите!

Старший пожал плечами:

— Если умерла? Этого не бывает...

Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их sprыснуть живою водою, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!

Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории; старший сначала все усмехался и говорил тихонько:

— Это мы знаем, это — сказки...

Его братья слушали молча, маленький — плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, — наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно за вечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.

— Это кто такое? — спросил он, указывая на меня пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:

— Он — оттуда...

— Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.

Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:

— Не смей ходить ко мне!

Я рассердился:

— Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!

Длинной рукою своею он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:

— Твой дед дома?

На мое горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:

— Мать у него — в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, — уж вы простите, полковник!

Полковник крикнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел, а меня, через некоторое время, выбросило на двор, в телегу дяди Петра.

— Опять нарвался, сударик? — спрашивал он, распрягая лошадь. — За что бит?

Когда я рассказал ему — за что, он вспыхнул и зашипел:

— А ты на што подружился с ними? Они — барчуки-змееныши; вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй — чего глядеть!

Он шипел долго; обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предомной неповинны.

— Их бить — не нужно, они хорошие, а ты врешь все, — сказал я.

Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:

— Пошел прочь с телеги!

— Дурак ты! — крикнул я, соскочив на землю.

Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаюсь поймать, бегал и неестественно кричал:

— Дурак я? Вру я? Так я ж тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:

— Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня — по матушке и всяко... и вралем...

Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала:

— Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь, — зазорно он тебя не ругал!

Дедушка поверил бы извозчику.

С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался; однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном — на сношениях с барчуками; ловил и шел ябедничать к деду.

Знакомство с барчуками продолжалось, становясь все приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие,

братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.

Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце,— по крайней мере я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей.

Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:

— Бабушки, должно быть, все очень хорошие,— у нас тоже хорошая была...

Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он — тонкий, хрупкий, а глаза — очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним,— всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.

Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр и разгонял нас тягучим возгласом:

— О-опя-ать?

Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы; обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.

Его немой племянник уехал в деревню жениться; Петр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака,— из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду.

— Гляди, сожжешь ты меня, Петр!

— Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю,— отвечал он, глядя в сторону.

Он теперь вообще смотрел все как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.

Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь,— вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щелкнула, на двор вошел полицейский, при-

крыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышимо говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал:

— Здесь! Когда? Дай бог память...

И вдруг, ~~сместив~~ подпрыгнув, он крикнул:

— Господи помилуй, неужто?

— Тише,— строго сказал полицейский.

Дед оглянулся, увидал меня.

— Прибери лопаты да ступай домой!

Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:

— Он — понимает; лошадь бросил, а сам — скрылся вот...

Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою; выслушав меня, она спокойно сказала:

— Украл, видно, чего-нибудь... Иди гуляй, что тебе!

Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ошетилившееся, и одна нога дрожала.

— Я сказал — пошел домой! — крикнул он мне, притопнув.

И сам пошел за мною, а войдя в кухню, позвал:

— Подь-ка сюда, мать!

Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.

— Ты чего испугалась?

— Молчи знай,— тихонько ответила она.

Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу.

— Ты, мать, зажги-ка лампадки везде,— приказывал дед, покашливая.

Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щеки, крикал и ворчал:

— Силен дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто и церковник, а — на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойнее, тяжелее.

Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» — он отвечал не сразу и густо:

— У нас до всего дознаются, не беспокойтесь!

Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.

Вдруг в сенях тяжело зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:

— Глядите, что у вас на задах-то!

Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал:

— Постой,— кто такая? Чего глядеть?

Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами:

— Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?

Тут яростно закричал дед, топая ногами:

— Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нем нет, врешь! Ничего у нас нет!

— Батюшка! — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову.— Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу — лежит он...

— Кто-о?

Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад,— там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиной к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, темные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест.

От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:

— Не топчите следов!

Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:

— А ты зря орешь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной,— эх вы-и!

И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:

— Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом...

— Что он сделал? — спросил я; она ответила:

— Али не видишь...

Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крикая, точно утка:

— Как? Как?

Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:

— Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой — вовсе не немой и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство...

— О господи,— вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежал на полатах, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными...

Х

Однажды в субботу, рано утром, я ушел в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованому насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.

Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет, улетаая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...

Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошел до-

мой,— ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряженных в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал,— у меня дрогнуло сердце.

— Кого привез?

Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:

— Попа!

Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.

— Эх, курочки-и! — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова:

— Что же теперь — убить меня надо?

Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:

— Мать приехала, ступай! Постой... — Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: — Иди, иди...

Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный.

— Вот он,— говорила мать.— Господи, какой большущий! Что, не узнаешь? Как вы его одеваете, ну уж... Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусяного сала скорей...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застегивали большие черные пуговицы от плеча и — наискось — до подола. Никогда я не видел такого платья.

Лицо ее мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, ее малиновые губы брезгливо кривились, и все звучал командующий голос:

— Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка...

Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от нее исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки:

— Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится... Эх, Варя, Варя..

— Ну, не нойте, мамаша, обойдется!

В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжелой, теплой рукой, она говорила:

— Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?

— Я уж выучился.

— Еще немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?

И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.

Вошел дед, серый, ошетилившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:

— Ну, что же, папаша? Уезжать?

Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле, долго молчал, все вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.

— Алексей, поди вон, — глухо сказал дед.

— Зачем? — спросила мать, снова привлекая меня к себе.

— Никуда ты не поедешь, запрещаю...

Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.

— Папаша, послушайте...

Он обернулся к ней, взвизгнув:

— Молчи!

— Ну, а кричать на меня я вам не позволяю, — тихо сказала мать.

Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:

— Варвара!

А дед сел на стул, забормотал:

— Постой, я — кто? А? Как это?

И вдруг взревел не своим голосом:

— Оpozорила ты меня, Варька-а!..

— Уйди, — приказала мне бабушка; я ушел в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то — говорили все сразу, перебивая друг друга, то — молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка?

Потом он вошел в кухню вострепанный, багровый и усталый, за ним — бабушка, отирая полою кофты слезы со щек; он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустилась на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:

— Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина — гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен...

Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:

— Ну да, еще бы! А как же? Ты кого не простишь, ты — всех простишь, ну, да-а, эх вы-и...

Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро:

— А господь, небойсь, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а — ни покоя, ни радости нет и — не быть! И — помяни ты мое слово! — еще нищими подохнем, нищими!

Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.

— Эка беда! Чего испугался — нищими! Ну, и — нищими. Ты знай сиди себе дома, а по миру-то я пойду, — небойсь, мне подадут, сыты будем! Ты — брось-ка все!

Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:

— Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, — ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы...

Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:

— Ах ты, бесеныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого черта, злого, — прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, — прочь? Эх вы-и...

Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:

— Отходят все, все в сторону норовят — все врозь идет... Ну, зови ее, что ли! Скорее уж...

Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:

— Всемило́стивый господи, ну — вот, видишь, вот!

И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не понравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.

Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка — по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и

серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она — мать им.

Уставший от волнений, я крепко заснул на полатах.

Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:

— Ты гляди, каков отец-то, — козленок чистенький!

Мать весело засмеялась.

Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:

— Иди ко мне! Ну, как ты живешь — плохо, а?

Как я жил?

— Не знаю.

— Дедушка бьет?

— Теперь — не очень уж.

— Да? Ты расскажи мне, что хочешь, — ну?

Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:

— Ну, а еще что?

Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, — она обняла меня крепко.

— Экая дрянь...

И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:

— За что дед сердится на тебя?

— Я пред ним виновата.

— А ты бы привезла ему ребенка-то...

Она откачнулась, нахмурилась, закусив губы, и — захохотала, тиская меня.

— Ах ты, чудовище! Ты — молчи об этом, слышишь? Молчи и — не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стучая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.

На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.

— Ты когда ложишься спать?

— Немножко погода.

— Впрочем, ты днем спал,— вспомнила она и вздохнула. Я спросил:

— Ты уйти хочешь?

— Куда же? — удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.

— Ты что это?

— Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.

— Ты будешь похож на отца,— сказала она, откидывая ногами половики в сторону.— Бабушка рассказывала тебе про него?

— Да.

— Она очень любила Максима,— очень! И он ее тоже...

— Я знаю.

Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:

— Так лучше!

Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.

— А где ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.

— А где ты взяла такое платье?

— Сама сшила. Я все себе делаю сама.

Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.

Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.

Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них — «Родному слову» — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берешь ты у бога.
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».

— Ну, подумай,— внушала мать,— чего — простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?

Я понимал и все-таки читал «простого», сам себе удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух,— неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.

Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недорога,
Копыта, попы-то, корыто...

Опомнился я поздно: мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила отдельно:

— Это что такое?

— Не знаю,— сказал я, обомлев.

— Нет, все-таки?

— Это — так.

— Что — так?

— Смешно.

— Поди в угол.

— Зачем?

Она тихо, но грозно повторила:

— В угол!

— В какой?

Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая — чего ей надо? В углу под образами торчал круглый столик, на нем ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвертого — не было, косяк двери стоял вплоть к стене.

— Я не знаю, что тебе надо,— сказал я, отчаявшись понять ее.

Она опустила голову, помолчала, потирая лоб и щеки, потом спросила:

— Тебя дедушка ставил в угол?

— Когда?

— Вообще, когда-нибудь! — крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.

— Нет. Не помню.

— Ты знаешь, что это наказание — стоять в углу?

— Нет. Почему — наказание?

Она вздохнула.

— Ф-фу! Поди сюда.

Я подошел, спросив ее:

— Зачем ты кричишь на меня?

— А ты зачем нарочно перевираешь стихи?

Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если буду читать — подвернутся другие слова.

— Ты не притворяешься?

Я ответил — нет, но тотчас подумал: «А может быть, притворяюсь?» И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

— Как же это? — спросила она чужим голосом. — Значит — притворялся?

— Не знаю. Я не хотел...

— Трудно с тобой, — сказала она, опуская голову. — Ступай!

Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко — ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение — кажется — князя Вяземского:

И вечерней и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Христа ради на помощь зовет,

а третью строку

Под окошками ходят с сумою

я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:

— Балует! Память у него есть: молитвы он тверже моего зна-

ет. Врет, память у него — каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты — выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

— Сказки — помнит, песни — помнит, а песни — не те ли же стихи?

Все это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи — откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки.

Как у наших у ворот
Много старцев и сирот
Ходят, ноют, хлеба просят,
Наберут — Петровне носят,
Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.

Ночью, лежа с бабушкой на полатах, я надоедно твердил ей все, что помнил из книг, и все, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня:

— Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже...

Я бормотал:

Не люблю нищих
И дедушку — тоже,
Как тут быть?
Прости меня, боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить...

— Что ты говоришь, отсохни твой язык! — сердилась бабушка. — Да как услышит дед эти твои слова!

— Пускай!

— Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и без тебя не больно хорошо, — задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

— Отчего ей нехорошо?

— Молчи знай! Не понять тебе...

— Я знаю, это дедушка ее...

— Молчи, говорю!

Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились все обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, — я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она все более

хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!

Во время уроков она смотрела углубленными глазами через меня — в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и все чаще сердилась, кричала — это тоже обидно: мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках.

Иногда я спрашивал ее:

— Тебе нехорошо с нами?

Она сердито откликнулась:

— Делай свое дело.

Я видел также, что дед готовит что-то пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобокого пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом:

— Этого не будет, нет!

И хлопнула дверь, а дед — завыл.

Это было вечером; бабушка, сидя в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

— К постояльцам ушла, о господи!

Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил ее по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку.

— Не болтай чего не надо, ведьма!

— Старый ты дурак, — спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. — Буду я молчать, как же! Всегда все, что узнаю про затеи твои, скажу ей...

Он бросился на нее и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

— Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!

Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъяренный дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову ее ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплевываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе, на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:

— Подбери подушки и всё да поклади на печь! Надумал тоже:

подушками швырять! Твое это дело? И тот, старый бес, разошелся,— дурак!

Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:

— Взгляни-ка, чего это больно тут?

Я разобрал ее тяжелые волосы,— оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил ее, нашел другую, у меня онемели пальцы.

— Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

— Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты — на-ко! Пошел ин прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой, черной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи еще две толстые, изогнутые шпильки.

— Больно тебе?

— Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь — пройдет.

И стала просить меня ласково:

— А ты, голубá душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?

— Нет.

— Ну, помни же! Давай-ко уберем тут все. Лицо-то не избито у меня? Ну ладно, стало быть, все шито-крыто...

Она начала подтирать пол, а я сказал от души:

— Ты — ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе — ничего!

— Что глупости мелешь? Святая... Нашел где!

Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал — как бы отомстить деду за нее?

Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы: в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидел, что он, сидя на полу пред открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы — двенадцать листов толстой серой бумаги, разделенных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате — фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них — Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и еще многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нем: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смот-

ришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.

Но теперь я решил изрезать эти святцы, и, когда дед отошел к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и — стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд — явился дедушка, встал на приступок и спросил:

— Тебе кто позволил святцы взять?

Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.

— Что ты сделал? — крикнул он наконец и за ногу дернул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня за руки, а дед колотил кулаком ее, меня и визжал:

— Убью-у!

Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие перед ее лицом:

— Что за безобразие? Опомнитесь!..

Дед повалился на скамью, под окно, завывая:

— Убили! Все, все против меня, а-а...

— Как вам не стыдно? — глухо звучал голос матери. — Что вы всё притворяетесь?

Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему — стыдно матери, что он — действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.

— Наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее, — говорила мать, разглядывая обрезки и листы. — Видите — измято все, слежалось, рассыпается...

Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:

— Сегодня же и наклеи! Я тебе сейчас остальные листы принесу...

Пошел к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:

— А его надо сечь!

— Следует, — согласилась мать, наклонясь ко мне. — Зачем ты сделал это?

— Я — нарочно. Пусть он не бьет бабушку, а то я ему еще бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

— Промолчал, как обещано было!

И плюнула на пол:

— Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!

Мать поглядела на нее, прошлась по кухне, снова подошла ко мне.

— Когда он ее бил?

— А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? — сердито сказала бабушка.

Мать обняла ее.

— Эх, мамаша, милая вы моя...

— Вот те и мамаша! Отойди-ка...

Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.

В первые же дни по приезде мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга — красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:

— Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.

Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали — привез откуда-то два воза разной мебели, расставил их в передних комнатах и запер большим, висячим замком:

— Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!

И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шелковом полосатом платье и золотистой головке, с нею — сыновья: Василий — чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пестрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, — еще в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:

— Андрей-папá, Андрей-папá...

Это очень удивляло и пугало меня.

Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем, воткнутом в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:

— Не утруждайтесь, все равно-с...

Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окруженная солдатами и народом, черная высокая телега, и на ней — на скамье — сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами, — человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», — я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.

— Не утруждайтесь, — сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:

— Ничего, мальчик крепкий...

Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать, — дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, — забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масленое, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие, оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, — казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масленные губы. Все это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.

Пили чай с ромом, — он имел запах жженных луковых перьев; пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую; ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.

Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:

Эх, пожили, как умели,
На весь город нашумели, —
Ба-арыне из Казани
Всё подробно рассказали...

Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:

— Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:
— Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова.

Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:

— Да-а, над этим надо думать...

А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:

— Андрей-папá, Андрей-папá...

Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:

— Это он из киятра взял, это там поют...

Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днем, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро приоткрылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:

— Варя — пришел!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:

— Одевайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

— Куда?

— Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своем деле — мастер и Лексею — хороший отец...

Дед говорил необычно важно и все гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них.

Мать спокойно перебила:

— Я вам говорю, что этому не бывать...

Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ошетилившись, и захрипел:

— Иди! А то — поведу! За косы...

— Поведете? — спросила мать, вставая; лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в рубаше, подошла к деду: — Ведите!

Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:

— Варвара, одевайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

— Ну, идемте!

— Прокляну,— шепотом сказал дед.

— Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал:

— Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныл:

— Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу, она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы:

— Варька, дура,— что ты? Пошла, бесстыдница!

Втолкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

— У-у, старый бес, бестолковый!

Посадила его на диван, он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:

— Оденься, ты!

Поднимая с пола платье, мать сказала:

— Я не пойду к нему,— слышите?

Бабушка толкнул меня с дивана:

— Принеси ковш воды, скорей!

Говорила она тихо, почти шепотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени,— в передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос:

— Завтра уеду!

Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.

Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени — из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, глядя рукою меховую шапку и крикая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:

— Сами знаете — насильно мил не будешь...

Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то — смеясь.

— Что ты? — спросил я, подбежав.

Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:

— Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!

И ушла в комнату матери, а я — снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.

День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стекла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой

с темно-зеленой дедовой водкой, настоящей на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворешне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали веселые ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но веселый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был ненужен, и все было ненужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки — вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь:

— А, окаянные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина...

Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.

— Ну — засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!

И — заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стучая пальцами по сухим коркам, большие слезы грузно шлепались на них.

В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.

— Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрышки!

Мать, веселая и спокойная, обняла ее, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затекшие глаза:

— Ладно, ничего! Едали и хорошие пироги. Господь — скуповат, он за года минутами платит... Он процента не признает. Садись-ка, Варя... ладно!

Он был словно безумен, все время обеда говорил о боге, о нечестивом Ахаве, о тяжелой доле быть отцом — бабушка сердито останавливала его:

— А ты — ешь знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

— Что, испугался давеча? — спросила она, толкнув меня.

Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.

Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что все это они делали серьезно и что им трудно плакать. И слезы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, все меньше возбуждали меня, все слабее трогали сердце.

Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.

В бесконечных буднях и горе — праздник и пожар — забава; на пустом лице и царапина — украшение...

ХІ

После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих не похоже на себя.

Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василью Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его — что это за книга? — он внушительно отвечал:

— Этого тебе не нужно знать. погоди, помру — откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.

Он стал говорить с матерью мягче и меньше, ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь:

— Ну, ладно! Делай как хошь...

В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:

— В наши-то годы одежда куда красивей да богаче нынешней была! Одежда богаче, а жили — проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись...

Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кикю; низко поклонясь деду, она спросила:

— Ладно ли, сударь-батюшка?

Дед крикнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, раз-

водя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:

— Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди...

Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы: Петр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами — тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:

— Видите ли, как я думаю...

Мать слушала его прищурившись, усмехаясь и часто прерывала:

— Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините...

Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:

— Именно же-ребенок...

Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась — всегда лучше всех — и уезжала с гостями.

Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе:

— Ну,— ладно, хорошо... Поглядим, что за дым...

После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос: «Как твоя фамилия?» — нельзя ответить просто: «Пешков», — а надобно сказать: «Моя фамилия — Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...»

Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:

— Не буду-у...

Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко

осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:

— Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но скрепя сердце пошел учиться, — не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.

Нас привлекли к суду, — в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас, — помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:

— Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:

— Забыл, где оно.

— Забыл?

— Да. Искал-искал...

— Ты бы за Лексеем шел, он помнит.

— Я его потерял.

— Лексея?

— Да.

— Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

— Метель была, ничего не видно.

Все засмеялись, — погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

— Ты бы за руку его держал, за пояс?

— Я — держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.

Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, — он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой.

Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли

его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полатах, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

— Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит,— что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним,— тогда вы все и узнаете... Бежим вместе?

Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача — я решил быть офицером с большой светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:

— Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

— И я тебя тоже.

На этом и порешили.

Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:

— Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!

Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши,— толстую тетку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынный Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере,—

Извела молодая жена:
Напоила его крепкой брагою,
А еще — сонным зелием.
Положила его, сонного,
Во дубовый челн, как во тесной гроб,
А взяла она весельце кленовое,
Сама выгребла посередь озера
Что на те ли, на темные омуты,
На бесстыжее дело ведьмино.
Там нагнулася, покачнулася,
Опрокинула, ведьма, легок челн.
Муж-от якорем на дно пошел,
А она поплыла скоро к берегу,
Доплыла, пала на землю
И завывала бабьи жалобы,
Стала горе лживое оказывать.
Люди добрые ей поверили,
С нею вместе горько плакали:
— Ой же ты, молодая вдова!
Велико твое горе женское,

А и жизнь наша — дело божие,
А и смерть нам богом посылается!
Только пасынок Ионушко
Не поверил слезам мачехи,
Положил он ей ручку на сердце,
Говорил он ей кротким голосом:
— Ой ты, мачеха, судьба моя,
Ой ты, птица ночная, хитрая,
А не верю я слезам твоим:
Больно сердце у тебя бьется радостно!
А давай-ко ты спросим господу,
Все святые силы небесные:
Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож
Да подбросит его в небо чистое,
Твоя правда — нож меня убьет,
Моя правда — на тебя падет!
Поглядела на него мачеха,
Злым огнем глаза ее вспыхнули,
Крепко она встала на ноги,
Супроти Ионы заспорила:
— Ах ты, тварь неразумная,
Недоносок ты, выбросок,
Ты чего это выдумал?
Да ты как это мог сказать?
Смотрят на них люди, слушают,
Видят они — дело темное.
Приуныли все, призадумались,
Промежду собой совещаються.
После вышел рыбак старенький,
Поклонился во все стороны,
Молвил слово решенное:
— А вы дайте-ка, люди добрые,
В праву руку мне булатный нож,
Я воскину его до неба,
Пусть падет, чья вина — найдет!
Дали старцу в рученьку острый нож,
Взбросил он его над седую головой,
Птицею нож полетел в небеса,
Ждут-пождут — он не падает.
Смотрят люди во хрустальную высь,
Шапки поснимали, тесно стоят,
Все молчат, да и ночь нема,—
А нож с высоты все не падает!
Вспыхнула на озере алая заря,
Мачеха зарделась, усмехнулась,

Тут он быстрой ласточкой летит к земле —
Прямо угодил в сердце мачехе.
Встали на колени люди добрые,
Господу богу помолилися:
— Слава тебе, господи, за правду твою!
Старенький рыбак взял Ионушку
И отвел его в далекий скит,
Что на светлой реке Керженце,
Близко невидима града Китежа...

На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, — от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, — только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, — бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел ее: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза.

Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слышал, как я бил стекла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стеклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там, внизу, хлопают двери, как много ходит людей.

Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков, — под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены — ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.

¹ В селе Колюпановке, Тамб(овской) губ., Борисоглебского уезда, я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. (Прим. М. Горького.)

Приходила бабушка; все чаще и крепче слова ее пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

— Ты, голубá душа, деду-то, домовому, не сказывай!

— Зачем ты пьешь?

— Нишкни! Вырастешь — узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

— Ну и вот, сударь ты мой, про что, бишь, я вчера сказывала?

— Про отца.

— А какое место?

Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

— Видела я во сне отца твоего, идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Савватейч сниться мне стал,— видно, беспокойна душенька его неприютная...

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории: отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его.

— Маленьких всегда бьют? — спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

— Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крестный — столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика — столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

— Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие,— говорила бабушка, посмеиваясь.— Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а — босый, без шапки, на длинных волосьях — ремешок. Это он — свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу — подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его,

как подошел: «Что это ты, молодец, не путем ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот — Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подает, а у самой — слезы на глазах. «Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты березу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то еще не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, — гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду, только ты помоги нам — это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: хоть камнем, говорит, бей, а — помоги, все равно я-де не отступлюсь! Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатила, — ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табак, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув:

— Ты этого еще не можешь понять, что значит — жениться и что — венчаться, только это — страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя незаконно, — запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:

— Ну, как же тут быть? Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться — после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» — «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». — «Что же это у тебя — трешница была?» — «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи — дешевы, гляжу я на них, на мать твою с отцом — экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидели, его можно продать!» Ну, совсем еще дети! Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама — реву, сердце дрожмя

дрожит, боюсь дедушку, да и Варе — жутко. Ну, наладились!

— Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим — поехали! Иду я домой во слезах — вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» — «Ты, говорит, обещай!» — «Как это — обещать, а где я их после-то возьму?» — «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да и пошла себе! Он — вперед меня забежал на двор и — поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

— Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, — шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнем охвачен, вызвал Якова с Михайлой, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я — кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло — ружье схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас — легкие, — ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, — добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви — Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те господи!

— Пошли было наши-то боем на Максима, ну — он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковым да мастером этим — забоялись его.

— Он и во гневе не терял разума, говорил дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь — живи, хошь — с голоду издохни». Воротился он — давай меня бить, давай ругать, я только побряхтываю да помалкиваю: все пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет

нигде, помни это!» Я одно свое думаю: ври больше, рыжий,— злоба — что лед, до тепла живет!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу,— не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильней, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

— Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонко бойкенский, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они — ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатаסקала тихонько у деда — ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берет ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поет под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе — кто? Я тебе — богоданная мать, а тебе, дурехе,— кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают — в небесах мать божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня за руки и давай меня по горнице носить, носит да еще приплясывает,— силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и все глаза заводит и все таково важно про хозяйство рассказывает, будто всамделишная баба — уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог — дресвой рассыпается!

— Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко все молчит,— упрям, домовой! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в доме запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое — отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час — ночь, вьюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой — не спится, я и скажи: «Плохо бедному в эту ночь,

а еще хуже тому, у кого сердце беспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» — Ничего, мол, хорошо живут. — «Я, говорит, про кого это спросил?» — «Про дочь Варвару, про зятя Максима». — «А как ты догадалась, что про них?» — «Полно-ка, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну — кому от нее весело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом — выпрашивает: что, дескать, дурак этот большой, — это про отца твоего, — верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел — не эти ли дураками-то живут? Кто в доме работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он — ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошел бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». — «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.

— Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка — а дед ему по плечо, — встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое, нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно! И сразу началось у них зуб за зуб — никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом — нет, он все свое! Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови — темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развеселая была озорница — бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солены уши?» И возмися, играем трое; хорошо жили мы, голуба душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие — у слепых перенял, а слепые — лучше нет певцов!

— Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень — отец обедать идет, а ты ему встречу.

То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать — замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребенка родить! Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился, — дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»

— А дядья твои не любили его, — вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, — горько они ему отрыгнулись! Как-то, о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно — все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампы зажечь, бегают, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг все прекратилось; еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался — это, говорит, наверное, Максимом сделано! После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, — ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

— Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь — волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза — хорошо выходило! Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено — ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет — волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнем, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он — хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно — горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову — нос, глаза, рот сделает, пакли налепит вместо волос, а потом идут с Яковым по улице и рожи эти страшные в окна суют — люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам — в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила — бросьте, и Варя тоже, — нет, не унимаются! Смеется Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди, говори с ним...

— И отдалось все это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку — обидчивый, злопамятный, и задумал он известить отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один — его расстригли после, он извозчика

до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили да и столкнули его в прорубь,— я тебе рассказывала это...

— Отчего дядья злые?

— Они — не злые,— спокойно говорит бабушка, нюхая табак.— Они просто — глупые! Мишка-то хитер, да глуп, а Яков — так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посереде проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли — дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию — полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

— Упокой, господи, Максима Савватейча с праведными твоими, стоит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то! «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрел на пруд да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и еще двое. А Яшка-то с Мишкой еще не успели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает — поседели височки-то!

— Варвара — криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принохивается ко всем, выпрашивает, а мое сердце чувствует — ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку — что случилось? Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлом первая, научите их — говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Прядильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции! Я — к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врет все, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам — Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю, это все Михайло, он старшой!» Успокоили мы квартального кое-как — хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина». С тем и ушел.

А дед подошел к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоём месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!» Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уже после, по глупости, стал на замок сердце-то запирасть. Остались мы втроем, заплакал Максим Савватейч и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама — за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребенка. За что? — спрашивает. Я — реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на нее цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушка дураков этих прислал прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке — вот те и прощенье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города — скушновато здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу моему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и все уговаривал меня — ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и — все...

Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:

— Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души — одной...

Иногда, во время ее рассказа, входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал:

— Ври, ври...

Неожиданно спрашивал:

— Алексей, она тут пила вино?

— Нет.

— Врешь, по глазам вижу.

И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:

— Проходи, Авдей, не пугай лошадей...

Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил:

— Мать?

— Ай?

— Ты видишь, что ли, дела-то?

- Вижу.
- Что ж ты думаешь?
- Судьба, отец! Помнишь, ты все говорил про дворянина?
- Н-да.
- Вот он и есть.
- Голь.
- Ну, это ее дело!

Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку:

- Про что вы говорили?

— Все бы тебе знать,— ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги.— Смолоду все узнаешь — под старость и спросить не о чем будет...— И засмеялась, покачивая головою.

— Ах, дедушко, дедушко, малая ты пылинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это! — разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становилось печальным, темнея.

- Ты о чем думаешь?

— А вот, думаю, что тебе рассказать? — встрепенулась она.— Ну, про Евстигнея — ладно? Вот значит:

Жил-был дьяк Евстигней,
Думал он — нет его умней,
Ни в попах, ни в боярах,
Ни во псах, самых старых!
Ходит он кичливо, как пырин,
А считает себя птицей Сирин,
Учит соседей, соседок,
Всё ему не так, да не эдак.
Взглянет на церковь — низка!
Покосится на улицу — узка!
Яблоко ему — не румяно!
Солнышко взошло — рано!
На что ни укажут Евстигнею,
А он,—

бабушка надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным, она говорит ленивым, тяжелым голосом:

— Я-ста сам эдак-то умею,
Я-ста сделал бы и лучше вещь эту,
Да все время у меня нету.—

Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает:

И пришли ко дьяку в ночу беси:
— Тебе, дьяк, не угодно здесь?
Так пойдем-ко ты с нами во ад,
Хорошо там уголья горят! —
Не поспел умный дьяк надеть шапки,
Подхватили его беси в свои лапки,
Тащат, щекотят, воют,
На плечи сели ему двое,
Сунули его в адское пламя.
— Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами? —
Жарится дьяк, озирается,
Руками в бока подпирается,
Губы у него спесиво надуты.
— А — угарно, говорит, у вас в аду-то!

Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменив лицо, смеется тихонько, поясняя мне:

— Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш! Ну-ко, спи, пора...

Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался.

Все меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разраставшейся с каждым днем тревоги.

— Отчего беспокоится отцова душа? — спрашивал я бабушку.

— А как это знать? — говорила она, прикрывая глаза. — Это дело божие, небесное, нам неведомое...

Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории, — главное место в них занимал отец, он всегда шел куда-то, один, с палкой в руке, и — мохнатая собака сзади его...

XII

Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись, спустил их с кровати — они снова отнялись, но уже явилась уверенность, что ноги целы и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня.

Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях, пред нею стояли какие-то чужие люди, сухая, зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса:

— Напоить его малиной, закутать с головой...

Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев.

— Это кто? — спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом.

— Это еще тебе бабушка...

Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова.

— Вот и отец...

Она стала что-то говорить быстро, непонятно; Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал:

— Я тебе подарю краски.

В комнате было очень светло, в переднем углу, на столе, горели серебряные канделябры по пяти свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мене, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы, все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря:

— Непременно, непременно...

— Сомлел, — сказала бабушка и понесла меня к двери.

Но я не сомлел, а просто закрыл глаза и, когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее:

— Что же ты не говорила мне про это?..

— А ты — ладно, молчи!..

— Обманщики вы...

Положив меня на кровать, она ткнулась головою в подушку и задрожала вся, заплакала; плечи у нее ходуном ходили, захлебываясь, она бормотала:

— А ты поплачь... поплачь...

Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зеленая старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла.

Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо.

Как-то утром пришел дед со стамеской в руке, подошел к окну

и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками, дед тихонько спросил ее:

— Что, старуха?

— А что?

— Рада, что ли?

Она ответила так же, как мне на лестнице:

— А ты — ладно, молчи!

Простые слова теперь имели особенный смысл, за ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить и что все знают.

Осторожно вынув раму, дед понес ее вон, бабушка распахнула окно — в саду кричал скворец, чирикали воробьи; пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели.

— Босиком-то не ходи, — сказала бабушка.

— Пойду в сад.

— Не сухо еще там, погодил бы!

Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно.

В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны, всюду было много птиц; веселый звон, свежий, пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян, — нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в нем летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было еще очень обидно, но с каждым днем теряло интерес.

— Ты что это надул губы? — спрашивали меня то бабушка, то мать, — было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками; легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, все видя, все замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Ее голые, широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизи-

нец, около ушей у нее катались костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын,— до них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам, от руки пахло желтым казанским мылом и ладаном, я отворачивался, убегал.

Она часто говорила сыну:

— Мальчика непременно надо очень воспитывать,— понимаешь, Женя?

Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой.

Я ненавидел старуху — да и сына ее — сосредоточенной ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза:

— Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски! Ты подавишься, милый!

Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей:

— Возьмите, коли жалко...

Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак,— пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот:

— А, ба-атюшки! Ну и озорник же ты, Христос с тобой...

Мне не нравилось, что она зажимает рот, я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть: однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем, оба они прилипли; это было очень смешно, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала:

— Послушай,— зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!

Глаза ее налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке,— это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня! Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда,— пусть только она не плачет.

— Да, да,— сказала она тихонько,— не нужно озорничать! Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедem в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом,— вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь,— ученый может быть чем хочет. Ну, иди, гуляй...

Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницею куда-то глубоко вниз и прочь от нее, в темноту, в одиночество,— не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери:

«Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя!»

Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда.

В саду дела мои пошли хорошо: я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье,— на нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, замазал их глиной в щели между кирпичами,— когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви.

— Ловко придумал! — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу.— Только бурьян тебя забьет, корни-то ты оставил! Дай-ко я перекопаю землю заступом,— иди принеси!

Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрывая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю.

— Отбрасывай коренья! Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы — хорошо будет! Хорошо...

И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер; я присмотрелся к нему — из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы.

— Ты что?

Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня.

— Вспотел я! Гляди-ко — червей сколько!

Потом снова стал копать землю и вдруг сказал:

— Зря все это настроил ты! Зря, брат. Дом-от я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живет, господь с ней...

Он бросил лопату и, махнув рукою, ушел за баню, в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге.

Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу, я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его,— точно она шла по остриям гвоздей.

Свадьба была тихая; придя из церкви, невесело пили чай,

мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки, вотчим сел рядом со мною и сказал:

— Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать, уж я пришлю тебе краски из Москвы...

— А что я буду делать с ними?

— Ты не любишь рисовать?

— Я не умею.

— Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.

Подошла мать.

— Мы ведь скоро вернемся, вот отец сдаст экзамены, кончит учиться, мы и назад...

Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил:

— Ты чему учишься?

— Межевому делу...

Мне было лень спросить — что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там.

Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:

— Ну, прощай...

— Скажи ему, чтобы слушался меня, — угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое.

— Слушайся дедушку, — сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, — это он помешал ей.

Вот они сели в пролетку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.

— Помоги, али не видишь? — сказал мне дед; я не помог, туго связанный тоскою.

Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:

— До-остаточно-о...

На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером, — она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал.

— Значит — вы на войну пойдете? — спрашивал дед.

— Обязательно!

— Дело доброе. Турок надо бить...

Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто:

— Не будет... добра тут... не будет...

Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки, — вот они повернули за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось.

Было рано, окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна — никогда я не видел ее такой мертво пустой. Вдали назойливо играл пастух.

— Пойдем чай пить, — сказал дед, взяв меня за плечо. — Видно — судьба тебе со мной жить: так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!

С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишай, давил гусеницу, а я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы, — у меня стало совсем хорошо.

Дед говорил:

— Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше.

Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:

— Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.

Долго молчит, будто прислушиваясь, — снова неохотно роняет тяжелые слова.

— Это она второй раз запивает, — когда Михайле выпало в солдаты идти — она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы... Эх вы-и... А я скоро помру. Значит — останешься ты один, сам про себя — весь тут, своей жизни добытчик — понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим — не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а — упрямо! Слушай всех, а делай как тебе лучше...

Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, теплыми ночами даже спал там на кошке, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбрасает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает

мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:

— Гляди — звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит — сейчас где-то хороший человек родился.

Или указывала мне:

— Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая, глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза богова светлая...

Дед ворчал:

— Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят...

Бывало — зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и — сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, — и музыка плывет издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, — вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и — так странно — не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человеческий голос — все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака — все это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.

Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжело топая ногами, — это было привычно и не возбуждало внимания.

Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, несколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше.

Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная

зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреновом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росую просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду — мое первое самостоятельное дело.

Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то — к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.

Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною, долго, молча и неожиданно спрашивал:

— Что молчишь?

— Так. А что?

Он начинал поучать:

— Мы — не баре. Учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Все сам возьми...

И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти — жуткий.

Осенью он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг, за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:

— Ну, мать, кормил я тебя, кормил — будет! Добывай хлеб себе сама.

Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:

— Ну, что ж! Коли — так, так — эдак...

Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:

— Домовик-родовик, — вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье...

Дед заглянул в окно со двора и крикнул:

— Я те повезу, еретица! Попробуй осрами-ка меня...

— Ой, гляди, отец, худо будет,— серьезно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового.

Мебель и разные вещи он дня три распродал старьевщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая:

— Тащи-и! Ломай...

Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш.

Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтоб сбросить меня долой.

И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери.

Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня,— присматривалась и молчала, а вотчим неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами.

— Господи, как ты ужасно растешь! — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щеки мои. Одета она была некрасиво — в широкое, рыжее платье, вздущшееся на животе.

Вотчим протянул мне руку.

— Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?

Понюхал воздух и сказал:

— А знаете — у вас очень сыро!

Оба они как будто долго бежали, утомились, все на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.

Скучно пили чай, дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна:

— Стало быть — все сгорело?

— Все,— решительно подтвердил вотчим.— Мы сами едва выскочили...

— Так. Огонь не шутит.

Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей,— бабушка щурила глаза, точно в них светом било. Становилось все скучнее.

Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко:

— А до меня слух дошел, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл все...

Стало тихо, как в погребе, фыркал самовар, хлестал дождь по стеклам, потом мать выговорила:

— Папаша...

— Что-о, папаша-а? — оглушительно закричал дед. — Что еще будет? Не говорил я тебе: не ходи тридцать за двадцать? Вот тебе, — вот он — тонкий! Дворянка, а? Что, дочка?

Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше.

Потом, как-то не памятно, я очутился в Сормове, в доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и вотчим жили в двух комнатах на улицу окнами, а я с бабушкой — в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимний ветер раздувал дым по всему селу, всегда у нас, в холодных комнатах, стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок:

— Хвоу, оу, оу-у...

Если встать на лавку, то в верхние стекла окна, через крыши, видны освещенные фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего, — в него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень — снова гудок; отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережеванными людьми, черным потоком они изливались на улицу, белый, мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко: изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала изображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом.

Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещающая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака, — опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку — стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, крихтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город.

— Поглядеть, как там старик живет...

— Возьми меня!

— Замерзнешь, гляди, как вьюжно!

И уходила она за семь верст, по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую, рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую боль-

шое, стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахром, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот, ее серосиние глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу; улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие.

— Зачем мы тут живем? — спрашивал я. Она отвечала:

— Ах, молчи ты...

Она мало говорила со мною, все только приказывала:

— Сходи, подай, принеси...

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками, — драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятами яростней, — а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну, — она удивленно оттолкнула меня, прошла по комнате и сказала, задыхаясь от усталости:

— Звереныш!

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.

Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, он все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» — это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.

Однажды он крикнул, топнув ногою:

— Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!

В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатах, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.

По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим

скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:

— Полтора рубля.

— Евгений Васильев, побойся бога...

— Полтора рубля.

Эта нелепая, темная жизнь недолго продолжалась; перед тем как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.

— Что-о? — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. — Говорилось: нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый черт дедушка! Эх вы-и...

Не успел я осмотреться на новом месте, приехала бабушка и мать с ребенком, вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.

Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.

Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прáзелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, — это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил все время:

— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась — арбуз въехал вверх, а когда учитель притворил дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской

учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

— Пешкóв, книгу принес или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

— Нет. Не принес. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматриваясь к ее шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь — книгу, линейку, ручку пера — он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребяташками он был не так ласков, но они все-таки любили его.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, — это грозило мне великими неприятностями: мать, становясь все более раздражительной, все чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь, — в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф¹, похожий на колдуна и, помнится, горбатый.

Когда он, маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!» — в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно:

¹ Автор известного трехтомного труда — «Религия древнего мира», статьи — «Египетский метампсихоз», а также публицистической статьи — «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатление. Кажется, я неверно привел титул ее. Напечатана в каком-то богословском журнале семидесятых годов. (Прим. М. Горького.)

— Тебе — который год? Только о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял.

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

— Ну-ко, Расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

— Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слышал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да еще и жития? Стихами? Да ты у меня знающий...

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

— Позвольте, минутку... Ну-ко, Расскажи про Алексея человека божия...

— Прехорошие стихи, брат, а? — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. — А еще что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

— По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал — да. Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

— Вот что про тебя говорят — слышал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

— Чего же это ты озорничаешь?

— Скушно очень учиться.

— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:

— Пешков, Алексей. Так. А ты все-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко — можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

— Так.

— Вы сами-то ведь не много озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

— Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:

— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и все усугублял веселость. Наконец встал и сказал:

— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

— Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая кlobуком, он говорил:

— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

— Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:

— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже, — когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, — я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком; скучая, я развернул одну из книг вотчима — «Записки врача» Дюма-отца — и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемен, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!

Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все

хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем: это чушь!

На другой день я принес в школу «Священную историю» и два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В темной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, — это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрепаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец», — помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе — не хватило времени, а когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

— Ты взял рубль?

— Взял; вот — книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те — своим детям, один из них принес эту историю в школу, и, когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но — неправильно: ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это — мне не поверили, тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.

Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.

— Ты — врешь, — тихо сказала она. — Никто не может знать, что ты взял рубль.

— Поди спроси.

— Ты сам проболтался. Ну, скажи — сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу!

Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на

ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.

— Боже мой, боже мой...

Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, солевых тряпок, я встал, пошел на двор, но мать крикнула:

— Куда ты? Куда? Иди ко мне!..

Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил:

— Бувуга,— что означало: пуговка.

Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:

— Мы — бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...

И все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.

— Экая дрянь... дрянь! — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды.

Саша повторил:

— Дянь!

Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на все вокруг прекрасными, синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хвораю; еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая.

Мать сделала что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.

Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услышал надорванный крик матери:

— Евгений, я тебя прошу, прошу...

— Глу-по-сти! — сказал вотчим.

— Но ведь я знаю — ты к ней идешь!

— Н-ну?

Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:

— Какая ты злая дрянь...

Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидел, что мать, упав на колени, оперлась спиной и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, — им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, — схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.

По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.

Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала: — Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?

Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

Снова я у деда.

— Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукою по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

— И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь!

— Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:

— Мы с ней совсем разделились, у нас теперь все порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на внешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавами. И сама бабушка, точ-

но из меди лита, — неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

— Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом у бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок:

— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощекой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Все в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди, — ты сколько положила?

Высыплет чайники на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-то мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну уж — по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое, — это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отша-

гай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе — заработаю кусок, небойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

— Вот и спасибо те, голубá душа! Мы с тобой не прокормимся,— мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза.

Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу Оки или на Песках,— остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес — складывают в штабеля, и они лежат там, на Песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы-мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки две, три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда выюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться.

Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мордовки Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами,— он впоследствии, тринадцати лет, удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший «черной немочью», а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; все — люди с одной улицы.

Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» — ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще — «мартышничали» на Волге и Оке, хватая

все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.

Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом — слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.

Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей, — наша компания этими делами не занималась; Чурка однажды решительно заявил:

— Я воровать не буду, мне мамка не велит.

— А я — боюсь! — сказал Хаби.

У Костромы было чувство брезгливости к воришкам, слово — вор он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, — разгонял их, если же удавалось поймать мальчика — жестоко бил его. Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым, он ходил особенной походкой, вперевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство — грех.

Но таскать тес и жерди с Песков не считалось грехом, никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день Вяхирь и Язь отправлялись на Пески через затон по набухшему, мокрому льду, — они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Язём и Выхирем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и, пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь; зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду, — сторожа почти никогда не замечали нас, а заметив — не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей — приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата.

На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Выхиря была мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что стоит на Каме, близко от Волги.

Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая:

Город на Каме,
Где — не знаем сами!
Не достать руками,
Не дойти ногами!

Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище:

— Чего ты? Разве на товарищев сердются?

Татарчонек сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.

Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, и после дождей, чисто омывавших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и, хотя иногда ссорились немножко, — я не помню ни одной драки между нами.

Нашим миротворцем был Вяхирь, он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова; простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходы Язя не обижали, не пугали его, он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал.

— Ну, зачем это еще? — спрашивал он, и мы ясно видели — незачем!

Мать свою он называл: «моя мордовка», — это не смешило нас.

— Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая! — весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета. — Расхлебянила дверь, села на пороге и поет, и поет, курица!

Положительный Чурка спрашивал:

— Что — поет?

Вяхирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери:

Ой, стук-постук —
Молодой пастух,
Он — в окошко падогом,
Мы на улицу бегом!

Пастух Борька,
Вечерняя зорька,
Заиграет на свирели —
Все в деревне присмирели!

Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их.

— Да,— продолжает он,— так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как, я весь дрожу, чуть не замерз, а спасти ее — силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты такая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!»

Чурка серьезно подтверждает:

— Она скоро помрет, набухла уж вся.

— Жалко будет тебе? — спрашиваю я.

— А как же? — удивляется Вяхирь.— Она ведь у меня хорошая...

И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхиря, верили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудач, Чурка предлагал:

— Давайте сложимся по копейке, Вяхиревой матери на вино, а то она побьет его!

Грамотных в компании было двое — Чурка да я; Вяхирь очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое, мышинное ухо:

— Схороню свою мордовку — тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь — в садовники наймусь к архирию, а то к самому царю!..

Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров; женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхирю:

— Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте...

И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:

— Балакейная лавка...

Чурка поправлял его:

— Бакалейная, кикимора!

— Я вижу, да перескакивают буквовки.

— Буковки!

— Они прыгают — рады, что читают их!

Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам.

Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью, лишь кое-где, по дворам, одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины да под забором робко прятались серые,

сухие былинки; если кто-нибудь из нас садился на них — Вяхирь сердито ворчал:

— Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо, на песок, не все ли равно вам?

При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки — он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками:

— Что вы все ломаете? Вот уж, черти!

И всем было стыдно от его удивления.

По субботам мы устраивали веселую забаву, — готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером, в субботу, когда с Сибирской пристани шли домой ватаги крючников-татар, мы, заняв позиции, где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и, уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей, мало того — подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас, — мы жаловались им:

— Это — не игра!

Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и — начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы, с визгом, носились вокруг их, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головою в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги.

Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мешанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. Воронами летали по воздуху серые, пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды.

Татаре горячились не меньше нас; часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор — силачи, в них было что-то детское, очень понятное, — меня особенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьезное отношение друг ко другу.

Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом, а один из них — касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы: он снес однажды с баржи далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса, — он, смеясь, выл и кричал:

— Вву, вву! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета слова-та!

Однажды он посадил Вяхиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал:

— Вот где живи, небеснай!

В ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный, на его маленькой голове, на темном лице кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал:

— Не дай господь бессонницу! Ух!

Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно — шкалик водки отцу Язя, Чурка строго приказывал ему:

— Дрянной Мужик, — ставь самовар!

Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар, мы, в ожидании чая, рассуждали о своих делах, он давал нам хорошие советы:

— Глядите — после завтрая сороковины у Трусовых, большой стол будет, — вот они где, кости вам!

— У Трусовых кости кухарка собирает, — замечал всезнающий Чурка.

Вяхирь мечтал, глядя в окно на кладбище:

— Скоро в лес ходить будем, ох ты!

Язь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами, молча же он показывал нам свои игрушки — деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы.

Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар, — Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал:

— Ух, чтоб вам сдохнуть, — будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай господь бессонницу!

Вяхирь говорил ему:

— Мы вовсе не воры!

— Ну, ин воришки...

Если Язёв отец надоедал нам, — Чурка сердито окрикивал его:

— Отстань, Дрянной Мужик!

Мне, Вяхирю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрет, — он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи, — нарочно дразнил и подзуживал нас:

— Ага-а, боитесь, шишиги? То-то! А вот скоро один толстый помрет, — эх, и долго ему гнить!

Его останавливали, — он не унимался:

— А ведь и вам надо умирать, на помойных-то ямах недолго проживете!

— Ну, так и умрем, — говорил Вяхирь, — нас в ангелы возьмут...

— Ва-вас? — задыхался от изумления Язёв отец. — Это — вас? В ангели?

Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.

Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:

— Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вот, третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятенки, про нее историю — что же это за баба?

Он очень часто говорил про женщин и всегда — грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:

— Спрашивают ее: «Кто поджег?» — «Я подожгла!» — «Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь, ты в больнице лежала!» — «Я подожгла!» Это она — зачем же? Ух, не дай господь бессонницу...

Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял перед нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:

— Я — домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?

Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирали ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил:

— Прощайте!

Мы тоже кричали ему — прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:

— Вот, проснемся завтра, а он — помер.

— Язю хуже всех жить, — часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:

— Нам вовсе не плохо...

И на мой взгляд нам жилось не плохо, — мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищевородом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, Басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства.

Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало еще лучше, — весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг другу.

Но эта жизнь продолжалась недолго — вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки, — бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.

Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами, брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкая тихонько, точно котенок.

Внимательно ощупав его, дед сказал:

— Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас...

Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:

— Ему немного надо...

— Тому — немного, этому — немного, и выходит много...

Он махнул рукой и обратился ко мне:

— Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке...

Я натаскал мешком чистого сухого песка, сложил его кучей на

припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами — без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком.

Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда:

— Умереть — не велика мудрость, ты бы вот жить умела! Мать затяжно кашляет...

Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.

Если близко к нам подходит курица, кошка — Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается, — меня смущает эта улыбка — не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?

Двор — маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой — все это мешане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудями разного дерева; насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.

Рядом — бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось — этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой...

Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора — обухом между рогов, — Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:

— Ффу...

В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:

— Обедать!

Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя, — пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

— Будет, что ли? Али еще дать?

Из темного угла около двери раздавался голос матери:

— Видите же вы — он тянется за хлебом!

— Ребенок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть...

И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

— Ну, ладно! — говорил наконец дед. — На-ко, отнеси его матери.

Я брал Колю — он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.

Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умира-ла — это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили.

Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку, — ложился и долго ворчал в темноте:

— Вот — пришло время умирать. С какой рожей пред богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали... До чего дошли?..

Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, — дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.

Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.

— Господи, господи...

Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:

— Бес проклятый, — пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!

Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:

— Не совался бы ты...

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебрались к нему, на чистенькую квартиру около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.

Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда:

— Сходи к Евгению Васильевичу, скажи — прошу его прийти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:

— Скорей беги!

Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в ее глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке.

Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанная, важная по-прежнему.

— Тебе стало лучше? — спросил я, оробев почему-то.

Жутко глядя на меня, она сказала:

— Поди сюда! Ты где шлся, а?

Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, — нож вырвался из руки у нее.

— Подними! Дай...

Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.

Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.

— Дай воды...

Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно.

Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо.

Вошел дед, я сказал ему:

— Умерла мать...

Он заглянул на постель.

— Что врешь?

Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя за слоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это.

Пришел вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:

— Да она умерла, смотрите...

Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.

Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвел ее в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:

— Ах ты, — не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это — такое дело... Верно я говорю, бабушка? И богату и просто — всем дорога к погосту, — так ли, бабушка?

Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, веселый.

— Ты гляди-ко, — сказал он, протягивая мне сломанную шпору, — гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди — колесико, а? Не иначе — казак носил да потерял... Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал...

— Что ты врешь! — тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:

— Вяхирь-то, а? Строгий! Ну — не я, он дарит это тебе, он...

Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, — я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову:

— Выпьем сегодня, а?

Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:

— Гляди, ты гляди, чего он делает! — Но видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно: — Ну — буде, очнись-ка! Все умрем, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дерном обложу — хошь? Вот сейчас пойдем в поле, — ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дерна и так устроим могилу — лучше нельзя!

Мне понравилось это, и мы пошли в поле.

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Алексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошел я в люди.

1913—1914

В ЛЮДЯХ

I

Я — в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин — маленький, круглый человечек; у него бурое, стертое лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

— Не криви рожу, — тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, — может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

— Я сказал — не криви рожу, — еще тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

— Не чеши рук, — ползет ко мне его сухой шепот. — Ты служишь в первом классе магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук: обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хозяин, рассматривая мои руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

— Ветошничество — это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

— Я ведь и воровал тоже!

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

— Что-о? Как это воровал?

Я объясняю — как и что.

— Ну, это сочтем за пустяки. А вот если ты у меня украдешь ботинки или деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и еще больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик — ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привел меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, — Саша важно нахмурился, предупреждая:

— Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

— Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

— Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

— Каширин, не вытаращивай зенки,— советовал ему хозяин.

— Я — ничего-с,— отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал:

— Не бычись, покупатели подумают, что ты козел...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо свое сладостную улыбку; она, покрывая его щеки морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно боится сломать ногу, а нога — толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь:

— Ах, как вы щекочете...

— Это-с — из вежливости,— быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и, чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей,— уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

— Ах,— вздохнула женщина,— какой вы шалунишка!

А он надул щеки и тяжело произнес:

— Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по

голове моей тяжелым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

— Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам — торговля идет лучше.

— Даме и не нужно башмаков, а она придет да лишнее купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты — не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, — никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

— Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою некачественную, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, — тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

— Каширин, приberi товар!

И ругался:

— Ишь, нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой — я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, — лицо ее возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала еще красивее: стройная фигура была

туго обтянута голубовато-серым шелком, в ушах сверкали брильянты,— она напомнила мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнем, захлебываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стеклах шкапов скользили их отражения, казалось, что все кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

— С-сука...

— Одно слово — актриса,— с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о ее кутежах.

После обеда хозяин лег спать в комнатке за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

— Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало — вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжелой скуке, и все чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина,— кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят — великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

— Ты бы, человеке божий, украл мне калошки, а? — предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и — снова:

— Украдь, а?

— Воровать нельзя! — сообщил я ему.

— А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

— Вот и ладно,— не радуясь, спокойно сказал он.— Не оманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не оманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег по-

дошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

— А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты — за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он все говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

— Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди, испытай мне мальчика — насколько он вор? Как тогда будет?

— Не дам я тебе калоши,— сказал я сердито.

— Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлек к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

— Как же это ты ни с того ни с сего — на, возьми?!

— Ты сам просил.

— Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты — ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

— Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда Пасха придет, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

— Я знаю город.

— С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушел за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

— Какого черта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня,— я помнил угрозу хозяина.

— Ты воруеть? — спросил я Сашу.

— Не я, а старший приказчик,— объяснил он мне строго,— я только помогаю ему. Он говорит — послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он все понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же

движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне свое старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперед отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он — плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навыпуск он казался мне важным, солидным, но было в нем что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, — нельзя было понять, добрая она или злая.

— Лучше всего на свете люблю я бои, — говорила она, широко открыв черные, горячие глаза. — Мне все едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики — мне это все едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца ее, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

— Что вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

— Я тебе, дуре, не ребятишка, а второй приказчик!

— Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребенок!

— Дура, дурья голова...

— Бес умен, да его бог не любит.

Ее поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил ее, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

— Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснется, зажжет лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

— Не спится мне, Алексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело ее пахнет воском и ладаном и что она скоро умрет. Может быть, даже сейчас вот ткнется лицом в пол и умрет. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала:

— Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у нее не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали ребра, точно обручи на разохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

— Хоть умереть бы, что ли, такая все тоска...

Или спросит кого-то:

— Вот и дожила — ну?

— Спи! — говорила она, прерывая меня на полуслове, разгирбалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

— Ведьма! — звал ее Саша за глаза.

Я предложил ему:

— А ты в глаза скажи ей это!

— Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

— Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чем не мирволила, — дернет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

— Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

— Что ты орешь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспаленными бессонницей глазами:

— У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ошипала.

— Проклятая, — ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: — Надо сделать, чтоб ее прогнали. Надо, незаметно, соли во все подбавлять, — если у нее все будет пересолено, прогонят ее. А то керосину! Ты чего зеваешь?

— А ты?

Он сердито фыркнул:

— Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг осела на пол, точно кто-то толкнул ее в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперед, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на нее, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришел хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

— Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолившись, скомандовал в сени:

— Каширин, беги, объяви полиции!

Пришел полицейский, потоптался, получил на чай, ушел; потом снова явился, а с ним — ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли ее на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:



— Вымой пол!

А хозяин сказал:

— Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

— Не гаси лампу!

— Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

— Давай ляжем на печи, рядом?

— Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

— Как она — сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

— И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

— Покойники помнят только город, — тихонько говорил он, — а улицы и дома не помнят уж...

Становилось все тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

— Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его висячим замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

— Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном приказа велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув темные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв ее, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свертками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

— Это что?

— А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько.

— Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки, — я никогда не имел игрушек и

относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на меня, сказал:

— Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки!

— Дай мне посмотреть!

— Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые,— объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц,— он объяснил мне с гордостью:

— Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом — сапожные подковки, стертые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребенка, «Сонник и оракул» и еще множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

— Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

— Хочешь, подарю что-нибудь?

— Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

— Возьми полотенце, перетрем все, а то запылилось...

Когда вещи были перетерты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошел, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

— погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку — ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло еще несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

— Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим угольям, не оглядываясь, перешел кухню и лег рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

— Идем!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зеленой ватой лишаяев, черные голые сучья торчали мертво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья — точно памятники на кладбище. Кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугуновая; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны ее лысины, она тоже подернута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, — обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их — под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная дощечка, наконец предомною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, — корень служил пещере сводом, — в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроно-

сая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри ее тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, теплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Все это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

— Хорошо? — спросил Саша.

— Это зачем?

— Часовня, — объяснил он. — Похоже?

— Не знаю.

— А воробей — покойник! Может, мощи будут из него, потому что он — невинно пострадавший, мученик.

— Ты его мертвым нашел?

— Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

— Зачем?

— Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

— Хорошо?

— Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

— Почему не нравится?

— Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

— Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

— Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

— Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

— Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами,

все более пугая меня. Я отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

— Что, взял? Вот буду так валяться, покуда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем перебросил через забор на улицу, изрыл все внутри пещеры и затоптал ее ногами.

— Вот тебе, видел?

Саша отнесся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, все внутри у меня облилось холодом. А он ушел, не оглянувшись, еще более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

— Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» — подумал я угнетенно.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

— Это — Саша?

— А то я! — смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, — в палец мне впилась булавка.

«Вот оно — колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впились мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но все-таки я чувствовал себя плохо: мне все мерещился гроб с воробьем, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг — неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосине судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в желтой зыбкой пустоте

слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой черной бородой и рычал, присвистывая:

— Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лежа кверху носами, были похожи на мертвых воробьев. Качались желтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, все было ненадежно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:

— Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

— Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей,— я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на черной доске в моем изголовье,— мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Никак.

— У тебя же есть имя?

— Нет.

— Ну, не дури, а то высекут!

Я и до нее был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их желтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

— Давай в карты играть?

— Как же я без руки-то?

— Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слез, закрыл глаза, но слезы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось все тише, только в углу кто-то бормотал:

— Ничего не выйдет, и он — дрянь и она — дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала

меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать — не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась все мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошел к двери, половинка ее была открыта, — в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня темными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

— Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошел, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, — на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая ее серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

— Это — варены руки? Ты чего же шлендаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня теплой рукой за шею и привлек к себе.

— Боишься?

— Боюсь!

— Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особливо со мной — я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо — без них проживем, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, — мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвел меня к моей койке, я попросил:

— Посиди со мной!

— Можно, — согласился он.

— Ты — кто?

— Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а — как же иначе? Солдат для войны живет. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком — сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в темном платье, а он стоял около нее и говорил:

— Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, — позолотит в ней все и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребенок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

— Что, голубой? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

— Сейчас я все сделаю по закону, — сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слезы с лица, говорила:

— Наш солдат, балахонский, оказался...

Я все еще думал, что сон вижу, и молчал. Пришел доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

— А дед у нас вовсе с ума сходит, так жаден стал — глядеть тошно! Да еще у него недавно сторублевую из Псалтыря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было — и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идем по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лед, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках — весна идет, скоро Пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

— Люблю я тебя очень, бабушка!

Это ее не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

— Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

— Вот — обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

II

Дед встретил меня на дворе, — тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

— Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

— Знаем, знаем, — торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

— Теперь на́чисто разорился дедушка-то; какие деньги были, все отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, — уж не знаю, как это у них случилось, только разорился, пропали деньги. А все за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

— Уж я все стараюсь господу задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, — стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдем сегодня — у меня деньги есть...

Пришел дед, сощурился и спросил:

— Жрать нацелились?

— Не твое,— сказала бабушка.— А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

— Налей...

Все в комнате было на своем месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупною надписью печатными буквами:

«Исусе Спаси едино живый! Да пребудет святое имя твое со мною по вся дни и часы живота моего».

— Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

— Этой бумаге сто рублей цена!

— Не твое дело! — крикнул дед.— Все чужим людям раздам!

— Раздать-то нечего, а когда было — не раздавал,— спокойно сказала бабушка.

— Молчать! — взвизгнул дед.

Здесь все в порядке, все по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзине, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полосы глаз едва видны из-под век. Он стал еще более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер, его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне все это, черноглазый Кострома сердито сказал:

— Уж очень скоро мрут мальчишки!

— Да ведь помер только Вяхирь?

— Все равно: кто ушел с улицы, тоже будто помер. Только подружисься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрет. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут — Евсеенки; парнишка — Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него: одна еще маленькая, а другая хромая, с костылем ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

— Мы, брат, с Чуркой влюбились в нее, все ссоримся!

— С ней?

— Зачем? Промежду себя. С ней — редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в черные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинто-

ванные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

— Что это с руками у тебя?

— Сварил.

— А вот я — хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздохнув, она прибавила:

— Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой короткой косой. Глаза у нее — большие, серьезные, в их спокойной глубине горел голубой огонек, освещающий худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но — не понравилась мне. Вся ее болезненная фигурка как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в нее?

— Я давно хвораю, — рассказывала она охотно и словно хвастаясь. — Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

— Да...

С нею было неловко, я ушел в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

— Пойдем, что ли? Потрудишься людям — руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была черная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала:

— Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все — грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углубленное тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звезды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят ее глаза; я трусливо прижался к бабушке.

— Ничего, — сказала она, — это просто собака, бесу — не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила ее и советует:

— Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потерлась о мои ноги, и дальше пошли втроем. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостину»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Наполь-

ной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

— Устала старуха,— говорила бабушка,— домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко годится! Охо-хо, Олеша, бедно живет народ, и никому нет о нем заботы!

Богатому о господе не думается,
О Страшном суде не мерещится,
Бедный-то ему ни друг, ни брат,
Ему бы все только золото собирать —
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо — друг о дружке, а бог — обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чем не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

— Она будет с нами жить?

— А что ж? Пускай живет, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

— Тут одна еврейка живет, так у ней — девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я ее: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим — с кем иначе жить?»

Я прислонился к теплему боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляя думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, — с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец ее, слесарь, переехал в Нижний.

— А еще дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, все население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдеж, ссорясь и

судача; ребяташки начинали играть в лапту, в городки, в «шармазла», — матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, — вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое — Кострома, Чурка и я, — все-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

— Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто — до слез и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылем, боязливо вскрикивая:

— Перестаньте!

Лицо у нее было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, — это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из черных угрюмых глаз выкатываются тяжелые, крупные слезы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлебываясь слезами:

— погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплевывать сквозь зубы и обещал:

— Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Все это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, показываясь, размахивая правой рукой.

— Здравствуй, — сказала она, трижды кивнув головой. — Кострома с тобой ходил?

— Да.

— А Чурка?

— Чурка с нами не дружится. Это все ты виновата, влюбились они в тебя и — дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

— Вот еще! Чем же я виновата?

— А зачем влюбляешь?

— Я их не просила влюбляться! — сказала она сердито и пошла прочь, говоря: — Глупости все это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

— Много ты знаешь! — желая обидеть ее, крикнул я. — Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

— Ты сам ничего не знаешь, — заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза ее красиво разгорелись. — Лавочница — распутная, а я — такая, что ли? Я еще маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и все... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль ее — в словах ее звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют ее товарищи мои? А еще говорят — влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

— Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

— Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

— Хоть бы в бумажку завернул, — руки-то грязные какие.

— Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

— Как испортил...

— А у тебя пальцы истыканы...

— Это — иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

— Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» — хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там — темно, но можно сесть у окна — оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу по скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрепанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я — волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьезные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их увлажняет слеза, голос девочки

дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевертываю всячески,— это уж окончательно мешает мне понять, о чем рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову ее — Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегают и ворчит, как осенний ветер в трубе.

— Ты слушаешь? — спрашивает девочка.

Я молча киваю головой. Сумятица слов все более возбуждает меня, все беспокойнее мое желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живет и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

— Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чем идет речь в этой бесконечной книге,— бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льет дождь,— никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в темный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

— Знаешь, что тогда подумают? — тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «задали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чем-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же — о жизни казаков на реке Медведице.

— Ой, как там хорошо! — вздыхала она.— Здесь — что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестренка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

— Мы с тобой живем, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живем — мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сладостей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая

мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пиروвали беззаботно.

Бабушка говорила:

— Ой, хорошо мы живем! Свой грош — строй, что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

— Мальчику с девочкой дружить — это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла нам, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чем принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, — я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенка прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом темных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обреченном движении женщин мимо мужчины, — казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнет ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

— Выпятился козел, бесстыжая харя! — ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным нечистым лицом, с коротко остриженными — после тифа — волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание ее от улицы, упрямо расспрашивает о чем-нибудь.

— Отстань, назола, урод несчастный! — бормочет мать, спокойно мигая; ее узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, — задели за что-то и навсегда остановились.

— Ты не сердись, мамочка, все равно уж,— говорит Людмила.— Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

— Я бы лучше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали,— безжалостно и точно сквозь сон отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стекла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки ее неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищенные.

— погоди, свернут тебе башку,— обещает Евсеенко мужу. Он молча косится на нее.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем вьются дети, теплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боев — запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рев мужиков, звонкие крики детей, басовитое пение гармоники — все сливается густым гулом, мощно вздыхает неустойчиво творящая земля. Все — грубо, обнаженно и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой черной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряженно ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

— Одного всем сразу нельзя бить — надо по очереди...

— Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

— Али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко, свежее воздух, тише гул; деревянные дома пухнут, растут, одеваясь тенями. Детей растащили по дворам — спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится ее, считая колдуньей; про нее говорят, что она вынесла

из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею — дружба; встречаясь на улице, обе они еще издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, — обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

— Перестаньте! — боязливо просит Людмила.

Скосив на нее черные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб — черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копье, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу, все чего-то ищет вплоть до первых петухов.

— Не говори о страшном! — просит Людмила.

— Пусти! — кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата ее, и насмешливо говорит Костроме: — Что врешь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху — пустой, для памятника... А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

— Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начинают спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

— Мамочка, покойники по ночам встают?

— Встают, — повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошел сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

— Кто из трех до света пролежит на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит — уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

— Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

— Давай рубль — пойду! — угрюмо предложил Чурка.

Кострома тотчас же ехидно спросил:

— А за двугривенный — трусишь? — И сказал Вальку: — Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только...

— Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

— Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

— Куда вам, трусы! — издевался Валёк. — А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издевки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах, учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в нее камнями; однажды дал ей в хлебе иглу.

Но еще обиднее было видеть, как уходит Чурка, съезжившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

— Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

— Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

— Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Ее слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

— Гляди же, — предупредил Валёк, — я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошел на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

— Ежели что померещится — не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шел быстро, хотелось поскорее начать и кончить все это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то екнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я подошел к черному гробу. С одной стороны он был занесен песком, с другой — его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись

среди крестов, торчат тонкие, тощие березки, связывая ветвями разъединенные могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец — Дрянной Мужик — лениво бьет в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздается сухой удар маленького колокола, — он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», — вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то — душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнет вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать...

Еще не все уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катывовке верещит, захлебываясь, гармоника, за оградой идет всегда пьяный кузнец Мячов и поет — я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки
И грехи-то маленькие, —
Она не любя никого,
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недостижимые звезды, а все на земле исчезло, ненужно и мертво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания, — хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

— Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:
— Бесчувственная мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще — очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, — ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к черту!»

Но это было опасно, — кто знает, как отнесется к этому черт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напоминало мне, как однажды я, лежа на плоту на Оке, смотрел в воду, — вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человеческую щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошел в глубину, колеблясь, как падающий лист клена.

Память работала все напряженнее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится еж, стуча по песку твердыми лапками: он напоминает домового — такой же маленький, встрепанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

— Ласковый хозяин, изведи тараканов...

Далеко над городом — не видным мне — становилось светлее, утренний холодок сжимал щеки, слипались глаза. Я свернулся калачиком, укутав голову одеялом, — будь что будет!

Разбудила меня бабушка — стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

— Вставай! Не озяб ли? Ну, что — страшно?

— Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

— А почто молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

— Все надо самому испытать, голуба́ душа, все надо самому знать... Сам не поучишься — никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

— Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» — качая головами, восклицали:

— Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

— Стало быть, врани, что Калинин встает. Кабы вставал, — разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, все ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

— Ему — легко, у него бабушка — ведьма!

III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

— О, чтоб тебя рóзорвало! — ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, — эти пылинки — точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с черными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щелками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосенки, — спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам домохозяин — на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, — я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

— Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

— Слава богу, отошел,— говорила бабушка, расчесывая волосы свои.— Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребенка; бабушка сердито сказала:

— Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

— Вот — родили... жил, ел... ни то ни се...

— Проснись,— остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на нее и пошел на двор, говоря:

— Мне хоронить не на что, как хошь сама...

— Тьфу ты, несчастный!

Я ушел и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошел в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дешево и все хвастался этим передо мной.

— Это я только по знакомству, а то бы — рубль...

Заглядывая в желтую яму, откуда исходил тяжкий запах, я видел в боку ее черные, влажные доски. При малейшем движении моем бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

— Не балуй,— сказал Язёв отец, покуривая.

Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с черными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

— А ты все-таки потревожил Варину-то домовину...

— Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это — ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею — дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одергивая потертый сюртук.

— Сеяли семя в непахану землю,— сказал он вдруг, убегая вперед, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

— Чего он?

— Бог с ним! У него свои мысли,— ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ее тонули в теплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил ее, понатужась:

— Черное-то в могиле — это материн гроб?

— Да,— сказала она сердито.— Пес неумный... Года еще

нет, а сгнила Варя-то! Это все от песка, он — воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

— Все гниют?

— Все. Только святых минует это...

— Ты — не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьезно посоветовала:

— Не думай-ко про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно — смерть! Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

— Попьем чайку, а то — жарко, — сказал он. — Я уж своего заварю. На всех!

Подошел к бабушке и похлопал ее по плечу.

— Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

— Что уж тут!

— То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о желтой яме и черных, влажных клочьях в боку ее.

Но бабушка сурово остановила его:

— Перестань-ка, отец! Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крякнул, взглянул на нее и замолчал.

Вечером, у ворот я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на нее заметного впечатления.

— Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама — в монастырь на всю жизнь. Куда мне еще? Замуж я не гожусь, хромая — не работница. Да еще детей тоже хромых народишь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я все реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

— Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами...

— А я — травок пособираю, — заявила бабушка.

Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую — шел до шоссеиной дороги на Москву

и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща — «Савелова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на свое, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом.

Вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зеленых садов, в золотых главах церквей, встает не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой мутной Оки, качаются золотые лютики, отягченные росой, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малопродуктивном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» — гвоздика...

Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели — как большие птицы; березы — точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, приняв хавшись, недоуменно качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадется. Бабушка, в синей кофте, в черной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро — за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживленнее дед; потягивая воздух носом, побрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

— Леса — господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Алексей, не доведется тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса — от Касимова до Муромы, али — за Волгой лес, до Урала идет, да! Все это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засекая ими мою память.

— Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом — татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам — выбились из силушки, встали на мертвую, закачались, — сошли на берег кашу варить. А — май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-те Жигу-

ли, зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любимся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу — тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш — суровый был мужик и в летах — встал на ноги, шапку снял, да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите — сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись — как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя — без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ — зверь безумный, ему — чего жалко? Испугались. А он — свое: «Не хочу боле эдак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было — которые — собрались бить его да вязать, а которые — задумались о нем, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал — большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы — не то шестнадцать, не то — четырнадцать. Вот те и лес!

— Они — в разбойники ушли?

— Может — в разбойники, а может — в отшельники, — в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

— Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.

— Всем дан один разум — знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо — навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой.

На сухом месте бабушка говорит:

— Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у нее ржаной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и творог в тряпицах, дед смотрит на все это конфузливо и мигает.

— А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

— Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи; темной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, — она

тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, все склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собой.

— Рано опять пошли — мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб — лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать ее беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

— Сбежал от деда-то?

И, кланяясь черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил все живое.

— А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым — и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против воли моей? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю:

— Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

— Это кто тебе сказал?

— В училище, в книжках написано...

Это ее успокаивает, она советует мне:

— А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеется тихонько, весело.

— Придумали, дурачки! Бог — был, а матери у него не было, эко! От кого же он родился?

— Не знаю.

— Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

— Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

— Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, — стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

— Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю!

Но через минуту объясняет мне:

— Богородица всегда была, раньше всего! От нее родился бог, а потом...

— А Христос — как же?

Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза, и бормочет:

— А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал ее в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней сосны, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте; сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

— Пресвятая богородица, ясный свет земной, — вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу — точно хозяйка и родная всему вокруг, — она ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит. От нее — точно тепло течет по лесу, и когда мох, примятый ее ногой, расправляется и встает — мне особенно приятно это видеть.

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, — пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до ее богородицы и сказать ей всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог все устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, — уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, — Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослепленный думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал ее.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

— Слава те господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубахой, приложив каких-то листьев, утиливших боль, и отвела в железнодорожную будку, — до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

— Пойдем в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

— Дармоеды! — скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память — более чуткой, вместилище впечатлений — глубже.

И все более удивляла меня бабушка, я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашел за деревья — нет ли еще гриба?

Вдруг слышу ее голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака...

— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и когда я свистнул — она дико бросилась в кусты.

— Видал? — улыбаясь, спросила бабушка. — А я вначале опозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала меня.

— А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла — я влезал на дерево и опустошал гнездо

зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму,— иногда в гнезде их было фунтов до десяти.

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дробин; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

— Молодец,— хвалила она,— есть терпение, будет и уменье!

Каждый раз, когда у нее скоплялось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостиной», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах.

— Хуже нищей ходишь, срамишь меня,— ворчал дед.

— Ничего, я тебе не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились все более частыми.

— Я не более других грешен,— обиженно кричал дед,— а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

— Черти знают, кто чего стоит.

И говорила мне с глазу на глаз:

— Боится старик мой чертушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле,— она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришел из города мокрый весь — была осень, и шли дожди — встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

— Ну, шалыган, завтра сбирайся на место!

— Куда еще? — сердито спросила бабушка.

— К сестре твоей Матрене, к сыну ее...

— Ох, отец, худо ты выдумал!

— Молчи, дура! Может, его чертежником сделают.

Бабушка молча опустила голову.

Вечером я сказал Людмиле, что уйду в город, там буду жить.

— И меня скоро повезут туда,— сообщила она задумчиво.— Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица ее стала голубоватой, а глаза выросли.

— Боишься? — спросил я.

— Боюсь,— сказала она, беззвучно заплакав.

Нечем было утешить ее — я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчанье, прижавшись друг к другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она

ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой,— я бы возил ее в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано не-иссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улице, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома,— по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние — через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать ее,— нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой, темно-зеленой грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага — как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, в другой половине священник Доримедонт Покровский развел сад; в саду — беседка из тонких дранок, окрашенных зеленою краской. Если в эту беседку бросать камни — дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

— Андрей-папá, Андрей-папá.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать — сестра моей бабушки — очень сердита и криклива. Старший — женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у нее большие темные глаза.

В первые же дни она раза два сказала мне:

— Я подарила матери твоей шелковую тальму, со стеклян-
русом...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей:

— Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

— Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

— Ей и всем надо говорить — вы. А дерзостей не надо гово-
рить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

— Не беспокой ты меня пустяками!

— Как — пустяки! Если твоя родня...

— Черт ее возьми, родню! — закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, его серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

— Довольно вам ругаться, звери-курицы! — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день, меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар; суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготвила свекровь, сноха непременно говорила:

— А моя мамаша делает это не так.

— Не так, значит — хуже!

— Нет — лучше!

— Ну, и ступай к своей мамаше.

— Я здесь — хозяйка!

— А я кто?

Вмешивался хозяин:

— Довольно, звери-курицы! Что вы — с ума сошли?

В доме все было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом веселых шуток и — часто — источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с «прида-ным», серебром и чайной посудой; ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табака и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюда с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька или хозяйка, они задевали углы стола.

— Да не шляйтесь вы тут! — кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

— Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

— А ты не тряси стол, — миролюбиво советовал хозяин.

— Я — беременная, тут — тесно...

— Ну, мы уйдем работать в зало.

Но хозяйка кричала, негодуя:

— Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрены Ивановны, она кричит:

— Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!..

Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит:

— Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:

— Уйду! Умру!

— Не мешайте мне работать, черт вас возьми! — орет хозяин, бледный с натуги. — Сумасшедший дом, — ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда



хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

— Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз — хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу — никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому — руки у него длиннее. После этой истории — ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы
Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье
Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

— Вы с ума сошли? Ребенок спит...

Или:

— Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всенощной ударят...

— Ну, так мы — церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут еще... — и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

— Надо будет переменить квартиру, а то — черт знает что! — говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви — там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лю-тую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы — стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам — мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колот и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Мое ближайшее начальство — сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубашке, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

— Господи! — со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью. — Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, — дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Ее вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро смутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок все время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

— А, чтоб те рóзорвало!

С размаху бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

— А сноху — накажи, господи, меня ради; зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, — на нее открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатах; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

— Мамаша, опять вы орете спозаранку! Это просто беда!

— Ну, ну, спи себе, — виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: — И чтоб пострелило их в кости, и ни дна бы им ни покрышки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

— Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси, — лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей — невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

— Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки.

Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

— А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! — и торжественно кричали: — Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, — мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей, я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

— Усердный.

— Чистоплотен.

— Только дерзок очень.

— Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила:

— Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шелковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

— Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

— Батюшки, да он поджечь может! — испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему — поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

— Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

— Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, — другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слез; жена, топая ногою, кричала иступленно:

— Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

— Бог тебя прости, Василий, только — помяни мое слово — испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, — хозяин строго сказал:

— Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к деду, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

— Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивленно:

— Однако ты ерш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал — меня прогонят, но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

— Кончишь чистить ножи — нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

— Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль — это будут горизонтальные, потом поперек — это вертикальные. Валяй!

Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил — хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидел, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно — на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаюсь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед домом — кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

— Это что же такое?

— Дождик идет, — объяснил я. — При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам — кривой всегда. Птицы — вот это всё птицы — спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это — люди бегут домой, вот — барыня упала, а это разносчик с лимонами...

— Покорно благодарю, — сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: — Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

— Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

— Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне еще бумаги.

— Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку.

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

— Зачем же ты опять напачкал? — сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей скучно очень, но он стал ругаться.

— К черту все это! Если хочешь учиться — учись! А это — озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

— Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро...

И задал мне урок:

— Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду — делай сам!

Я пошел в кухню и задумался — с чего начать?

Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства.

Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила:

— Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

— На, черт! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь — прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскakивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

— Ты покуда брось все это, не учись — сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его — такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее:

— Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

— Когда будет — скажу, торчи знай за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

— Как у тебя парадная лестница выметена? В углах — сорье, пыль! Иди мети...

Я шел, смотрел — пыли не было.

— Ты спорить против меня? — кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, — она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

— Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое! Спит, — спи, робенок, одень твою душеньку веселый сон, приснись тебе невестушка, первая красавица, королевишна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим — не родясь издохнуть, а друзьям — жить им до ста лет, а девицы бы за тобой — стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла. — такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

— Подите вы к черту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

— Ну, спи... спи, грубиян...

Но бывало и так: ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клекотали жгучие слова:

— Та-ак? Это ты мать к черту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы — было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.

— Что вы?

— Молчи,— шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте.— Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянная смерти...

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня — большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампы пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках — черные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стеклах.

— Помилуй мя, боже, помилуй мя,— просит она шепотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

— Кто меня любит, господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка,— вот бы грызла она его! Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

— Ты думаешь — легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила — для чего? Вот — живу кухаркой у них, сладко это мне? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь — хорошо это? Ну?

— Нехорошо,— искренне говорил я.

— Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

— Бывала я с нею в бане, видела ее! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

— Баба — сила, она самого бога обманула, вот как! — жужжала она, пристукивая ладонью по столу.— Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева — бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом: из восьми квартир двух зданий в четырех жили офицеры, в пятой — полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе неустанно кипело то, что называется развратом, распутством, — звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

— Довольно, мамаша...

— Господи, уж и слова мне нельзя сказать! — жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял ее:

— Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

— Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне их, а — напрасно!

— Я ведь для нищих, я — на свечи, в церковь...

— Ну, какие там нищие? Испортите вы Виктора вконец.

— Не любишь ты брата, великий грех на тебе.

Он уходил, отмахиваясь от нее.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал.

— Не могла больше-то, гвозди-козыри!

— А ты жри скорее, чтобы не увидели...

— Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи ворует, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладей, — Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо

мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

— Мамаша — кругом направо! — где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

— Алешка, отвечай: почему пишется — синенький, а говорится — финики? Почему говорят — колокола, а не — около ко-ла? Почему — к дереву, а не — где плачу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое — не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

— Разве можно так говорить?

Они ругались:

— Какой учитель, скажите! Вот — нарвать уши...

Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

— А все-таки уши-то не оторваны!

Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства — неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная суতোлка, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости моя бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

— А, это ты, Акулина, — небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

— Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

— А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

— Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай,— начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

— Что, Акулина, нищенкой живешь?

— Эка беда...

— И все — не беда, коли нет стыда.

— Говорят, Христос тоже милостыней жил...

— Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос — не нищий, а сын божий, он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых — мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием оплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых...

— Я ведь посильно помогала тебе,— равнодушно говорила бабушка.— А господь нам оплатил, ты знаешь...

— Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

— Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вослед бабушке:

— Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

— А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

— Все гнешься, работаешь?

— Все работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но — как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

— Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была — богатырь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла свое слово:

— Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом?

— Как же...

— Совсем еще хорошая тальма была...

— Да-да,— бормотал хозяин,— тальма, пальма, а жизнь — шельма!

— Что это ты говоришь? — подозрительно спрашивала его жена.

— Я? Так себе... Дни веселые проходят, люди хорошие проходят...

— Не понимаю я, к чему это у тебя? — беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, и хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

— Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

— Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

— Эх, Олеша, я все вижу, — отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она все видит, все знает, знает и то, что живет в моей душе этой минутой.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

— Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, — зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михайла, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю — не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... — И шепчет на ухо мне: — Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, — куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но — я обязан был ходить в церковь, по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас — он точно плавился в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч

повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька,— качается в густой, как смола, темной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...
А взмолился христианский люд:
— Ой ли, господи, боже наш,
Пресвятая богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утренню,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церкву на глумление,
Жен, девиц — на посрамление,
Малых детушек — на игрище,
Старых старцев на смерть лютую!
А услышал господь Саваоф,
Услыхала богородица
Те людские воздыхания,
Христианские жалости.
И сказал господь Саваоф
Свет архангеле Михаиле:
— А поди-ко ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веком!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я даже и думал в форме ее стихов.

В церкви я не молился, — было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, — значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невеселой доле моей — сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи — скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то — жить терпенья нет,
Хоть удавись, — господи, прости!

Из ученья — не выходит толку.
Чертова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне — очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню, — работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами — часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь — точно на крыльях несешься, один, как луна в небе; перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним трясется собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру, — она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорченная собака — за нею.

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры — я думаю, что и они тоже сбежали от всенощной.

Порою, сквозь форточки освещенных окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи — тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и,

принюхиваясь, прислушиваясь — догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они — весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц — Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него тихой лунною ночью, в ростепель, перед масленицей; из квадратной форточки окна, вместе с теплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то невыносимой скрипке, чудесной мощности, — невыносимой потому, что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что — казалось — весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы.

Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

— Ты чего тут торчишь?

— Музыка, — объяснил я.

— Мало ли что! Пошел...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весною, снова услышал там виолончель — она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звездами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаюсь всенощные. Мешали пьяные, городовые и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, — предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыба жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин — молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше — тоненькая и пышно-

волосая — вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала — он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки ее.

В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

— В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое Евангелие читают, знали всё — им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, — богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, — даже ругаясь, они грозили друг другу:

— погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлую!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у нее; красная от огня, она гневно кричала:

— А, черти бы вас взяли...

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завывала:

— Ба-атюшки, сковорода-то скромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, го-осподи!

Встала на колени и просила со слезами:

— Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую...

Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

— Вы даже в посте на скромных сковородах печете...

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни, — от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, — он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой — большое окно, две рамы, разъединенные стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что

дом, кухня, я — все висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, все сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня — не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною, — непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку — это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил в ближних улицах славу доброго игрока в бабки, в шар и в городки.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в беденькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

— А, сосед... Ну, вставай на колени! В чем грешен?

Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

— Старших слушаешься?

— Нет.

— Говори — грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

— Просвиры воровал.

— Это — как же? Где? — спросил священник, подумав и не спеша.

— У Трех Святителей, у Покрова, у Николы...

— Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, — понимаешь?

— Понимаю.

— Говори — грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

— Когда — ел, а то — проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

— Чего?

— Запрещенных книжек не читал ли?

— Нет, никаких...

— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивленно взглянул в лицо ему — оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

— Я в вашу беседку камнями кидал, — заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

— И это нехорошо! Ступай...

— И в собаку кидал...

— Следующий! — позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, — у него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стоял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

— Примите меня!

— Копейку за вход в игру, — гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

— Три под вторую пару слева!

— Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьет эту пару — получает деньги, промахнется — я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали, — я выиграл

шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

— Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

— Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

— Глядите, — он счастливый, это чертежник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

— Чертенок! Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

— Ревешь?

Я ответил:

— Под крайней правой — три!

— И сотру, — похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трех раз кряду нельзя ставить деньги на кон, — я стал бить чужие ставки и выиграл еще копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя: обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

— Женат? — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я увернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

— Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу — пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

— Дьячку за теплоту много ли дал?

— Пятачок, — наобум сказал я.

— И три копейки — за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я — чищу зимнее платье, помогаю уклады-

вать его в сундуки, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице — пусто, дальше — не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, грубые, пьяные солдаты, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер — собачьи свадьбы, — это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила — все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше едят, и меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами и просьбами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...В субботу на Пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

— Отпирай парадную, Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь, — молодой монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:

— Дрыхнете? Помогай...

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

— Пресвятая богородице, моли бога о нас...

Я подумал с печальной уверенностью:

«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простыней, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам — ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

Служили молебен.

— О, всепетая мати, — высоким голосом выводил большой поп и все щупал багровыми пальцами припухшую мочку уха, спрятанного в рыжих волосах.

— Пресвятая богородице, помилуй нас, — устало пели монахи.

Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — все благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непомнятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботою рассуждали — что же теперь будет со мной?

— Надо поговорить со священником, который поученее, — говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

— Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А еще... в школе учился...

Несколько дней я обреченно ждал — что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, — уж не пройдет мне даром это, не пройдет!

Но, видимо, богородица простила невольный грех мой, вызванный искреннею любовью. Или же наказание ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей:

— А богородица-то, видно, забыла наказать меня...

— А ты погоди, — ехидно обещала старуха. — Еще поглядим...

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы все, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу...
Скушно мне, невеже!
Был бы я собакой —
Бегал бы где хотел,
А теперь орет на меня всякой:
Сиди да молчи, пострел,
Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

— Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел сам хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

— Забавен ты, Пешков, черт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я закрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее, как медаль, на самом видном месте среди моих пестрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками,— я уверен, что это старуха стащила ее!

V

Весною я все-таки убежал: пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно,— а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино,— я не сдержал слова, было стыдно видеть ее, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаюсь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

— Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника надо...

Я пошел; высокий, бородатый буфетчик, в черной шелковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

— Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

— Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

— Хорошо,— сказал буфетчик, взглянув на нас.— Идем.

Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

— Посудник.

И тотчас пошел прочь, а повар, фыркнув, ошетирил черные усы и сказал вслед ему:

— Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Серdito вскинул большую голову в черных, коротко остри-

женных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

— Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек, — весь в белом, он все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

— Я хочу есть, — сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые, каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились, — он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.

— Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь — все воры, научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани — от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку.

— Ступай купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, — я сам куплю!

Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

...Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно шлепает плицами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут темные берега, положив на воду тени, над ними краснó светятся окна изб, в селе поют девки — водят хоровод — и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осужденные на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звезды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна, — это арестанты смотрят на Волгу. Всклипывает вода, не то плачет, не то смеется робко. Все вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку — человека, который ввел меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь —

в люди. А когда я вспоминаю бабушку, все дурное, обидное уходит от меня, изменяется, все становится интереснее, приятнее, люди — лучше и милей...

Меня почти до слез волнует красота ночи, волнует эта баржа, — она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине теплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце, — мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем — особенные, все они — старые и молодые, мужчины и женщины — кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить виаки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем, между двумя и шестью часами, и вечером от десяти до полуночи, работы у меня меньше, — пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга — мое начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун, со скуластым лицом, изрытым оспой, с маслеными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зеленые, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неувливаемого цвета.

— Аз-зиаты! Мор-рдва! — изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстенский, лысый Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда — грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около нее как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает ее быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

— Бабу надо уметь накалить, — учит он Сергея и Максима; они слушают его внимательно и надуваются, краснеют.

— Азиаты, — брезгливо бухает Смурый, тяжело встает и командует мне: — Пешков — марш!

В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.

— Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

— «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков»...

Смурый, закулив папироску, фыркает дымом и ворчит:

— Верблюды! Написали...

— «Оголение левой груди означает невинность сердца»...

— У кого — оголение?

— Не сказано.

— То значит — у баб... Э, распутники.

Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу — надоела она мне до тошноты.

Но он хрипит:

— Читай!

— «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян»...

— Северьян...

— Напечатано — Сюверьян...

— Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катать оттуда...

Я катаю:

Профаны, любопытствующие знать наши дела,

Никогда слабые ваши очи не узрят оных!

Вы и того не узнаете, как поют фреры!

— Стой,— говорит Смурый,— да это ж не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу под тюфяк.

— Возьми другую...

На мое горе, у него в черном сундуке, окованном железом, много книг,— тут: «Омировы наставления», «Мемории артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оного, с приложением советов против сопутствующих ему»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их,— я читал, а он сердито ворчал:

— Сочиняют, ракалии... Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервасий! А на черта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул...

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их — может

быть, в звуках откроется смысл? А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму, — там, среди ящиков товара, собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединен от земли, убегает прочь от нее, а с берега, в тишине уставшего дня, доносится звон невидимой колокольни, напоминая о селах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек полощется в реке, по желтой ленте песка идет мужик в красной рубахе. Издали, с реки, все кажется приятным, все — точно игрушечное, забавно мелко и пестро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые, добрые слова, — на берег и на баржу.

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил ее, точно свинью; ослабевав, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дергал баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверями сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи; мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топая ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок; шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только иначе одетые и обезображенные бритьем. Конечно, это — разбойники, но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках.

Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал:

— Избави боже такой судьбины!

Как-то раз я спросил его:

— Почему это — вы стряпаете, а другие убивают, грабят?

— Я не стряпаю, а готовлю, стряпают — бабы, — сказал он, усмехаясь; подумав, прибавил: — Разница меж людьми — в глупости. Один — умнее, другой — меньше, третий — совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, черную магию и — что там еще? Все книги надо читать, тогда найдешь правильные...

Он постоянно внушал мне:

— Ты — читай! Не поймешь книгу — семь раз прочитай, семь не поймешь — прочитай двенадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу,

ощетинив усы,— точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то пугавшее меня немножко; иногда повар казался мне полуумным, как сестра бабушки.

Иногда он говорил мне:

— Подожди читать...

И долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом; колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожженные, волосатые пальцы рук,— вяжут невидимыми спицами невидимый чулок.

И вдруг начнет ворчать:

— Да. Вот тебе — разум, иди и живи! А разума скупое дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то — нет... Один — понимает, другой — не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять, на!

Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории из своей солдатской жизни,— смысла этих историй я не мог уловить, они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не с начала, а что на память приходило.

— Призывает того солдата полковой командир, спрашивает: «Что тебе говорил поручик?» Так он отвечает все, как было,— солдат обязан отвечать правду. А поручик посмотрел на него, как на стену, и отвернулся, опустил голову. Да...

Повар сердится, дышит дымом и ворчит:

— Разве же я знаю, что можно говорить, чего нельзя? Тогда поручика засудили в крепость, а матушка его говорит... а, боже мой! Я же не ученый ничему...

Жарко. Все вокруг тихонько трясется, гудит, за железной стенкой каюты плещет водой и бухает колесо парохода, мимо иллюминатора широкой полосой течет река, вдали видна полоска лугового берега, маячат деревья. Слух привык ко всем звукам,— кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет:

— Се-емь, се-емь...

Не хочется принимать участия ни в чем, не хочется слушать, работать, только бы сидеть где-либо в тени, где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть и смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая, устоявшаяся жизнь.

— Читай! — сердито приказывает повар.

Его боятся даже классные официанты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

— Эй ты, свинья! — кричит он на буфетную прислугу.— Поди сюда, вор! Азиаты... Умбракул...

Матросы и кочегары относятся к нему почтительно, заискива-

юще, — он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масленные и копченые кочегары-белорусы считались на пароходе низшими людьми, их звали одним именем — ягуты, и дразнили:

— Ягу, бягу, на берягу...

Когда Смурый слышал это, он, ошетинаясь, налившись кровью, орал кочегару:

— Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!

Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему:

— Ягут да хохол — одна вера!

Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

— Хошь — расшибу?

Ссорились часто, иногда до драки, но Смурого не били, — он обладал нечеловечьей силищей, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая, дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, стриженными волосами.

Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начиная пить с утра, выпивая бутылку в четыре приема, и вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, темные глаза изумленно расширялись.

Бывало, вечером, сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я — жалел.

Выходил из кухни Яков Иванович, потный, раскаленный, стоял, почесывая голый череп, и, махнув рукою, скрывался или говорил издали:

— Стерлядь уснула...

— Ну, в солянку...

— А если уху закажут или паровую?

— Готовь. Сожрут.

Иногда я решался подойти к нему, он тяжело передвигал глаза на меня.

— Что?

— Ничего.

— Добре...

Я все-таки спросил его в один из таких часов:

— Зачем вы пугаете всех, ведь вы — добрый?

Против ожидания, он не рассердился.

— Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

— А пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На

доброе всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

— Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть все, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

— Я не люблю.

— Добре. И не пей. Пьянство — это горе. Водка — чертово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неученый человек — бык, его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотает...

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

— Ерунда, сказка! Я знаю — есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принес от капитанши другую и угрюмо приказал:

— Читай Тараса... как его? Найди. Она говорит — хорошо... Кому — хорошо? Ей хорошо, а мне, може, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.

— Это — так! А что ж? Ты — учен, а я — силен! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

— А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять — переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

— Подлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал, — медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

— А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

— Да читай же, чертова кость!

Он снова заплакал и — еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько! Слышишь ли ты?»

— Все погибло, — всхлипывал Смурый, — все, а! Уже — конец? Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот — а? Да-а, это — люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами.

— Хорошая книга! Просто — праздник!

Потом мы читали «Ивангоэ», — Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.

— Это настоящий король! — внушительно говорил он; мне книга показалась скучной.

Вообще мы не сходились во вкусах,— меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» — старинный перевод «Истории Тома Джонса, найденныша», а Смурый ворчал:

— Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно — есть другие книги, подпольные, запрещенные; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ошетинился.

— Ш-шо такое? Шо ты врешь?

— Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

— Кто плачет?

— Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

— Проснись, бредишь,— сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

— Конечно,— где-нибудь есть... что-нибудь скрытое. Не быть его — не может... Не таковы мои годы, да и характер мой тож... Ну, а однако ж...

Он мог говорить столь красноречиво целый час...

Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни,— она становилась все тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением все больше, часто отрывал меня от работы.

— Пешкóв, иди читать.

— У меня немытой посуды много.

— Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

— Сажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

— Это моя вина! — сказал Смурый буфетчику.— Запиши мне.

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:

— Эй ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая

посуду. Я понимал, что все это плохо кончится для меня, и не ошибся.

Под вечер с какой-то маленькóй пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в желтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши,— баба улыбалась, кланялась всем и говорила на ó, точно дьякон:

— Простите, рóдные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила...

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:

— А ты иди, чумовая, иди знай...

Они поместились около рубки второго класса, против каюты, где спали Яков, Максим и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушечий рот.

Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей подошел ко мне и схватил за руку.

— Иди, мы тебя женим...

Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.

— Иди-и!

Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоем они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки,— Яков Иванович, а девица колотила его по спине кулаками и пьяным голосом кричала:

— Пуститя...

Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул,— они оба упали.

— Азиат! — сказал он Якову, захлопнул дверь каюты на нос ему, и загудел, толкая меня:

— Ступай прочь!

Я убежал на корму. Ночь была облачная, река — черная; за кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не осветив, исчезают за неожиданным поворотом берега; после них становится еще более темно и обидно.

Пришел повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжело и закурил папиросу.

— Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали...

— Вы отняли ее у них?

— Ее? — Он грубо обругал девицу и продолжал тяжелым голосом: — Тут все гады. Пароходишко этот — хуже деревни. В деревне жил?

— Нет.

— Деревня — насквозь беда! Особо — зимой...

Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова:

— Пропадешь ты в свином стаде, жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на коленях бы встал и спросил: «Что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые?» Верблюды...

Пароход протяжно загудел, буксир шлепнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались еще огни.

— Пьяный Бор, — ворчал повар. — И река есть — Пьяная. Был каптенармус — Пьянков... И писарь Запивохин... Пойду на берег...

Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под лямками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в черную яму, звонко выкрикивая:

— Трушша!

Когда они шли с дровами, матросы хватали их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз — каждый рейс: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.

Мне казалось, что я — старый, живу на этом пароходе много лет и знаю все, что может случиться на нем завтра, через неделю, осенью, в будущем году.

Уже светало. На песчаном обрыве выше пристани обозначился мощный сосновый лес. В гору, к лесу, шли бабы, смеялись и пели, подвывая; вооруженные длинными носилками, они были похожи на солдат.

Хотелось плакать, слезы кипели в груди, сердце точно варилось в них; это было больно.

Но плакать — стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу.

Это был незаметный человечек, Бляхин. Весь какой-то линючий, блеклый, он все прятался по углам, поблескивая оттуда маленькими глазками.

— По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... Потому, видишь ты, — мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам — якорь. Ты бы пошел, ан — погоди...

И теперь, шаркая шваброй по палубе, он говорил мне тихонько:

— Видал, как бабов забижают! То-то вот! И сырое полено долго поджигать — загорится! Не люблю я этого, братаня, не ува-

жаю. И родись я бабой — утону бы в черном омуте, вот тебе Христос святой порукой!.. И так воли нет никому, — а тут еще — зажигают! Скопцы-то, я те скажу, не дурак народ. Про скопцов — слышал? Умный народ, очень правильно догадался: напроць все мелкие вещи, да и служи богу, чисто...

Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое, ясное лицо у нее... Захотелось побежать за нею и просить всей душой:

— Скажите мне что-нибудь, скажите!..

Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь:

— Поехали...

VI

В Сарапуле Максим ушел с парохода, — ушел молча, ни с кем не простясь, серьезный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла веселая баба, а за нею — девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филенку двери, стучался в нее лбом и взывал:

— Простите меня, я не виноват! Это — Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врет, но поощрительно советовали:

— Валяй, валяй — простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но все-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдатика, костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, — три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

— Ты что, дурак? — изумленно спросил его Смурый. — Разве солдаты плачут?

— Я — нестроевой роты, — тихонько сказал солдат.

Это погубило его, — через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

— Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха.

Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно

прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

— Што вылупили шары-те на меня? Ой, да чтобы вас рóзовало на кусочки...

Это еще более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал ложку за спиной солдата к тесемкам его фартука; солдат идет, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он — суется, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьезно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

— Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и — вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидела, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

— Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошел на публику кабаном, ошетилившись, страшно оскалив зубы.

— По местам — марш! Аз-зиаты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снес на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повертывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода, — это снова рассмешило публику.

— Все едино, — сказал солдат тонко и высоко, — убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощ-

нику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, повар спросил солдата:

— Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь.

— Смир-рно, кликуша! — сказал Смурый.

Солдат ответил:

— Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щеки дрябло опустились, он плюнул и пошел прочь, уводя меня с собою; ошалевший, я шагал за ним и все оглядывался на солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

— Эт, цаца какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шепотом сказал:

— Он зарезаться хочет!

— Где? — рявкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках, — этим ножом отрубали головы курам, кололи поленья на растопку, он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головой; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал:

— Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица, — люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

— Гляди, гляди...

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

— Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика смеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться, — не верил и я, а Смурый мельком взглянул на него и стал толкать людей своим животом, приговаривая:

— Пошел прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу, — подойдет к целой кучке людей и кричит на них:

— По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди — один большой дурак.

Разогнав публику, он подошел к солдату, протянул руку.

— Дай сюда нож...

— Все едино, — сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.

— Ляг и спи! Ты что́ такое, а?

Солдат молча сел на койку.

— Он тебе есть принесет и водки, — пьешь водку?

— Немножко пью...

— Ты, смотри, не трогай его — это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю — не он...

— А зачем меня мучили? — тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

— Ну, а я — знаю?

Идя со мною в кухню, он бормотал:

— Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь — как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и — шабаш! Даже — куда там клопы! Злее клопов...

Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько, всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

— Ешь...

— Затвори дверь.

— Темно будет.

— Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушел. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, — бабушка многократно поучала меня:

«Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...»

— Отнес? — спросил меня повар. — Ну, что он там?

— Плачет...

— Эт... мешок! Какой он солдат?

— Мне его не жалко.

— Ну? Что такое?

— Людей надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

— Насильно не пожалеешь, а врать не годится, — понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

— Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им все это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, — пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки

в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, — новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

— Положено господом богом терпеть, и — терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне, я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть — он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима, — это был серьезный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Все это — не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?

— Чего навалились на борт? — кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза. — Пароход накренили, разойдись, черти драповые...

Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.

— А, окаянные...

Жаркими ночами, под раскаленным за день железным тентом, — душно; пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.

— Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места...

Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.

Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские.

Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда не веселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им все равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.

Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволочлась белым облаком пара,

он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:

— Гаврило, сурик, войлок...

Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разноголосно завывали, заорали, и сразу стало жутко.

В белом тумане — он быстро редел — метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бежал за людьми и все смотрел — что они делают?

Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке, — пароход шел не замедляя движения, за правым бортом, очень близко горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.

А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним — другой, и еще; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, был волком:

— Православные, грешен...

— Лодку, дьяволы! — кричал толстый барин, в одних брюках, без рубашки, и бил себя в грудь кулаком.

Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на палубу. Тяжело ходил Смурый, в пальто, надетом на ночное белье, и гулким голосом уговаривал всех:

— Да постыдитесь! Чего вы, рехнулись? Пароход же стоит, встал, ну! Вот — берег! Дураков, что попрыгали в воду, косари переловили, повытаскивали, вон они, — видите две лодки?

А людей третьего класса он бил кулаками по головам, сверху вниз, и они мешками, молча, валились на палубу.

Еще суматоха не утихла, как на Смурого налетела дама в тальме, со столовой ложкой в руке, и, размахивая ложкой под носом у него, закричала:

— Как ты смеешь?

Мокрый господин, удерживая ее, обсасывал усы и с досадой говорил:

— Оставь его, болвана...

Смурый, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня:

— Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же ее в первый раз вижу!..

А какой-то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал:

— Ну, люди! Ну, разбойники!..

За лето я дважды видел панику на пароходе, и оба раза она была вызвана не прямой опасностью, а страхом перед возможностью ее. Третий раз пассажиры поймали двух воров,— один из них был одет странником,— били их почти целый час потихоньку от матросов, а когда матросы отняли воров, публика стала ругать их:

— Вор вора кроет, известно!

— Сами вы жулье, вот и мирволите жуликам...

Жулики были забиты до бесчувствия, они не могли стоять на ногах, когда их сдавали полиции на какой-то пристани...

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей — злые они или добрые? смирные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смирны?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

— Эх, что тебя щекотит! Люди, ну и люди... Один — умный, другой — дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть все сказано...

Духовных книг и житий он не любил.

— Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное — подарить книгу. В Казани на пристани я купил за пятак «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час повар был пьян, сердит, я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал «Предание». Оно мне очень понравилось,— все так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но, когда я поднес ему книгу, он молча смял ее ладонями в круглый ком и швырнул за борт.

— Вот как твою книгу, дурень! — сказал он угрюмо. — Я ж тебя учу, как собаку, а ты все хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

— Это — какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано — правда? Ну, говори!

— Не знаю.

— Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадет с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал — солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и — шабаш! Понял?

— Понял.

— То-то ж! Я знаю про царя Петра — этого с ним не было! Пошел прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка все-таки нравилась мне: купив еще раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару еще более внимательно и доверчиво, а он почему-то все чаще, с большей досадой говорил:

— Эх, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал — не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и продает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством, — Смурый не однажды предупреждал меня:

— Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и еще много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне все мягче, — и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я все ждал — вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то — по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось — моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошел, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на коврой табуретке:

— Вот.

Смурый грубо спросил меня:

— Ты даешь Сережке приборы?

— Он сам берет, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

— Не видит, а — знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

— Постойте, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он — на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой, — я видел его сквозь глазок двери, похожий на червонного туза, но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

— Сережка давал тебе денег?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Он не соврет, — сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

— Все равно. Пожалуйста.

— Идем! — крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в темя. — Дурак! И я — дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей — первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

— Н-ну, вот... Теперь гляди в оба — понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет.

— На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги — это самое лучшее!

Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришел к ним, настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело, — за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

— Много ли золота накопил?

— Сколько есть — все мое, — ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

— Та-ак, — сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия, — вот оно что. Чертово зелье куришь? Не рано ли?

— Мне вот даже кисет подарили, — похвастал я.

— Кисет! — завизжал дедушка. — Ты что, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелеными глазами; я вскочил, ткнул ему головой в живот, — старик сел на пол и несколько тяжелых секунд смотрел на меня, изумленно мигая, открыв темный рот, потом спросил спокойно:

— Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

— Довольно уж вы меня били,— пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и легкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил ее за окно и сказал испуганным голосом:

— Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать,— обратился он к бабушке,— ты гляди-ка, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ка его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая:

— А за это — вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда,— он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

— Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лег там в углу, подавленный, опустошенный, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

— Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя,— дедушка-то старик, надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем,— обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это... Надо понимать, Олеша! Он — тот же ребенок, не боле того...

Слова ее омывали меня, точно горячей водой, от этого дружеского шепота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял ее, мы поцеловались.

— Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нем сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха — он действительно был доволен, как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

— Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошел в дом — не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена-копейка!

Я молчал. Он истек словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня:

— Страх перед богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господ! Человек человеку — лютый враг!

Что люди — враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а все остальное не трогало меня.

— Теперь опять иди к тетке Матрене, а весной — на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдешь...

— Ну, зачем же обманывать людей? — сказала бабушка, только что обманув деда притворной трепкой, данной мне.

— Без обмана не проживешь, — настаивал дед, — ну-ка скажи — кто живет без обмана?

Вечером, когда дед сел читать Псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

— Вот куда заехали! — посмеиваясь, говорила бабушка. — Не может старик места по душе себе найти, все переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне — хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берез Казанского тракта. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом — тоже как былинки, — маячили темные фигуры мещанских девиц и парней. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища, его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля темная группа деревьев, там — еврейское кладбище. Все вокруг бедно, все безмолвно прижималось к израненной земле; маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идет стадо, — мычат коровы; из лагеря доносится военная музыка, — ревут и ухают медные трубы.

Идет пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

— Я дойду до тебя... обязательно...

— Дурачок, — щурясь на красное солнце, говорит бабушка, — куда тебе дойти? Упадешь скоро, уснешь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадет...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать ее, и, когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

— Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо — просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но, скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на нее никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

— Мал ты еще, не умеешь жить...

— Вот все говорят друг другу: не умеешь жить,— мужики, матросы, тетка Матрена сыну, а что надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

— Уж этого я не знаю!

— А тоже говоришь!

— Отчего не сказать? — спокойно молвила бабушка.— Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон дедушка-то и умен и грамотен, а тоже ничего не сумел...

— Ты сама-то хорошо жила?..

— Я? Хорошо. И плохо жила — всяко...

Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась все тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда:

— Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеша мене...

Бабушка сказала, улыбаясь:

— Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чем? Ведь уж старенький, ничего не надо, а все жалуется, все топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам да и усмехнется: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдем-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага еще сумрачно, оттуда поднимается белесый туман; крутой глинистый бок оврага темен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в желтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щелкают любопытные синицы; смешно надувая белые щеки, они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят все знать, все потрогать и — попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но — мое дело торговое, суровое — я пересаживаю

птиц в запасные клетки и прячу в мешок,— во тьме они сидят смирно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и щебечут еще веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопут запоздал улететь в теплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу черными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица щур, предмет жадных мечтаний моих,— вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая черным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, ее основной тон — непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум,— я слышу в нем прощальную песнь лета, он нашептывает мне какие-то особенные слова, и они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

— Ты — где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нем хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всех этих благостынь стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый граненый графин, с хрустальной пробкой — головой Наполеона, в графине — шкалик водки, настоящей на зверобое.

— Хорошо-то как, господи! — благодарно говорит бабушка.

— А я песню сложил!

— Да ну?

Я говорю ей что-то, похожее на стихи:

Все ближе зима, все заметнее,
Прощай, мое солнышко летнее...

Но она, не дослушав меня, перебивает:

— Такая песня — есть, только она — лучше!

И нараспев говорит:

Ой, уходит солнце летнее
В темные ночи, за далекие леса!
Эх, осталась я, девушка,
Без весенней моей радости, одна...
Выйду ль утром за околицу,
Вспомню майские гулянки мои,—

Поле чистое нерадошно глядит,—
Эх, потеряла я в нем молодость свою.
Ой, подруженьки, любезные мои!
Уж как выпадет да первый легкий снег,—
Выньте сердце из бело́й моей груди,
Схороните мое сердце во снегу!..

Мое авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

— Вот как горе поется! Это, видишь, девица сложила: погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил ее, может, к другой отошел, и заплакала она от сердечной обиды... Чего сам не испытаешь — про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило ее.

— Гляди-ка ты! Я думала — пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

— Дешево еще продала...

— Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и все удивлялась: как много можно заработать пустяками!

— А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и — пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олеша!

Но я очень увлекся птицеловством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавелся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня,— я один ходил ловить птиц почти за тридцать верст, в Кстовский лес, на берег Волги, где, в мачтовом сосняке, водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало, выйдешь с вечера и всю ночь шлепаешь по Казанскому тракту, иногда — под осенним дождем, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеенкой мешок, в нем садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодно и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом березы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над черной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колеса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных деревень, под-

катываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьет в било и пугливо кричит:

— Кто идет? Кого черти носят — не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, брал с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и все ахал:

— Опять идешь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

— На-ко, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость. И провожал меня до околицы.

— Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена; луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет вдаль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает князь Михаила Черниговского и боярина Феодора, «не поклонившихся солнцу», — эти люди кажутся мне черными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у них всегда больные глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зеленых лап капли росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего заморозка. Порыжев-

шая трава примята дождями, склоненные к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч — замечен легкий трепет в травах, быть может, последнее усилие жизни.

Проснулись птицы; серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле, — по образу их человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов, херувимов, серафимов и весь ангельский чин.

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стайей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегаёт по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Он, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями, — если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть, — это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила дает мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьезно:

— Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! Избери-ка ты себе место и расти на нем свой разум. Человек не для пустяков живет, он — богово зерно, он должен дать колос зерен добрых! Человек — вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте — три целковых стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не легко! Мир чело-

веку — темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы — хитрость; кто мал да слаб, тот — ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что — один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай, — дома да города строят не языком, а рублем да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих все богатство — вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в ее ловких пальцах, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

— Все будет так, как мать божия улыбнется.

— Чего это? — кричал дед. — Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, что — бог-то дураков на землю посеял, что ли?

...Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты; жизнь у них — простая, веселая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома, за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру: ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на поле, с криком «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, оцетинившись штыками, и казалось, что сейчас они скovyрнут с земли, размечут наш дом, как стог сена.

Я тоже кричал «ура» и самозабвенно бежал с ними; злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек.

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжелые ружья, иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо:

— Коли таракана!

Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить, — это было немножко боязно, но больше приятно.

Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана; сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальцы.

— Стучи — рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему —

левы — тиха, правы — шибка, трам-та-та-там! — грозно кричал он, расширяя птичьи глаза.

Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, всё такие новенькие, точно пятаки, только что отчеканенные.

Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единою силой, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в нее, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на все смотрят смело, все могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное — все они простые, добрые.

Но однажды, во время отдыха, молодой унтер дал мне толстую папиросу.

— Покури! Она у меня — этакая, никому бы не дал, да уж больно ты парень хорош!

Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; серый соленый дым заставил чихать и кашлять; слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошел домой, — свист и смех катились за мной, что-то щелкало, точно кнут пастуха. Болели обожженные пальцы, саднило лицо, из глаз текли слезы, но меня угнетала не боль, а тяжелое, тупое удивление: зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней?

Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая все необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моем. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула, — стоит передо мной и словно спрашивает, торжествуя:

— Что? Понял?

Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тяжелое и поразительное.

Я стал бегать в казармы казаков, — они стояли около Печерской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты, — они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоеет, как медная труба; тихонько, напряженно вытягиваясь, заведет печальную песню про тихий Дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зорянка-птица, которая часто поет до того, что падает с ветки на землю мертвой, ворот рубахи казака расстегнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек — литой, медный. Качаясь на тонких ногах,

точно земля под ним волнуется, разводя руками, слепой и звонкий, он как бы переставал быть человеком, становился трубою горниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадет спиною на землю и умрет, как зорянка, — потому что истратил на песню всю свою душу, всю ее силу.

Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они — бородатые и безбородые — были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдаленные от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь ее, то забываешь — день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь все! Замрут голоса певцов, — слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустрашимо движется с поля осенняя ночь; а сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.

Маленький медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным — сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним; когда он спрашивал меня о чем-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущенно. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поет.

Однажды я видел, как он, стоя за углом конюшни, подняв к лицу руки, рассматривает надетое на пальце гладкое серебряное кольцо; его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное.

Но как-то раз, темным вечером, я пришел с клетками в трактир на Старой Сенной площади, — трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня.

Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной; с ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, ее круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно; он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины, — она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько:

— Не дурите...

Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко, он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы докрасна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери; она что-то говорила ему ласково

и укоризненно, а он молчал смущенно, — нечем было ответить на заслуженные упреки.

Вдруг он встал, словно уколотый, неверно — низко на лоб — надел фуражку, прилепнул ее ладонью и, не застегиваясь, пошел к двери; женщина тоже поднялась, сказав трактирщику:

— Мы сейчас воротимся, Кузьмич...

Люди проводили их смехом, шутками. Кто-то сказал густо и сурово:

— Вернется лоцман, — он ей задаст!

Я ушел вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к Откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

— Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошел за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели Откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

— Ой, да за что же это?

Я тоже испугался, подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатались вниз, по траве Откоса, черной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

— Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз, — зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, — я различаю женщину — она идет на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи; она плачет, стирает слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

— Господи — кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, — мне вспоминаются слова бабушкиной сестры:

«Баба — сила, Ева самого бога обманула...»

Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил веселым голосом:

— Дарья! Что? Казак всегда возьмет что надо... ты думала — пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья!

Он стоит твердо, голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова:

— Эй, возьми кофту... Дашк! Да не ломайся...

И казак громко произнес позорное женщине слово.

Я сижу на куче щебня, слушая этот голос, одинокий в ночной тишине и такой подавляюще властный.

Перед глазами пляшут огни фонарей на площади; справа, в черной куче деревьев, возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идет на площадь, помахивая белым тряпьем, и наконец исчезает, как дурной сон.

Внизу, под Откосом, на водокачке пыхтит пароотводная трубка, по съезду катится пролетка извозчика, вокруг — ни души. Отравленный, я иду вдоль Откоса, сжимая в руке холодный камень, — я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая, кто я, что несу за спиной в мешке.

Я подробно рассказал ему о казаке — он начал хохотать, покрикивая:

— Ловко-о! Казаки, брат, дотошный народ, они не нам чета! А бабенка-то сука...

Он подавился смехом, а я пошел дальше, не понимая — над чем же он смеется?

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?

VIII

Когда выпал снег, дед снова отвел меня к сестре бабушки. — Это не худо для тебя, не худо, — говорил он мне.

Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Все так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьет детям белье, то тихонько поет всегда одну песню:

Спиря, Спиря, Спиридон,—
Спиря, братик мой родной;
Сама сяду в саночки,
Спирю — на запяточки...

Если войти в комнату, она тотчас перестает петь и сердито кричит:

— Чего тебе?

Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.

Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:

— Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе!

Я сажусь на стул около двери уборной и говорю; мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но — ненадолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:

— А все-таки, поди-ка, боязно?

Я не понимаю — чего бояться?

— А вдруг он свернет на глубокое место да и потонет!

Хозяин хохочет, а я — хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, — не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле.

— Коли он железный, как же он плавает? Небось топор не плавает...

— А ковш ведь не тонет в воде?

— Сравнил! Ковш — маленький, пустой...

Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.

— А Псалтырь? А царь Давид?

— Псалтырь — священное писание, да и то царь Давид прощенья просил у бога за Псалтырь.

— Где это сказано?

— На ладони у меня, — я те вот хвачу по затылку, и узнаешь — где!

Она все знает, обо всем говорит уверенно и всегда — дико.

— На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, черная, как деготь!

— Душа — дух, — говорю я, но она презрительно кричит:

— У татарина-то? Дурак!

Молодая хозяйка тоже боится книг.

— Это очень вредно книжки читать, а особливо — в молодых летах, — говорит она. — У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да — в дьякона и влюбилась. Так

дьяконова жена так срамила ее — ужас даже! На улице, при людях...

Иногда я употреблял слова из книг Смурого; в одной из них, без начала и конца, было сказано: «Собственно говоря, никто не изобрел пороха; как всегда, — он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий».

Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов: «собственно говоря». Эти слова казались мне убедительными, я чувствовал в них силу, — много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое.

Однажды, на предложение хозяев рассказать им еще что-нибудь о пароходе, я ответил:

— Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря...

Это их изумило, они закаркали:

— Как? Как ты сказал?

И все четверо начали дружно хохотать, повторяя:

— Собственно говоря, а — ба-атюшки!

Даже хозяин сказал мне:

— Плохо ты выдумал, чудак!

С той поры они долго звали меня:

— Эй, собственно говоря! Иди-ка, подотри пол за ребенком, собственно говоря...

Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня.

Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть ее, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось, — в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пеленки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать белье, — там меня осмеивали прачки.

— Ты что за бабье дело взялся?

Иногда они доводили меня до того, что я шлепал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно.

Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, спускаясь к Оке, овраг отрезал от города поле, названное именем древнего бога — Ярило. На этом поле, по Семикам, городское мещанство устраивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы ее молодости народ еще веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвертывали его смоленной паклей и, пустив под гору, с криками, с песнями, следили — докатится ли огненное колесо до Оки. Если докатится, бог Ярило принял жертву: лето будет солнечное и счастливое.

Прачки были, в большинстве, с Ярила, всё бойкие, зубастые бабы; они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать белье зимою, в ледяной воде ручья — каторжное дело; у всех женщин руки до того мерзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьем, запертым в деревянную колоду, под стареньким, щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали белье; лица их налиты кровью, нащипаны морозом; мороз жжет мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слезы, а женщины неумно гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью.

Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, женщина лет за тридцать, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали ее за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельем, спускалась с горы по скользкой тропе, ее встречали весело, заботливо спрашивали:

— Как дочка-то?

— Ничего, спасибо, учится, слава богу!

— Гляди — барыней будет?

— А того ради и учу. Откуда баре, коленые хари? Всё из нас, из черноты земной, а откуда еще-то? Чем больше науки, тем длинней руки, больше возьмут; а кем больше взято, у того дело и свято. Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками, значит — надо учиться!

Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Ее хвалили в глаза и за глаза, удивлялись ее выносливости, разуму, но — никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога, — это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я — меня осмеяли:

— Эх ты, у бабы разуму учишься!

Про дочь ее говорили:

— Эко важное дело! Ну, одной барыней больше будет, легко ли? Да, может, еще и не доучится, помрет...

— Тоже ведь и ученые не сладко живут: вон у Бахилова дочь-то училась-училась, да и сама в учительши пошла, ну, а коли учительша, значит — вековуша...

— Конечно! Замуж-то и без грамоты возьмут, было бы за что взять...

— Бабий ум не в голове...

Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы, я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними; я чувствовал, что они относятся к «бабам» враждебно, но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах, вместе с хвастовством, звучало что-то, позволявшее мне думать, что в этих рассказах хвастовства и выдумки больше, чем правды.

Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всем, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое и думал, что, пожалуй, это правда: баба — сила!

— Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придешь, не минуешь, — сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей:

— А куда кроме? От бога и то к нам уходят, монахи-те, отшельники-те...

Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлепанье мокрых тряпок, на дне оврага, в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные, злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысль и чувство в сторону от «романов», назойливо окружавших меня; с понятием — «роман» у меня прочно связалось представление о грязной, распутной истории...

Но все-таки в овраге, среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих-землекопов было несравненно интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну; они говорили о грехах, о смерти, очень боялись ее, они толклись, как зерна вокруг жернова, всегда ожидая, что вот он раздавит их.

В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось, — приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе.

Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый — длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными, маслеными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален,

говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в темные углы; рассказывает ли что-нибудь вполголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее.

— Ты что смотришь?

— А может, мыша выбежит... Люблю мышей, такие, катаются, тихонькие...

Я писал денщикам письма в деревни, записки возлюбленным, мне это нравилось; но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова, — он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу.

Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мною, крепко растирал ладонями стриженую голову и шептал в ухо мне:

— Ну, валяй! Сначала — как надо: любезнейшая моя сестрица, здравствуй на много лет — как надо! Теперь пиши: рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живем хорошо, — мы живем вовсе не хорошо, а как собаки, ну, ты про то не пиши, а пиши — хорошо! Она — маленькая, ей четырнадцать лет всего — зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили...

Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво:

— Чтоб она не давала парням обниматься с нею и трогать ее за груди и никак! Пиши: если кто говорит ласково, ты ему не верь, это он хочет обмануть вас, испортить...

От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью, он надувал щеки, на глазах выступали слезы, он ерзал по стулу и толкал меня.

— Ты мешаешь!

— Ничего, пиши!.. Господам не верь больше всего, они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и всё может сказать, а как ты ему поверила, то — тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтоб никто не видел, и помни — где.

Было очень грустно слушать этот шепот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопченное чело печи, на шкаф с посудой, засиженный мухами, — кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи, в лучине, шуршат тараканы, уныние вливается в душу, почти до слез жалко солдата, его сестру. Разве можно, разве хорошо жить так?

Я пишу что-то, уже не слушая шепот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить, а он, вздыхая, говорит мне:

— Много пишешь, спасибо! Теперь она будет знать, чего надо бояться...

— Ничего не надо бояться,— сердито говорю я, хотя сам боюсь многого.

Солдат смеется, прикашливая:

— Чудачок! Как же не бояться? А — господа, а — бог? Да мало ли!

Получив письмо от сестры, он беспокойно просил:

— Читай, пожалуйста, скорее...

И заставлял меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза.

Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все,— по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой развивающиеся на моих глазах с начала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет ее ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюет, точно принял горького лекарства. Это меня било по сердцу, я сердито спрашивал солдата — зачем все они обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают ее один другому и часто — бьют?

Он только тихонько усмехался и говорил:

— Тебе не надо интересоваться этими делами, это все плохо, это — грех! Ты — маленький, тебе рано...

Но однажды я добился ответа более определенного и очень памятного мне.

— Думаешь — она не знает, что я ее обманываю? — сказал он, подмигнув и кашляя.— Она — зна-ет! Она сама хочет, чтобы обманули. Все врут в этом деле, это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто — баловство! Это больно стыдно, вот, погоди, сам узнаешь! Нужно, чтоб было ночью, а днем — в темноте, в чулане, да! За это бог из рая прогнал, из-за этого все несчастливы...

Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами; я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить,— это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости его редко удавались ему.

— Это — запрещено,— говорил Сидоров.

Что запрещено — я знал, но что от этого люди несчастны — не верилось. Я видел, что несчастны, а не верил потому, что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных

людей, чувствовал особенную доброту любящих; видеть этот праздник сердца всегда было приятно.

Но все-таки жизнь, помню, казалась мне все более скучной, жесткой, неизбежно установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел ее изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день.

Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня: в одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая, бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр.

Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днем выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идет по дамбе, с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятно новая, чистая, в черных перчатках на маленьких руках. Лицо у нее птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у нее не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу, но мне это казалось приятным и сразу отличало ее от других дам на дворе — офицерских жен; эти, несмотря на их громкие голоса, пестрые наряды и высокие турнюры, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в темном чулане, среди разных ненужных вещей.

Маленькая закройщица считалась во дворе полуумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, ее муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной, нерусской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня — говорили о ней — не умеет отличить буженину от телятины и однажды позорно купила вместо петрушки — хрен! Вы подумайте, какой ужас!

Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей.

И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру: они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о ее красоте. Она от-

вечает им, просит оставить ее в покое, сожалеет, что причинила горе, просит бога, чтобы он помог им разлюбить ее. Получив такую записку, офицеры читают ее все вместе, смеются над женщиной и вместе же снова составляют письмо к ней от лица кого-либо одного.

Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу.

— Дура несчастная, кривуля,— говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его:

— Всякая баба хочет, чтоб ее обманули. Она все знает...

Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда ее кухарка пошла в погреб, я вбежал по черной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню — там было пусто, вошел в комнаты — закройщица сидела у стола, в одной руке у нее тяжелая золоченая чашка, в другой — раскрытая книга; она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать:

— Кто это? Августа! Кто ты?

Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах, по ее плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивленно, с улыбкой.

Когда я сказал все, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне:

— Постой!

Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека:

— Какой ты странный мальчик... Подойди поближе!

Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, глядя ее маленькими холодными пальцами, спросила:

— Тебя никто не научил сказать мне это, нет? Ну, хорошо, я вижу, верю — ты сам придумал...

Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько, протяжно сказала:

— Так об этом говорят грязные солдаты!

— Вы бы съехали с квартиры-то,— солидно посоветовал я.

— Зачем?

— Одолеют они вас.

Она приятно засмеялась, потом спросила:

— Ты учился? Книжки читать любишь?

— Некогда мне читать.

— Если бы любил, нашлось бы время. Ну — спасибо!

Она протянула мне шепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету,— было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от нее и, уходя, положил ее на столбик перил лестницы.

Я унес от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня; предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг все было незнакомо красиво, пышный золотистый ковер лежал под ее ногами, сквозь серебряные стекла окон смотрел, греясь около нее, зимний день.

Мне захотелось взглянуть на нее еще раз,— что будет, если я пойду, попрошу у нее книжку?

Я сделал это и снова увидал ее на том же месте, также с книгой в руках, но щека у нее была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в черном переплете, закройщица невнятно промывчала что-то. Я ушел с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув ее в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили ее.

Они, получая «Ниву» ради выкровок и премий, не читали ее, но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного обозрения». Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер» и вечерами, читая ее, ругался:

— Черт их поймет, зачем они пишут все это! Скучища же...

В субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнил о книге, достал ее, развернул и прочитал начальную строку: «Дома — как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой,— я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всенощной, снес книгу в кухню и утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям; они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, непохожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де Монтепэна, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую, стремительную жизнь. Все в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; все забывалось в колебаниях борьбы, поглоща-

лось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой.

Я зачитался до того, что, когда услышал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем.

Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом; светильня лампадки, за которую я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнаты выскочила нянька.

— Оглох? Звонят!

Я бросился отпирать двери.

— Дрых? — сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее простудил, старуха ругалась. В кухне она сразу увидела сожженную свечу и начала допрашивать меня — что я делал.

Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдет книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришел хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им:

— Вот, глядите, всю свечу сжег и дом сожжет...

Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне гибелью, но я уже знал, что все это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги.

Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать; старуха, потревожив бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из подпечка, подошел к окну; ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу — стало еще хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя, при свете лампы, и, утомленный, заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе. С полатей выл Виктор:

— Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя...

«Пропала книга, изорвут», — думал я.

За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал:

— Где ты взял книгу?

Женщины кричали, перебивая друг друга, Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил:

— Духами пахнет, ей-богу...

Почему-то я не мог сказать при всех и сказал, что книга взята мною у Сидорова, денщика полкового священника.

— Отнеси ему, и чтоб этого никогда больше не было! — сказал хозяин.

Узнав, что книга принадлежит священнику, они все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин еще долго внушал мне, что читать — вредно и опасно.

— Вот они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу:

— Ты с ума сошел! Что ты ему говоришь?

Я отнес Монтепэна солдату, рассказал ему, в чем дело, — Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне:

— Не слушайся их — приходи ко мне и читай, я никому не скажу! А если придешь — нет меня, ключ висит за образом, отопрй сундук и читай...

Отношение хозяев к книге сразу подняло ее в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня, но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурого о «правильных книгах» и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-фармазонах:

«А при Благословенном государе Александре Павлыче дворяншки, совратясь к чернокнижию и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчев-генерал изловил их на деле да, невзирая на чины-звания, — всех в Сибирь в каторгу, там они и исхизли, подобно тле...»

Вспоминался «умбракул, распещренный звездами», «Гервасий» и торжественные, насмешливые слова:

«Профаны, любопытствующие знать наши дела! Никогда слабые ваши очи не узрят оных!»

Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил, как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадет у солдата или он как-нибудь испортит ее. Что я скажу тогда закройщице?

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня:

— Книжник! Книжки-то вон распутству учат, вон она, книго-чая, до чего дошла, — на базар сама сходить не может, только с офицерами путается, днем принимает их, я зна-аю!

Мне хотелось закричать:

«Это неправда! Она не путается...»

Но я боялся защищать закройщицу — вдруг старуха догадается, что книга-то ее?

Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною овладела рассеянность, тревожная тоска, я не мог спать, в страхе за судьбу Монтепэна, и вот однажды кухарка закройщицы, остановив меня на дворе, сказала:

— Принеси книгу!

Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженный, подавленный.

Она встретила меня такая же, какою я ее встретил в первый раз, только одета иначе: в серой юбке, черной бархатной кофте, с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря.

Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами.

— Ф-фу, какие глупые люди! — сказала она, сдвинув тонкие брови. — А еще у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему!

Это меня испугало, я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у нее, а у священника.

— Не надо, не пишите! — просил я ее. — Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка и у вас не хватает ребра...

Выпалив все это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для нее, — она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущенно опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица навалилась на стул и весело захохотала, повторяя:

— Ой, как глупо... как глупо! Но что же делать? — спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: — Ты очень странный мальчик, очень...

Взглянув в зеркало рядом с ней, я увидел скуластое, широконосое лицо, с большим синяком на лбу, давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами, — вот это и называется «очень странный мальчик»?.. Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку...

— Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?

— Мне не надо.

Она вздохнула.

— Ну, что ж делать! Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги...



На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я принес, была самая толстая. Я смотрел на нее с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку.

— Ну, прощай!

Я осторожно дотронулся до ее руки и быстро ушел.

А пожалуй, верно говорят про нее, что она ничего не знает, — вот, двугривенный назвала денежкой, точно ребенок.

Но это мне нравилось...

IX

И грустно и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению!

Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжет их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю.

Лавочник был очень неприятный парень — толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими, неловкими пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы; брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пить пиво и играть в карты. Меня часто посылали звать его к ужину, и я не однажды видел в тесной, маленькой комнатке за лавкою придурковатую румяную жену лавочника сидевшей на коленях Викторушки или другого парня. Это, видимо, не обижало лавочника; не обижался он и тогда, когда его сестру, которая помогала ему торговать в лавке, крепко обнимали певчие, солдаты и все, кому это нравилось. Товару в лавочке было немного, он объяснял это тем, что дело у него новое, — он не успел наладить его, хотя лавка была открыта еще осенью. Он показывал гостям и покупателям грязные картинки, давал — желающим — списывать бесстыдные стихи.

Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак, или Непреоборимая верность», «Франциль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы», «Юрий Милославский», «Таинственный монах», «Япанча, татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше — от них что-то оставалось; но еще более меня увлекали жития святых — здесь было что-то серьезное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Все великомученики почему-то напоминали мне Хорошее Дело, великомученицы — бабушку, а преподобные — деда, в его хорошие часы.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочесть ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече неоставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторушка возмущенно провозгласил с полатей:

— Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жег свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я понимал, что, если в этот дом придет святой, — мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад; они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться над ними — они разучатся говорить, онемеют, им не видно будет самих себя. Для того, чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно, с осуждением, и если бы начать жить так же, как они, — так же думать, чувствовать, — все равно — они осуждали бы и за это. Уж такие люди.

Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

— Что тогда будет? — спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

— Долг принес?

— Нет.

Это его пугало, он хмурился.

— Как же? Что же мне — к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да — в колонию?

Мне негде было взять денег — жалованье мое платили деду, я терялся, не зная — как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масленую, пухлую, как оладья, руку и сказал:

— Поцелуй — подожду!

Но когда я схватил с прилавка ги́рю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

— Что, что ты, что ты — я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу, однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

— Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

— Он не украдет, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг все разрешилось очень быстро и просто: хозяин неожиданно спросил меня:

— Ты что, Пешко́в, скучный стал, нездоровится, что ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали; он нахмурился.

— Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то! От них — так или эдак — непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

— Смотри же, не проболтайся жене али матери — шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

— Настоячив ты, черт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако — книжки брось! С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

И вот, вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок» — романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

— А мы-то живем — тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей, — это очень изумляет их.

— Ну, и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве, мне они очень нравятся, я списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

— Старик ведь, а стихи сочиняет.

— Пьяница, полоумный, ему все равно.

Нравятся мне стихи Стружкина, графа Мemento-Mоро, а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи — балаганство.

— Это только петрушки да актеры стихами говорят.

Тяжелы были мне эти зимние вечера на глазах хозяев, в маленькой, тесной комнате. Мертвая ночь за окном; изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженные рыбы. А то — вьюга шаркает по стеклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками; в детской плачут младенцы, — хочется сесть в темный угол и, съжившись, выть волком.

В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки; за другим — Викторушка, выгнув спину, копирует, нехотя, чертежи и время от времени кричит:

— Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди-козыри, собаки на мышах...

В стороне, за огромными пальцами, сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть; из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, желтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой, — она очень надоела ему, и часто, днем, когда я свободен, он говорит мне:

— Ну-ко, Пешков, садись за скатерть, действуй!

Я сажусь и действую толстой иглой, — мне жалко хозяина и всегда, во всем хочется посылить помочь ему. Мне все кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнет делать что-то другое, интересное, о чем он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на нее неподвижно удивленными глазами, как на что-то незнакомое ему; волосы его спустились на лоб и щеки, он похож на послушника в монастыре.

— Ты о чем думаешь? — спрашивает его жена.

— Так, — отвечает он, принимаясь за работу.

Я молча удивляюсь: разве можно спрашивать, о чем человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос, — всегда думается сразу о многом: обо всем, что есть перед глазами, о том, что видели

они вчера и год тому назад; все это спутано, неуловимо, все движется, изменяется.

Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

— Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался еще «Огонек», и вот мы читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слез хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

— Нет, это забавная штука!

— Вранье поди-ка,— говорит хозяйка, ради оказания самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На мое счастье, старуха перешла спать в детскую,— запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпало, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится как-то особенно скучно: плоско лежат луга, в темных заплатах кустарника, на конце лугов зубчатая черная стена леса, над лугами — мутная, холодная синева. Пусто на земле, одиноко. И сердце тоже пустеет, тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать — не о чем, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает эта унылая пустота, высасывая из сердца все, что там есть.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом

и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова — «метафизика», «хилиазм», «чартист», — они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, все заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов, — именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Аттила,

за ним черною тучею идут воины и кричат:

Где же Рим, где Рим могучий?

Рим — город, это я уже знал, но кто такие — гунны? Это необходимо знать.

Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

— Гунны? — удивленно повторяет он. — Черт знает, что это такое! Ерунда, наверное...

И неодобрительно качает головою.

— Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешкóв!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно — что такое гунны, и, поймав его на дворе, я спрашиваю.

Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом:

— А тебе какое дело до этого, а?

Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил:

— Что-о?

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора; он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

— Гунны, — сказал мне провизор Павел Гольдберг, — были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно — не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам, — после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и, благодаря Аттиле, я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб.

— Слова, дружище, это — как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, — нужно учиться! Книга, дружище, — как хороший сад, где все есть: и приятное и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне все более серьезное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне от всего, о чем пишут книги, и трудно понять — что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, — не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне и Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, соленые грибы, толокно и картофель, с противным льняным маслом. Великим постом — нельзя читать книг, — у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить ее с тем, что знал из книг, она казалась мне еще более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал споро и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишенный книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость.

Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное: однажды вечером, когда все легли спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу встряхнул всех в доме, полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга:

— Пожар? Набат?

Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями; кто-то бегал по двору с лошадьёю на поводу.

Старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал ее:

— Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат!

— Ну, так архиерей помер...

Викторушка слез с полатей, одевался и бормотал:

— А я знаю, что случилось, знаю!

Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева, я побежал, вылез через слуховое окно на крышу, — зарева не было видно; в тихом морозном воздухе бухал, не спеша, колокол; город сонно прилег к земле; во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и все зловещее охал колокол. Я воротился в комнаты.

— Зарева нет.

— Фу ты, господи! — сказал хозяин, одетый в пальто и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши. Хозяйка умоляла его:

— Не ходи! Ну, не ходи же...

— Ерунда!

Викторушка, тоже одетый, дразнил всех:

— А я знаю...

Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к окнам, но почти тотчас с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал:

— Царя убили!

— Убили-таки! — воскликнула старуха.

— Убили, мне офицер сказал... Что ж теперь будет?

Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал:

— А я думал — война!

Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но — тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять — что случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова — за что убили царя, он тихонько ответил:

— Про то запрещено говорить...

И все это быстро стерлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, — старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услы-

хал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, — лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи — готов ли самовар, кратко ответил:

— Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

— Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

— Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

— Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

— Не хочу, лечите скорее...

Меня отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал:

— Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

— Раньше — чаще били...

Доктор захохотал басом.

— Все к лучшему идет, приятель, все!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

— Извольте получить, починен! Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье — комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

— И меня, Пешкóв, тоже били — что поделаешь? Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было,

некому! Людей везде — теснота, а пожалуй — нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника, женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил, — слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешения брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивленно воскликнула:

— Ну и бес!

Через день я стоял перед закройщицей, и она ласково говорила:

— А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу, — видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду — зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон де Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ, — я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне — весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролет, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

— погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь все идет об одном и том же: хорошие люди — несчастливы и гонимы дурными, дурные — всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и все чаще удается правильно решить, кто из героев придет в рай всяческого благополучия, кто будет ввергнут во узилище.

Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «черный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми,— он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот — солдат, но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю,— ни на Сидорова, ни на вятча с парохода, ни, тем более, на Ермохина; он — больше человек, чем все они. В нем есть нечто общее со Смурым, но он не так звероват и груб. Вот — лавочник, но и он тоже лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю,— они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю: за границею не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся богу так яростно, как молится старая хозяйка.

Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бесцельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от нее выгод.

С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною все яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости желтых, зачитанных страниц с грязными углами.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивленный чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьезной и сухой, как жития святых. Ее язык, такой точный и лишенный прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил ее дать мне еще такую же.

— Как это такую же? — спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:

— Это — скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, — так с этой улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границею живут иногда мальчики! Ну, мне вовсе не так плохо, значит — можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая «правильная» книга — «Евгения Гранде».

Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом — незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек все-таки не может достичь желаемого, — добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но — камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной, — нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью...

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака — не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти ее? Закройщица не могла помочь мне в этом.

— Вот хорошая книга, — говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки полны роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриета, Вернера, — мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже все меньше нравилась мне.

Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причесывался, всячески стараясь принять благообразный вид, — едва ли это удавалось мне, но я все ждал, что она, заметив мое благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:

— Прочитал? Понравилось?

— Нет.

Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:

— Но почему же?

— Я уже читал об этом.

— О чем — об этом?

— О любви...

Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.

— Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!

Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позевывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплету книги на коленях у нее.

Мне хочется спросить:

«Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами...»

Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.

На дворе говорят об этой женщине все хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти рассказы, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за нее. Но когда, придя к ней, я вижу ее острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, — жалость и страх исчезают, как дым.

Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж ее переменил квартиру.

Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников, я зашел посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.

Мне стало грустно, захотелось еще раз увидеть маленькую закройщицу, — сказать, как я благодарен ей...

Еще до отъезда закройщицы под квартиру моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно кулившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красива; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконового рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, — он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утопанной земле.

— Робэр, Ро-обэр, — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе; она сидела в седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла-Вальер и другие красавицы, героини исторических романов.

Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаше других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя, как покорный, преданный слуга дамы.

Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я ее отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я

пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

— Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?

— Храни тебя господь,— говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.

— Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать,— повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом.

Бабушка внушала ей:

— Не до завтра, а — всегда!

— А разве завтра не всегда бывает?

Она любила слово «завтра», и все, что нравилось ей, переносила в будущее; натывает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:

— Завтра это будет сад...

— Когда-нибудь завтра я тоже куп'ю себе ошадь и поеду верхом, как мама...

Она была умненькая, но не очень веселая,— часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

— Зачем у священников во'осы, как у женщин?

Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:

— Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо. Бог всем может сде'ать п'охо — он даже маму может нака-зывать...

Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль; прижимаюсь ко мне, глядя в небо синими ожидающими глазами, она говорила:

— Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеется. Ее все юбят, потому что ей всегда некогда, все приходят гости, гости, и смотрят на нее, потому что она красивая. Она — ми'ая, мама. И О'есов так говорит: ми'ая мама!

Мне страшно нравилось слушать девочку,— она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много,— предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка задремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

— Что это она — спит?

— Да.

— Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

— Дай мне ее!

— Я сам отнесу!

— Но! — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.

Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, — всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, — девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошел в гостиную, — девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала ее.

— Ну, вот, — сказала она, — вот он пришел, это чудовище!

— Это не чудовище, а мой майчик...

— Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?

— Да, хочу!

— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

— Прощай до завтра, — сказала девочка, протянув мне руку. — Храни тебя господь до завтра...

Дама удивленно воскликнула:

— Кто это тебя научил — бабушка?

— Да-а...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

— Что же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

— Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала еще красивее; я смущенно назвал ей несколько романов.

— Что же в них нравится тебе? — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьезно, — до этой минуты никто еще не смотрел на меня так.

От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; окна закрывала густая зелень цветов, в сумраке блестели снежно-белые изразцы печи, рядом с нею лоснился черный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то темные грамоты, криво усеянные крупными буквами

славянской печати, и под каждой грамотой висела на шнуре темная, большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я.

Я объяснил ей, как сумел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

— Да-а, вот как? — сказала она, вставая. — Это — недурно, это, пожалуй, верно... Ну, что ж? Я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет... А впрочем, возьми вот это...

Она взяла с дивана истрепанную книжку в желтой обложке.

— Прочитаешь — дам вторую часть, их четыре...

Я ушел, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием, но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские «тайны» значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавною показалась мне только басня о Свободе и Палке.

«Я выше тебя, — сказала Свобода, — потому что умнее».

Но Палка ответила ей:

«Нет, я выше тебя, потому что я — сильнее тебя».

Спорили, спорили и подрались; Палка избила Свободу, и Свобода — помнится мне — умерла в больнице от побоев.

В книге шла речь о нигилисте. Помню, что — по князю Мещерскому — нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово нигилист показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние: очевидно, я не умею понимать хорошие книги! А что книга хорошая, в этом я был убежден: ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие!

— Ну, что же, понравилось? — спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского.

Мне было очень трудно ответить — нет, я думал, что это ее рассердит.

Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплете синего сафьяна.

— Это тебе понравится, только не пачкай!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радуется.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что

долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,—

мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:
— Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

— Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...

Что — скалка? Я оборонялся против нее стихами:

Душою черной зло любя,
Колдунья старая...

Дама еще выше выросла в моих глазах,— вот какие книги читает она! Это — не фарфоровая закройщица...

Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

— Это тебе понравилось! Ты слыхал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нем, и я сказал, что не слыхал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

— Видишь, как опасно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно — опасно, но и — хорошо. Я сказал:

— Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на все, сквозь ресницы, и сказала серьезно:

— Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе — не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно, потом встала и прошла по комнате, задумчиво говоря:

— Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумаю об этом... Твои хозяева — родственники тебе?

И когда я ответил утвердительно, она воскликнула:

— О! — как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издание, с гравюрами, в золотом обресе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесною связью едкого горя с буйным весельем.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь злоредный — я вас беспокою?
Раздавите гадину ногою!
Что жалеть? Приплюсните скорей!
Отчего меня вы не учили,
Не дали исхода дикой силе?
Вышел бы из червя — муравей!
Я бы умер, братьев обнимая,
А бродягой старым умирая,—
Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слез хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни веселой наука —
Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут.

Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки:

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет! —

вызвали отвратительную беседу о девушках,— это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из его неловких рук, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням.

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять,— работа все росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылках», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков,— хозяин работал с утра до ночи, как машина.

В те годы казенные здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев; торговые ряды торопливо перестраивались; мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи «на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно» и т. п.; я носил эти чертежи к старенькому архитектору, вместе с конвертом, куда пряталась двадцатипятирублевая бумажка,— архитектор брал деньги и подписывал: «Чертеж с натурою верен, и надзор за работами принял Имярек». Разумеется, натуры он не видал, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома.

Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и еще каким-то нужным людям, получая от них «разрешительные бумажки на всякое беззаконие», как именовал хозяин эти документы. За все это я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен, против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый говор и музыку.

Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво.

Я назвал ее про себя — Королева Марго.

«Вот та самая веселая жизнь, о которой пишут во французских книгах»,— думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин,— они вились около нее, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий невеселый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл,— так играл, что под окнами останавливались прохожие, на бревнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева — если они были дома — открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они

хвалили еще кого-нибудь, кроме соборного протодьякона, и знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом четко сказал:

Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя, одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним, в желтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил: найду где-то клад и весь отдам ей,— пусть она будет богата! Если б я был Скобелевым, я снова объявил бы войну туркам, а победив, взял бы выкуп, построил бы на Откосе — лучшем месте города — дом и подарил бы ей,— пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко.

И соседи и вся челядь нашего двора,— а мои хозяева в особенности,— все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись ее, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека,— грамоты на стенах комнаты ее были жалованы дедам ее мужа старыми русскими царями: Годуновым, Алексеем и Петром Великим,— это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший Евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избила своим хлыстом с лиловым камнем в ручке,— говорили, что она уже избила им какого-то важного чиновника.

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанных слов; моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни Королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на ее ногах и вытирает их губкой.

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев:

— Виктор, фу! Какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!

Хозяин молчал, улыбался, — я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Визгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор — Виктор прибавлял всё новые подробности.

— Рожа красная, язык высунул...

Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижет ногти даме, но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидною ложью, и я сказал Викторушке:

— Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы — не маленький...

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, мне только одного хотелось — сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить ее:

«Пожалуйста, уезжайте из этого дома!»

Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом, со всеми его жителями, возбуждал во мне отвращение все более тяжкое. Весь он был оплетен грязною сетью позорных сплетен, в нем не было ни одного человека, о котором не говорили бы злобно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник; офицеры и жены их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе; мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах, и больше всего опротивели мне мои хозяева — я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими, беспощадных суждений о людях. Наблюдения за пороками людей — единственная забава, которою можно пользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно и скучно.

Когда о Королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям, — эта немая жалость была еще тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром; она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шелком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку

маленькие ладошки, сложенные вместе, тело ее спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и все в спальне, темные волосы, заплетенные в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди ее, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо мое мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

— Вот как?

Даже благожелательная улыбка ее была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

«Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне».

Иногда я заставлял ее перед зеркалом, — она сидела на низеньком кресле, причесывая волосы, концы их лежали на коленях ее, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу, — волосы у нее были так же длинные и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале ее смуглые крепкие груди, она надевала при мне лиф, чулки, но ее чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за нее. Всегда от нее исходил запах цветов, защищавший ее от дурных мыслей о ней.

Я был здоров, силен, хорошо знал тайны отношений мужчины к женщине, но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины, мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно, рукою хозяина ее тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома Королеве Марго, она знает какие-то иные, высшие радости, иную любовь.

Но однажды, перед вечером, войдя в гостиную, я услышал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, просивший:

— Подожди же... Господи! Не верю...

Мне нужно было уйти, я понимал это, но — не мог уйти...

— Кто там? — спросила она. — Ты? Войди...

В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно, окна были занавешены... Королева Марго лежала на постели, до подбородка закрывшись одеялом, а рядом с нею, у стены, сидел в одной рубахе, с раскрытой грудью, скрипач-офицер, — на груди у него тоже был шрам, он лежал красной полосой от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я видел улыбку на его печальном, изрубленном лице, — улыбался он странно. А его большие, женские глаза смотрели на Королеву так, как будто он только впервые разглядел красоту ее.

— Это мой друг,— сказала Королева Марго, не знаю — мне или ему.

— Чего ты так испугался? — услышал я, точно издали, ее голос.— Поди сюда...

Когда я подошел, она обняла меня за шею голой, горячей рукой и сказала:

— Вырастешь — и ты будешь счастлив... Иди!

Я положил книгу на полку, взял другую и ушел, как во сне.

Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя Королева любит, как все женщины, да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собою его улыбку,— улыбался он радостно, как улыбается ребенок, неожиданно удивленный, его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить ее — разве можно ее не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей — он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи...

Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не все хорошо, не все верно в моем отношении к тому, что я видел, и к самой Королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали.

...Однажды я буйно и слепо наозорничал, и, когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго:

— Однако ты отчаянный шалун, как я слышала! Не думала я этого...

Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько.

— Довольно, я все это знаю — понимаешь? Знаю!

Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково:

— Чем меньше ты будешь обращать внимания на все эти гадости, тем лучше для тебя... А руки ты плохо моешь...

Ну, этого она могла бы и не говорить; если б она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю.

— Умеет жить человек — на него злятся, ему завидуют; не умеет — над ним насмехаются, его презирают,— задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои.— Ты меня любишь?

— Да.

— Очень?

— Да.

— А — как?

— Не знаю.

— Спасибо; ты — славный! Я люблю, когда меня любят...

Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих.

— Ты — чаще приходи ко мне; как можешь, так и приходи...

Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше.

— Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь, — поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

— Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с легкой досадой:

— Тебе нужно учиться, учиться, а я все забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные «Записки охотника», несколько томов Гребенки и Соллогуба, стихи Веневитинова, Одоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!

Приходила бабушка, я с восторгом рассказывал ей о Королеве Марго, — бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно:

— Ну, ну, вот и хорошо! Хороших-то людей много ведь, только поищи — найдешь!

И однажды предложила:

— Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?

— Нет, не надо...

— Ну и не надо... Господи, господи, хорошо-то все как! Жить я согласна — веки вечные!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился, — на Троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня.

Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза, хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвели к знакомому доктору-акушеру Генриху Родзевичу, он прорезал мне веки изнутри, несколько дней я лежал с повязкой на глазах, в мучительной, черной скуке.

Накануне Троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение; это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых мира.

Веселый день Троицы; я, на положении больного, с полудня был освобожден от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме строгого Тюфяева, были пьяны; перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без памяти упал в сених, испуганный Ермохин убежал в овраг.

По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой; шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата.

Явилась прачка Наталья Козловская, в новом сиреновом платье, с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко:

— Дураки — он жив! Воды давайте...

Ее стали уговаривать:

— Не совалась бы не в свое дело-то!

— Воды, говорю! — крикнула она, как на пожаре; деловито приподняв новое свое платье выше колен, одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе.

Публика неодобрительно и боязливо разошлась; в сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принес ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила:

— Меня не облей, — мне в гости идти...

Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал.

— Поднимай, — сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы не запачкать платья. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав:

— Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду, поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются.

Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее, помятое платье.

Сидоров, потягиваясь, икал, охал, с головы его на мою босую ступню падала темными каплями тяжелая кровь, — это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капли.

Было горько; на дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками; к каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветви клена, рябины; вся улица весело зазеленела, все так молодо, ново; с утра мне казалось, что весенний праздник пришел надолго, и с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее.

Солдата стошнило, душный запах теплой водки и зеленого лука наполнил кухню, к стеклам окна то и дело прилипают какие-то мутные, широкие рожи с раздавленными носами, ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми.

Солдат бормотал, вспоминая:

— Это — как же я? Упал? Ермохин? Хор-рош товарищ...

Потом стал кашлять, заплакал пьяными слезами и заныл:

— Сестричка моя... сестренка...

Встал на ноги, скользкий, мокрый и вонючий, пошатнулся и, шлепнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами:

— Совсем убили...

Мне стало смешно.

— Кто, черт, смеется? — спросил солдат, тупо глядя на меня. — Как ты смеешься? Меня убили навсегда...

Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал:

— Первый срок — Илья пророк, второй — Егорий на коне, а третий — не ходи ко мне! Пошел прочь, волк...

Я сказал:

— Не дури!

Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами.

— Меня убили, а ты...

И тяжело, вялой, грязной рукою ударил меня по глазам, — я взвыл, ослеп и кое-как выскочил на двор, навстречу Наталье; она вела за руку Ермохина и покрикивала:

— Иди, лошадь! Ты что? — поймав меня, спросила она.

— Дерется...

— Дерется-а? — с удивлением протянула Наталья и, дернув Ермохина, сказала ему:

— Ну, леший, значит — благодари бога своего!

Я промыл глаза водою и, глядя из сеней в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача, потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая:

— Прочь лапы, псы! Что я вам — потаскушка из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет, — ну, живо! А то беда будет вам!

Она уложила их, как малых детей, одного — на полу, другого — на койке, и, когда они захрапели, вышла в сени.

— Измазалась я вся, а — в гости одета! Ударил он тебя?..

Ишь ведь дурак какой! Вот она, водочка-то. Не пей, паренек, никогда не пей...

Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных.

— Я и тверезых не боюсь, они у меня — вот где! — Она показала туго сжатый, красный кулак. — У меня муженек, покойник, тоже заливно пьянствовал, так я его, бывало, пьяненького-то, свяжу по рукам, по ногам, а проспится — стяну штаны с него да прутьями здоровыми и отхлещу: не пей, не пьянствуй, коли женился — жена тебе забава, а не водка! Да. Вспорю до устали, так он после этого как воск у меня...

— Сильная вы, — сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже бога обманула.

Наталья сказала, вздохнув:

— Бабе силы надо больше, чем мужику, ей на двоих силы-то надо бы, а господь обделил ее! Мужик — человек неровный.

Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиной о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени и вдруг увидел на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином; они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу.

Я побежал отпереть дверь парадного крыльца, отпер; подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне:

— С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни?

Это было до того глупо, что даже не задело меня; более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил:

— Что ж — пора!..

На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашел у квадратной прорези для кошек, в двери сарая, пустой кошелек; я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнес ему.

— А где же деньги? — спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька. — Рубль тридцать? Давай сюда!

Голова у него была в чалме из полотенца; желтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым.

Пришел Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня:

— Это он украл, он, веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдет!

Эти слова подсказали мне, что украл именно он, он же и подбросил кошелек в сарай ко мне, — я тотчас крикнул ему в глаза:

— Врешь, ты украл!

И окончательно убедился, что я прав в своей догадке,— его дубовое лицо исказилось страхом и гневом, он завертелся и завыл тонко:

— Докажи!

Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор, Сидоров шел за нами и тоже что-то кричал, из окон высунулись головы разных людей; спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и — ошалел.

Помню — солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно:

— Конечно, это его дело! То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал: значит, были деньги, от нее без денег ничего не возьмешь...

— Так точно! — кричал Ермохин.

Подо мною пол заходил, меня опалила дикая злоба, я заорал на хозяйку и был усердно избит.

Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что теперь думает обо мне Королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы.

На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лежа на чердаке, я услышал внизу крик Натальи Козловской:

— Нет, зачем я буду молчать! Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю — иди! А то я к барину пойду, он тебя заставит...

Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос ее звучал все более громко и торжествующе.

— Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя — расскажи?

Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет:

— Ай-яй, Ермохин...

— А мальчишку ославили, избили, а?

Мне хотелось сбежать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время,— должно быть, из окна,— закричала моя хозяйка:

— Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор — никто этого не думал, кроме тебя, халда!

— Вы сами, сударыня, халда, корова вы эдакая, позвольте вам сказать.

Я слушал эту брань, как музыку, сердце больно жгли горячие слезы обиды и благодарности Наталье, я задыхался в усилиях сдержать их.

Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы:

— Что, брат, Пешкóв, не везет тебе?

Я молча отвернулся от него.

— А все-таки ругаешься ты безобразно,— продолжал он, а я тихо объявил ему:

— Когда встану — уйду от вас...

Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец ее, сказал негромко:

— Что же, твое дело! Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя...

И ушел. Как всегда — было жалко его.

На четвертые сутки после этого — я ушел из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признать, я ждал, что она сама позовет меня.

Прощаясь с девочкой, я попросил:

— Скажи маме, что я очень благодарю ее, очень! Скажешь?

— Скажу,— обещала она, ласково и нежно улыбаясь.— Прощай до завтра, да?

Я встретил ее лет через двадцать, замужем за офицером-жандармом...

ХІ

Я снова посудником на пароходе «Пермь», белом, как лебедь, просторном и быстром. Теперь я «черный» посудник, или «кухонный мужик», я получаю семь рублей в месяц, моя обязанность — помогать поварам.

Буфетчик, круглый и надутый спесью, лыс, как мяч; заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за сорок, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щек ее осыпается на яркое платье белая липкая пыль.

В кухне воеводит дорогой повар Иван Иванович, по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Он — щеголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щечки у него синие, темные усы подкручены вверх; в свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печеными красными пальцами, и все смотрит в круглое ручное зеркальце.

Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов, широкогрудый, квадратный мужик; курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьих глазки спрятаны под густыми

бровями, щеки — в мелких колечках волос, похожих на болотный мох, на голове эти волосы сваялись плотной шапкой, он с трудом просовывает в них кривые пальцы.

Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством; как голодная собака, он постоянно терся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории.

Смолоду он был подпаском у городского пастуха в Рязани, потом прохожий монах сманил его в монастырь; там он четыре года послушничал.

— И быть бы мне монахом, черной божьей звездой, — скороговоркой балагурил он, — только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы — забавная такая, да и сомутила меня: экой ты ладной, экой крепкой, а я, бает, честная вдова, одинокая, и шел бы ты ко мне в дворники, у меня, бает, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером...

— Ладно-о, она меня — в дворники, я к ней — в любовники, и жил около ее теплого хлеба года с три время...

— Смело врешь, — прерывает его Медвежонок, озабоченно разглядывая прыщики на своем носу. — Кабы за ложь деньги платили — быть бы тебе в тысячах!

Яков жует, по слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши; выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро:

— Была она меня старше, стало мне с ней скушно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной, а она про то узнала да по шее меня со двора-то...

— Это тебе награда — лучше не надо, — говорит повар так же легко и складно, как Яков.

Кочегар продолжает, сунув за щеку кусок сахара:

— Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку-володимерцу, офене, и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы ходили, к самым — к туркам, к румынам тоже, ко грекам, австриякам разным — все народы обошли, у этого — купишь, тому — продашь...

— А воровали? — серьезно спрашивает повар.

— Старичок — ни-ни! И мне сказал: в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я — верно — пробовал, только — неутешно вышло: затеял я у купца коня свести со двора, ну — не сумел, поймали, начали, конешное дело, бить, били-били — в полицию оттащили. А было нас — двое, один-то настоящий, законный конокрад, а я так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал, и начал купец хворать, тут я ему во сне приснился нехорошо, испугался он и давай просить начальство:

отпустите его, — это меня, значит, а то-де он во сне снится: не простишь ему, бает, не выздоровеешь, колдун он, видно, — это я, стало быть, колдун! Н-ну, купец он знатный, отпустили меня...

— Тебя бы не отпустить, а в воду опустить дня на три, чтоб из тебя дурь вымокла, — вставил повар.

Яков тотчас подхватил его слова:

— Правильно, дури во мне много, прямо сказать — на целую деревню дури во мне...

Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь с досадой:

— Какова чушь! Живет на земле вот такой арестант, жрет, пьет, шляется, а — к чему? Ну, скажи, зачем ты живешь?

Чавкая, кочегар отвечает:

— Это мне неизвестно. Живу и живу. Один — лежит, другой — ходит, чиновник сиднем сидит, а есть — всякий должен.

Повар еще более сердится.

— То есть, какая ты свинья, что даже — невыразимо! Прямо — свиной корм...

— Чего ты ругаешься? — удивляется Яков. — Мужики — все одного дуба желуди. Ты — не ругайся, я ведь с этого лучше никак не стану...

Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе; я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал разинув рот. В нем было, как я думал, что-то непоколебимо спокойное, какое-то свое, крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех — капитана, буфетчика, важных пассажиров первого класса — как бы выравнивал в один ряд с самим собою, с матросами, прислугой буфета и палубными пассажирами.

Бывало — стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки, и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты, стоит — и видно, что ругань на него не действует, угрозы ссадить с парохода на первой пристани не пугают его.

В нем есть что-то всем чужое — как это было в Хорошем Деле, он, видимо, и сам уверен в своей особенностях, в том, что люди не могут понять его.

Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал, — из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьем текли слова. Когда его ругают или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит, или тихонько продолжает говорить свое. Каждый



день, кончив вахту, он вылезал из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос, сеялись слова, точно капли дождя.

— Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь? Знаю, бывал там, у богатого татарина батраком жил. А звали татарина Усан Губайдулин, о трех женах был старик, ядреный такой, морда красная. А одна молодуха, за-абавная была татарочка, я с ней грех имел...

Он везде — был, со всеми женщинами на своем пути имел грех; он рассказывал обо всем беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды, ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме.

— Честной народ, которые — в карты играют! В стуколку, в три листика, в ремешок, эй! Утешное дело — карта, сидя можно деньги взять, купеческое занятие...

Я заметил, что он редко говорит: хорошо, плохо, скверно, но почти всегда: забавно, утешно, любопытно. Красивая женщина для него — забавная бабочка, хороший солнечный день — утешный денек. А чаще всего он говорил:

— Наплевать!

Все считали его лентяем, а мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой, в адской, душной и вонючей жаре, так же добросовестно, как все, но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары.

Однажды у старухи пассажирки кто-то вытащил кошель с деньгами; было это ясным, тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе пять рублей, пассажиры тоже собрали между собою сколько-то; когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала:

— Родимые — тут на три целковых с гривенником лишку вышло противу моих-то!

Кто-то весело крикнул:

— Бери все, бабка, чего зря звонить? Трешница никогда не лишняя...

Кто-то складно сказал:

— Деньги — не люди, лишними не будут...

А Яков подошел к старухе и предложил серьезно:

— Давай мне лишнее-то, я в карты сыграю!

Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущенную старуху:

— Давай, бабка! На кой тебе деньги? Тебе завтра — на погост...

Его прогнали, изругав; он, покачивая головою, говорил мне с удивлением:

— Чудак народ! Чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила — деньги ей лишние! А меня бы трешка утешила...

Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью, — разговаривая, он любил чистить серебро и медь о штаны, а высветлив монету до блеска и пошевеливая бровями, разглядывал ее, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги.

Однажды он предложил мне играть с ним в стуколку, я не умел.

— Не умеешь? — удивился он. — Как же ты? А еще грамотен! Надо тебя обучить. Давай играть внарошку, на сахар...

Он выиграл у меня полфунта пиленого сахара и все прятал куски за мохнатую щеку, потом, найдя, что я умею уже играть, предложил:

— Теперь давай всерьез играть, на деньги! Есть деньги?

— Есть пять рублей.

— А у меня два с гаком.

Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддевку в пять рублей, и — проиграл, поставил новые сапоги в трешницу — тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито:

— Нет, ты играть не можешь, больно горяч — сейчас поддевку долой, сапоги! Это мне не надо. На-ко, возьми обратно одежду и деньги возьми, четыре целковых, а рубль — мне за науку... Ладно ли?

Я был очень благодарен ему.

— Наплевать! — сказал он в ответ на мои благодарности. — Игра — это игра, забава, значит, а ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо — бей с расчетом! Чего там горячиться? Ты — молодой, должен держать себя крепко. Раз — не удалось, пять — не удалось, семь — плюнь! Отойди. Простынешь — опять валяй! Это — игра!

Мне он все более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нем много чего-то, что привлекало меня, но — резко отталкивало его густое, видимо, на всю жизнь устоявшееся, равнодушие к людям.

Как-то раз, на закате солнца, пьяный пассажир второго класса, дородный купец-пермяк, упал за борт и, барахтаясь, поплыл по красно-золотой водной дороге. Машину быстро застопорили, пароход остановился, пустив из-под колес облако пены, красные лучи заката окровавили ее; в этой кипящей крови, уже далеко за кормой, бултыхалось темное тело, раздавался по реке дикий крик,

потрясавший душу. Пассажиры тоже орали, толкаясь, наваливаясь на борта, сгрудившись на корме. Товарищ утопавшего — тоже пьяный, рыжий и лысый — бил всех кулаками, прорываясь к борту, и рычал:

— Прочь! Я его сейчас достигну...

Уже двое матросов бросились в воду и саженками плыли к утопавшему, с кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин спокойной и ровной струйкой растекался сиповатый голос Якова:

— Уто-онет, все едино утонет, потому — поддевка на нем! В длинной одежде — обязательно утонешь. Наприменно — бабы, отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба как попала в воду, так сейчас и на дно, гирей-пудовкой... Глядите — вот и потонул, я зря не скажу...

Купец действительно потонул, его искали часа два и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал:

— Ну, вот, доехали-и! Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него...

Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать:

— Ничего, купец! Никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хватить — и помер! Тыщи людей грибы едят на здоровье, а один — на смерть! А — что грибы?

Широкий, крепкий, он жерновом стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слезы с бороды широкими ладонями, но, прислушавшись, взвыл:

— Леший! Что ты из меня душеньку тянешь? Православные, уберите его, а то — грех будет!

Яков, спокойно отходя, сказал:

— Чудак народ! К нему — с добром, а он — колом...

Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выпросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось; закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи темные глаза, он гладил рукою мшистое свое лицо и тянул, вспоминая:

— Народишку, браток, везде — просто как муравья! И там народ, и тут, — суета, я те скажу! Боле всего, конечно, крестьян, — прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгаре? Видал болгаров, и греков тоже, а то — сербей, румынцев тоже и всяких цыган, — много их, разных! Какой народ? Да ведь какой же? В городах — городской, в деревнях — деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже

говорят по-нашему, только плохо, как, напримерно, татаре али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут как попало, говорят будто слова, а что к чему — нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой — он прикидывался, что будто и греков понимает, бормочет — карамара да калимера. Хитрый был старичок, здорово калил их!.. Опять ты спрашиваешь — какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конечно, черные они, и румыне тоже черные, это одна вера. Болгаре — тоже черные, ну, эти веруют по-нашему. А греки — это вроде турков...

Мне казалось, что он говорит не все, что знает; есть у него еще что-то, о чем он не хочет сказать.

По картинам журналов я знал, что столица Греции Афины — древнейший и очень красивый город, но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины.

— Это тебе наврали, браток, Афинов нету, а есть — Афон, только это не город, а гора, и на ней — монастырь. Боле ничего. Называется: святая гора Афон, такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля алибо Нижнего. Города у них неказисты, а вот деревни — другое дело! Бабы тоже, ну, бабы просто до смерти утешны! Из-за одной я чуть не остался там, — как, бишь, ее звали?

Он крепко трет ладонями слепое лицо, жесткие волосы тихонько хрустят, в горле у него, глубоко где-то, звучит смех, напоминающая бряканье разбитого бубенчика.

— Забывчив человек! А ведь как мы с ней, бывало... Прощалась она — плакала, и я плакал даже, ей-бо-о...

Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами.

Мы сидим на корме, теплая лунная ночь плывет навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного — мигают желтые огни, какие-то звезды, плененные землею. Все вокруг движется, бессонно трепещет, живет тихою, но настойчивой жизнью. В милую, грустную тишину падают сиповатые слова:

— Бывало, раскинет руки, распнется...

Рассказ Якова бесстыден, но не противен, в нем нет хвастовства, в нем нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнуется, заставляя грустить о чем-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее — Королева Марго и незабвенные своею правдой стихи:

Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Страхивая с себя это мечтательное настроение, как легкую дремоту, я снова выпрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел.

— Чудак ты,— говорит он,— чего же тебе сказать? Я все видел. Спроси: монастыри видел? Видел. А трактиры? Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно...

Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому, опасному мосту, он вспоминает:

— Ну, вот, например, сижу я в части, за конокрадство — будет мне Сибирь, думаю! А квартальный — ругается, печи у него дымят в новом доме. Я говорю: «Это дело я, ваше благородие, могу поправить». Он — на меня: «Молчать! Тут, бает, самолучший мастер ничего не мог...» А я ему: «Случается, что и пастух умнее генерала», — я тогда осмелел очень ко всему, все едино — впереди Сибирь! Он говорит: «Валяй, ну, говорит, если еще хуже буде — я те кости в дробь истолку!» В двое суток я ему дело наладил — удивляется квартальный, кричит: «Ах ты, дурак, болван! Ведь ты — мастер, а ты коней крадешь, как это?» Я ему баю: «Это, мол, ваше благородие, просто глупость». — «Верно, говорит, глупость, жалко, говорит, мне тебя!» Да. Жалко, дескать. Видал? Полицейский человек, по должности своей безжалостный, а вот пожалел...

— Ну, и что же? — спрашиваю я.

— Ничего. Пожалел. А чего еще?

— Чего ж тебя жалеть, ты вон какой камень!

Яков добродушно смеется:

— Ч-чудак! Камень, говорит, а? А ты и камень сумей пожалеть, камень тоже своему месту служит, камнем улицы мостят. Всякой материал жалеть надо, зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки...

Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня.

— Что ты думаешь о поваре? — спрашиваю я.

— Про Медвежонка-то? — равнодушно говорит Яков. — Что про него думать? Тут думать вовсе нечего.

Это верно. Иван Иванович такой строго правильный, гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нем интересно только одно: он не любит кочегара, всегда ругает его и — всегда приглашает пить чай.

Однажды он сказал ему:

— Кабы стояло крепостное право да был бы я твой барин — я бы те, дармоеда, каждую неделю по семи раз порол!

Яков серьезно заметил:

— Семь разов — многонько!

Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной; грубо сунет ему кусок и скажет:

— Жри!

Яков не торопясь жует и говорит:

— Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иванович!

— А куда тебе, лентяю, сила?

— Как куда? Жить буду долго...

— Да зачем тебе жить? Леший!

— И леший живет. Али, скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иванович, утешно очень...

— Экой едиот!

— Чего это?

— Е-ди-от.

— Вона какое слово, — удивляется Яков, а Медвежонок говорит мне:

— Вот, сообрази: мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он — на вот, жует себе, как боров!

— Всякому своя судьба, — говорит кочегар, пережевывая пищу.

Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты, я несколько раз по ночам пытался «шуровать» вместе с Яковым, и мне странно, что он почему-то не хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то особенное...

Его все ругали — капитан, машинист, боцман — все, кому не лень, и было странно: почему его не рассчитывают? Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их:

— Яков — хороший человек?

— Яков-то? Ничего. Он — безобидный, с ним что хошь делай, хоть каленые угли за пазуху ему клади...

При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите, кочегар спал очень мало — сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты.

Он стоял предо мною, как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его.

— Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять? — справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами. — Ну, земля, ну, действительно, что обошел я ее много, а еще что? Ч-чудак! Я те, вот лучше послушай, расскажу, что одна со мной было.

И рассказывает: жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у него — немка, здоровая, бездетная. И влю-

билась немка в краснорядца-купца; купец — женатый, жена — красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в него, и затеял посмеяться над нею: позвал ее к себе в сад ночью, а сам пригласил двоих приятелей и спрятал их в саду, в кустах.

— Чудесно! Ну, пришла немка, то да се, я — вот она, дескать, вся тут! А он ей говорит: я тебе, барыня, не могу отвечать, я — женатый, а вот припас я для тебя двух приятелей, так они — один вдов, другой холост. Немка — ах! — да как хлопбыснет его по харе, он — опрокинулся через скамью, а она его, в морду-то, башмаком да каблуком! А я ее провожал, — я дворником был у судьи; гляжу в щель, сквозь забор — вижу, кипит похлебка. Тут выскочили приятели на нее да — за косы, а я перемахнул через забор, растолкал их, этак, баю, нельзя, господа купцы! Барыня к нему со всей душой, а он придумал срамно. Увел ее, а они мне кирпичом голову прошибли... Затосковала она, ходит по двору сама не своя и говорит мне: «Уеду я к своим, к немцам, Яков, как только муж помрет, — уеду!» Я говорю: «Конечно, надо уезжать!» Помер судья, и уехала она. Ласковая была, разумная такая. И судья тоже ласковый был, упокой господи...

Недоумевая, не понимая смысла этой истории, я молчу. Чувствую в этом что-то знакомое, безжалостное, нелепое, но — что сказать?

— Хороша история? — спрашивает Яков.

Я что-то говорю, возмущенно ругаюсь, но он спокойно объясняет:

— Люди сытые, всем довольны; ну, иной раз хочется пошутить, а не выходит у них шутка, не умеют будто. Люди серьезные, торговые, конечно. Торговля требует немалого ума; умом жить, поди-ка, скушно, вот и захочется побаловать.

За кормою, вся в пене, быстро мчится река, слышно кипение бегущей воды, черный берег медленно провожает ее. На палубе храпят пассажиры, между скамей — между сонных тел — тихо двигается, приближаясь к нам, высокая, сухая женщина в черном платье, с открытой седой головою, — кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько:

— Гляди — тоскует...

И мне кажется, что чужая тоска забавляет его.

Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо помню все его рассказы, но не помню ни одного веселого. Он говорил более спокойно, чем книги, — в книгах я часто слышал чувство писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, он говорил, как равнодушный свидетель перед судьей, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители, судьи... Это равнодушие вызывало у меня все более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову.

Жизнь горела перед ним, как огонь в топке под котлами, он стоял перед топкой с деревянным молотком в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки, убавляя или прибавляя топлива.

— Обижали тебя?

— Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам раза!..

— Я не про побои, а душу — обижали?

— Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, — говорит он. — Души человеческой никак не коснешься, ничем...

Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно или ласково, поганя душу, — это бьет меня по сердцу.

Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственномместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:

— Что, моя милая, что, моя чистая, — настрадалась, намаялась?

И дает душе серафимовы крылья — шесть белых крылий.

Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа, — он отвечает:

— Дух, дыхание божие...

Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

— О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое...

Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме его, я ничего не вижу, он все заслоняет от меня своей широкой фигурой.

Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, — утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голый, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекишшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и — мне противно. А буфетчица все говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.

Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали

догадываюсь о нем, — это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь — я живу далеко от буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я — за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.

— Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, — как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. — Разевай рот, лови счастье...

Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:

— Всего баба покушала — пирожного захотела, безе! Н-народ... Гляди, Пешкóв, в оба, а зри — в три...

И Яков тоже внушает мне отечески деловито:

— Конечно, ежели бы ты был лета на два старше, ну — я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, — лучше, пожалуй, не сдавайся! А то — как хошь...

— Брось, — говорю я, — пакость это...

Он соглашается:

— Конечно...

Но тотчас же, пытаюсь растрепать пальцами свалывшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:

— Ну, тоже и ее дело надо понять, — это дело — скудное, дело зимнее... И собака любит, когда ее гладят, того более — человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей, поди, самой стыдно, а — что делать? Тело просит холи и — ничего боле...

Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:

— Тебе — жалко ее?

— Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты... чудак!

Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.

Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.

— Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?

— А на что? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто... Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня — земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да — колом его по голове. Кровь пролил. Его за это — в острог на полтора года, а из острога — одна дорога, — опять в острог. А жена его утешная молодуха была... да что говорить! Женился — значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат — не хозяин своей жизни.

— Ты богу молишься?

— Ч-чудак! Конечно, молюсь...

— А как?

— Всяко.

— Ты какие молитвы читаешь?

— Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: господи Иисусе, живого — помилуй, мертвого — упокой, спаси, господи, от болезни... Ну, еще что-нибудь скажу...

— Что?

— А так! Ему — что ни скажи, все дойдет!

Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, — он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:

— Ну-кася, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!

Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:

— Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его...

— Не тот, того давно убили!

— За што?

Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:

— Из-за баб очень достаточно пропадает народа...

Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна; Людовик XI — черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, — он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратик возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание от-

дать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да — если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция — прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».

— Хороший человек был Хенрик-король — с ним хоть ершей ловить, хоть что хошь, — говорил он.

Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, — старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:

— Конец?

— Нет еще.

— А ты не останавливайся!

О французах он говорил, вздыхая:

— Прохладно живут...

— Как это?

— А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они — в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют, — утешная жизнь!

— Они и работают.

— Не видать этого по историям-то по твоим, — справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.

— Ну-ко, посплю я немножко, — говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.

Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, — Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне:

— Послезавтра прибудем мы с тобой, ероха-воха, в Пермь,

сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттолева — засядем в трактире с музыкой,— утешно! Люблю я глядеть, как машина играет.

Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина, с дряблым бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея.

Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что, когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет,— и дождь становится сильнее.

Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре,— пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:

— Что ж! Ничего. Это мне — наплевать...

— И хорошо,— тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай.

Перед тем как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь:

— Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, далеко! Забавный, по планту живет...

Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок.

— Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом — по реке да на лошадях еще,— пять недель будто ехать надо, вона, куда человек забился...

— Ты его знаешь? — спросил я, удивленный неожиданным решением Якова.

— Отколе? И не видывал николи, я в его местах не жил ведь...

Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:

— Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь — скажу? Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это — праздник, человека изуродовать, они за это наградят...

Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз тиснул мою ладонь.

— Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам — что? Ну, прощай! Живи на счастье!

И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое, сложное чувство, — было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошел человек неведомо куда?

И — что же за человек Яков Шумов?

XII

Поздней осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

— Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учись!

И отдала меня во власть маленького, быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце — сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.

Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю — прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом — торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.

— Покупатель — дурак, — уверенно говорил мне приказчик. — Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!

Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

— Мстёрской работы — товар дешевый, три вершка на четыре — себе стоит... шесть вершков на семь — себе стоит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий — от запоя; Варвара-великомученица — от зубной боли, нечаянная смерти; Василий Блажен-

ный — от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене, мати, Утоли моя печали, Казанская, Дейсус, Покрова, Семи-стрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко...

Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:

— Трудных родов разрешитель — кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

— Для чего у тебя голова?

Еще труднее было зазывать покупателей: уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такую она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.

В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё — старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно, — становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь:

— Чтó вам угодно, почтенный? Псалтыри следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы — пожалуйста, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

— Упустил, тор-говец...

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:

— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а — божьей благодатью, которая превышает серебра-злата, и нет ей никакой цены...

— Ч-черт! — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. — Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись!

Я учился добросовестно, — всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле, — эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтырь — книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:

— Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то — Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа.

— Съел? — ехидно спросил меня приказчик.

— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина...

Он начал ругаться:

— Шляются вот эдакие тихони и все знают, анафемы, все понимают, старые псы...

Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:

— Я — умный, я чистоту люблю, хорошие запахи — ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...

Он огорченно умолкал.

Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове.

Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и, стараясь не задевать глазами неосвященных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет:

— Дай-кошь Псалтырь толковую!

Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.

— Подревнее — нет?

— Древние — тысячи целковых стоят, как вы знаете...

— Знаем.

Помуслив палец, мужик перевертывает страницу, — там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:

— Священное писание все одной древности, господь слова своего не изменял...

— Знаем, слышали! Господь не изменял, да Никон изменил.

И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.

Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.

— Язычники болотные, — ворчал приказчик.

Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга — чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам; все это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику.

— В чем дела-то выпачканы у вас? — спрашивал старик.

— Вот икона продается, принес человек, говорит — строгановская.

— Чего?

— Строгановская.

— Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо мое от мерзости словес никонианских...

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза и мурлыча:

— Безбожники никониане, любовь нашу к древнему благообразию заметя и дьяволом научаемы преехидно фальшам разным, ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то — суздальских, ну, а взглядишь оком внутренним — фальша!

Если он говорит «фальша», значит — икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уныние и скорбь» значат — десять рублей, «Никон-тигр» — двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.

— Никониане-то, черные дети Никона-тигра, все могут сделать, бесом руководимы, — вот и левкас будто настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди, — не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков, — хоть он еретик был, — сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне — художество одно, так-то, богovy!

Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

— Грехи.

Это значит — покупай!

Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

— Как же, почтенный, икона-то?

— Икона — никонианской руки.

— Быть того не может! На нее деды, прадеды молились...

— Никон-от пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

— Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это — картина, слепое художество, никонианская забава, — в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я — человек старый, за

правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить — расчета нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

— Гляди: икона — строгая, писана тонко, со страхом Божиим, человечье — отринуто в ней...

— А чье письмо? — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

— Это тебе рано знать.

— А сколько дадут знатоки?

— Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...

— Ох, Петр Васильич...

— А если продам — тебе полсотни, а что сверх того — мое!

— Ох...

— Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдет, он скажет мне:

— Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!

Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:

— А что новенького в городе, Петр Васильич?

Расправив бороду желтой рукой, обнажив масленные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов: о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:

— Живут люди! А я вот...

— У всякого своя судьба, — гудит басок начетчика. — Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому — бес обухом топора...

Этот крепкий, жилистый старик все знает — всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорек, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему ближе — куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шумову.

Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом,

но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.

— А ведь обманщик ты для людей,— вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.

Старик, лениво усмехаясь, отзывается:

— Один господь без обмана, а мы — в дураках живем; ежели дурака не обмануть — какая от него польза?

Приказчик горячится:

— Не все же мужики — дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!

— Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак — свят, в нем мозги спят...

Старик говорит все более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него — трясина. Рассердить его нельзя, он недосыгаем гневу или умеет глубоко прятать его.

Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне,— подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:

— Как ты французского-то сочинителя зовешь — Понос?

Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:

— Понсон де Террайль.

— Где теряет?

— А вы не дурите, вы не маленький.

— Верно, не маленький. Ты чего читаешь?

— Ефрема Сирина.

— А кто лучше пишет: гражданские твои али этот?

Я молчу.

— Гражданские-то о чем больше пишут? — не отстает он.

— Обо всем, что в жизни случается.

— Стало быть, о собаках, о лошадях,— это они случаются.

Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно, но если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит:

— Куда?

А старик пытается меня:

— Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между ними Адам, Ева — как ты найдешь Адам-Еву?

Он долго допрашивает меня и наконец с торжеством объявляет:

— Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит — у них пупков нет!

Старик знает бесчисленное множество таких «задач», он может замучить ими.

Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною, теперь эти рассказы обратились во зло мне: приказчик передавал их Петру Васильевичу, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами; их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV.

Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое — чужое, непонятное и смешное им.

Весь Гостиный двор, все население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, — это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали.

Было много подобных развлечений, казалось, что все люди — деревенские в особенности — существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом.

Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.

Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:

— Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!

Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:

— Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.

— Только — чтобы чистого мяса дать, без костей!

Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает

тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.

— Батман окорока сожрешь?

— В какое время-с? — тонким голосом деловито спрашивает Мишка.

— В два часа.

— Трудно-с!

— Чего там — трудно!

— Позвольте парочку пива-с!

— Валяй, — говорит хозяин и хвастается: — Вы не думайте, что он натошак, нет, он поутру фунта два калача смял, да в полдень обедал, как полагается...

Приносят ветчину, собираются зрители, всё матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири; люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.

Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.

Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту, — губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, — и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.

— Начал!

— Глядите на часы!

Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:

— Чисто — медведь мнет!

— А ты видал медведя за едой?

— Али я в лесу живу? Это говорится так — жрет, как медведь.

— Говорится — как свинья.

— Свинья свинью не ест...

Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:

— Свинья все жрет — и поросят и свою сестру...

Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, прова-

лившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжело, но его подбородок двигается все так же равномерно.

— Навались, Михайло, время! — поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, все чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:

— Не перевел бы часы-то он назад — возьмите у него!

— За Мишкой следи: не спускал бы в рукава кусков!

— Не сожрет в срок!

Мишкин хозяин задорно кричит:

— Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!

Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.

А Мишка все жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:

«Помилуйте...»

Или — заглотается мясом по горло, ткнется головою в ноги зрителям и умрет.

Наконец он все съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:

— Испить дайте...

А его хозяин, глядя на часы, ворчит:

— Опоздал, подлец, на четыре минуты...

Публика дразнит его:

— Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!

— А все-таки зверь-парень!

— Н-да, его бы в цирк...

— Ведь как господь может изуродовать человека, а?

— Айдайте чай пить, что ли?

И плывут, как баржи, в трактир.

Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых, чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их?

Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валяным сапогом, шорным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича; неуклюже толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжелой сетью своих уродливых узоров.

По панели не спеша идут пешеходы; по улице не торопясь двигаются извозчики, сани с товаром; за улицей в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок, — площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным, истоптанным снегом.

Все это, вместе с людьми, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь, что эта жизнь — почти беззвучна, до немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя, они однообразны, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их.

Похоронно гудят колокола церквей, — этот унылый звон всегда в памяти уха; кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений.

Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.

Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой, жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок.

Зимою торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настоящего, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся — спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу: мы — живы!

Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.

Иногда я беседую об этом с Петром Васильевым. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно.

— Не нравится мне, как живут купцы, — говорю я.

Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает:

— А откуда бы тебе знать, как они живут? Али ты в гости часто ходишь к ним? Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то — прошел по ней скоренько да и — опять домой! На улицу люди выходят одетые, а под

одежей не знать, каковы они есть; открыто человек живет у себя дома, в своих четырех стенах, а как он там живет — это тебе неизвестно!

— Да ведь мысли-то у него одни, что здесь, что дома?

— А кто может знать, какие у соседа мысли? — строго округляя глаза, говорит старик веским баском. — Мысли — как воши, их не сочтешь, — сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падет на колени да и заплачет, бога умоляя: «Прости, господи, согрешил во святой день твой!» Может, дом-то для него — монастырь и живет он там только с богом одним? Так-то вот! Каждый паучок знай свой уголок, плети паутину да умей понять свой вес, чтобы выдержала тебя...

Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны.

— Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе — рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами! Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум — для дела, а для души — вера! Что книги читаешь — это хорошо, а во всем надо знать меру: некоторые зачитываются и до безумства и до безбожия...

Он казался мне бессмертным, — трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках и фальшивомонетчиках, которые становились именитыми людьми; я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начетчика. Но смысл рассказов был одинаков: богатство всегда добывалось грехом против людей и бога. Петр Васильев людей не жалел, а о боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза.

— Так вот и обманывают бога-то, а он, батюшко Иисус, все видит и плачет: люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован!

Раз я осмелился напомнить ему:

— Ведь вы тоже обманываете мужиков...

Это его не обидело.

— Велико ли мое дело? — сказал он. — Слизну трешницу, пятишницу — вот и вся недолга.

Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивал о прочитанном и, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику:

— Ты гляди-ка, — понимает книги-то, шельмец!

И толково, памятно поучал:

— Слушай слова мои, это тебе годится! Кириллов — двое было, оба — епископы; один — александрийской, другой — ерусалимской. Первый ратоборствовал супроти окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что-де богородица — человек есть, а посему — не имела бога родить, но родила человека же,

именем и делами Христа, сиречь — спасителя миру; стало быть, надо ее называть не богородица, а христородица, — понял? Это названо — ересь! Ерусалимской же Кирилл боролся против Ария-еретика...

Меня очень восхищало его знание церковной истории, а он, потрепывая бороду холеной поповской рукой, хвастался:

— Я на этом деле — генерал; я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными никонианами, попами и светскими; я, малый, даже с профессорами беседы водил, да! Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажно кровь носом пошла, — вот как!

Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветали.

Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в золотом венце славы своей и рассказывал об этом сладострастно:

— Кра-асивый попище, здоровенный! Стоит он пред ана-лоем, а из носу-то кап, кап! И не видит сраму своего. Лют был поп, аки лев пустынный, голосище — колокол! А я его тихонько, да все в душу, да между ребер ей словами-то своими, как шиль-ями!.. Он же прямо, как печь жаркая, накаляется злобой ерети-ческой... Эх, бывали дела-а!

Нередко приходили еще начетчики: Пахомий, человек с боль-шим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий; Лукиан, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, ико-ны, кадильницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов — старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны нико-нианской церкви: там — сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут — полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова — полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, — слова, по-стоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал все плохое, что видел в этих учителях жизни, чув-ствовал только их спокойное упорство, за которым — мне ка-

залось — скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство — пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, не способна развиваться в направлении к будущему, и, когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они не без удовольствия и с великим самолюбованием готовы пострадать, — это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, — промасленная всякой грязью, она только поэтому мало доступна разрушающей работе времени. Мысль и чувства привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке — одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры — фосфорический блеск гниения.

Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, — они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами; все они жили осторожно, все прятались.

Однако я видел, что, жалуясь на «утеснение духа» никонниками, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга.

Кривой Пахомий, выпивши, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью, — некоторые книги он знал «с пальца», — как еврей-ешиботник знает Талмуд, — ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть, мягоньким гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегаёт по

полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышецкого «Виноград Российский», — он особенно хорошо знал «многоотпеливые и многомужественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев», а Петр Васильев все старался поймать его на ошибках.

— Врешь! Это не с Киприаном Благоюродивым было, а с Денисом Целомудрым.

— Какой еще Денис? Дионисий речется...

— Ты за слово не цепляйся!

— А ты меня не учи!

Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят:

— Чревоугодник ты, бесстыжая рожа, вон какое чрево наел...

Пахомий отвечает, точно на счетах считая:

— А ты — любострастник, козел, бабий прихвостень.

Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек:

— Та-ак его! А ну-ка, еще!

Однажды старцы подрались. Петр Васильев, с неожиданной ловкостью отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство и, устало отирая пот с лица, крикнул вслед бегущему:

— Смотри — это на тебя грех ляжет! Ты, окаянный, длань мою во грех-то ввел, тьфу тебе!

Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостойно тверды верой и все впадают в «нетовщину».

— Это все Алексаша вас смущает, — какой ведь петух запел!

Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его, но на вопрос: в чем суть этого учения? — он отвечал не очень вразумительно:

— Нетовщина — еретичество самое горькое, в нем — один разум, а бога нет! Вон в козаках, чу, ничего уж и не почитаю, кроме Библии, а Библия — это от немцев саратовских, от Лютора, о коем сказано: «Имя себе прилично сочета: воистину бо — Лютор, иже лют глаголется, лютее бо, любо люто!» Называются нетовцы шалопутами, а также штундой, и все это — от Запада, от тамошних еретиков.

Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско:

— Вот кого новообрядствующей-то церкви надо гнать, вот кого зорить да жечь! А не нас, мы — искони Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера, а это все — Запад, искаженное вольнодумство! От немцев, от французов — какое добро? Вон они в двенадцатом-то году...

Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка, крепкой

рукою брал меня за кушак и, то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо:

— Блуждает разум человек в дебрях вымыслов своих, подобно лютému волку блуждает он, дьяволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, божий дар! Что выдумали, бесовы послушники? Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили: сатана-де суть сын господень, старшой брат Исуса Христа, — вот куда доходили! Учили также: начальство — не слушать, работу — не работать, жен, детей — бросить; ничего-де человеку не надо, никакого порядка, а пускай человек живет как хочет, как ему бес укажет. Вон опять явился Алексашка этот, о, черви...

Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать, я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя:

— О, бескрылые души, о, котята слепорожденные, — камо бегу от вас?

И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее, серое небо.

Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково; заставляя меня за книгой, гладил по плечу и говорил:

— Читай, малый, читай, годится! Умишко у тебя будто есть; жаль — старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб, ты думаешь — это озорство куда тебя приведет? Это, малый, приведет тебя не куда иначе, как в арестантские роты. Книги — читай, однако помни — книга книгой, а своим мозгом двигай! Вон у хлыстов был наставник Данило, так он дошел до мысли, что-де ни старые, ни новые книги не нужны, собрал их в куль да — в воду! Да... Это, конечно, тоже — глупость! Вот и Алексаша, песья голова, мутит...

Он все чаще вспоминал про этого Алексашу и однажды, придя в лавку озабоченный, суровый, объявил приказчику:

— Александра Васильев здесь, в городе, вчера прибыл! Искал, искал его — не нашел. Скрывается! Посижу, поди-ка заглянет сюда...

Приказчик недружелюбно отозвался:

— Я ничего не знаю, никого!

Кивнув головою, старик сказал:

— Так и следует: для тебя — все люди покупатели да продавцы, а иных нет! Угости-ка чайком...

Когда я принес большой медный чайник кипятку, в лавке оказались гости: старичок Лукиан, весело улыбавшийся, а за дверью, в темном уголке, сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валяные сапоги, подпоясанный зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень удручен этим.

Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил, строго и веско, а он судорожным движением правой руки все сдвигал шапку: подымет руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом — еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка Игошу Смерть в Кармане.

— Плавают в мутной нашей речке разные налимы и всё больше мутят воду-то,— говорил Петр Васильев.

Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил:

— Это ты — про меня, что ли?

— Хоть бы и про тебя...

Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно:

— Ну, а про себя как ты скажешь, человек?

— Про себя я только богу скажу — это мое дело...

— Нет, человек, и мое тоже,— сказал новый торжественно и сильно.— Не отвращай лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно, это есть великий грех перед богом и людьми!

Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком, и меня волновал его тихий, торжественный голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «господи, владыко живота моего», и все наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукою перед своим лицом...

— Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе...

— Закипел самовар, зафыркал,— пренебрежительно выговорил старый начетчик, а тот продолжал, не останавливаясь на его словах:

— Только богу известно, кто боле мутит источники духа святого, может, это — ваш грех, книжные, бумажные люди, а я не книжный, не бумажный, я — простой, живой человек...

— Знаю я простоту твою, слышал довольно!

— Это вы путаете людей, вы ломаете прямые-то мысли, вы, книжники и фарисеи... Я — что говорю, скажи?

— Ересь! — сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью перед лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил:

— Вы думаете: перегнав людей из одного хлева в другой,— лучше сделаете им? А я говорю — нет! Я говорю — освободись, человек! К чему дом, жена и все твое перед господом? Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга,— от золота, серебра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость! Не на полях земных спасение души, а в долинах райских! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушите сеть мира сего — это плетение антихристово... Я иду прямым путем, я не виляю душой, темного мира не приемлю...

— А хлеб, воду, одежду — приемлешь? Это ведь, гляди, мирское! — ехидно сказал старик.

Но и эти слова не коснулись Александра, он продолжал все более задушевно, и, хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу.

— Что дорого тебе, человек? Только бог един дорог; встань же пред ним — чистый ото всего, сорви путы земные с души твоей, и увидит господь: ты — один, он — один! Так приблизишься господу, это — един путь до него! Вот в чем спасение указано — отца-мать брось, указано, все брось и даже око, соблазняющее тебя, — вырви! Бога ради истреби себя в вещах и сохрани в духе, и воспылает душа твоя на веки и веки...

— Ну-ко тебя ко псам смердящим, — сказал Петр Васильев, вставая. — Я было думал, что ты с прошлого году-то умнее стал, а ты — хуже того...

Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу; это встревожило Александра, он удивленно и торопливо спросил:

— Уходишь? А... как же?

Но ласковый Лукиан, подмигнув успокоительно, проговорил:

— Ничего... ничего...

Тогда Александр опрокинулся на него:

— Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а — что толку? Ну — трегубая аллилуйя, ну — сугубая...

Лукиан улыбнулся ему и тоже пошел на террасу, а он, обращаясь к приказчику, сказал уверенно:

— Не могут они терпеть духа моего, не могут! Исчезают, яко дым от лица огня...

Приказчик взглянул на него исподлобья и сухо заметил:

— Я в эти дела не вникаю.

Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал:

— Как же можно не вникать? Это дела такие... они требуют, чтобы вникали...

Посидел с минуту молча, опустив голову; потом его позвали старики, и все трое они, не простясь, ушли.

Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи, ярко погорел и угас, заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни.

Вечером, выбрав время, я с жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому Ивану Ларионовичу; он выслушал меня и объяснил:

— Бегун, видно, это есть такие сектари — не признают ничего.

— Как же они живут?

— В бегах живут, всё странствуют по земле, затем и дано им

нарицание — бегуны. Земля и все прилагаемое к ней — чужое для нас, говорят они, а полиция считает их вредными, ловит...

Хотя мне жилось горько, но я не понимал: как это можно бежать ото всего? В жизни, окружавшей меня тою порой, было много интересного, дорогого мне, и скоро Александр Васильев поблек в моей памяти.

Но время от времени, в тяжелые часы, он являлся предо мною: идет полем, по серой дороге, к лесу, толкает шапку судорожным движением белой, нерабочей руки и бормочет:

— Я иду путем правильным, я ничего не приемлю! Связки-те, веревки-те порви...

Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне: с палочкой ореховой в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком...

XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух — в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иными — по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстёры; все сидят в ситцевых рубашках с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная владимирская песня:

Какой нынче стал бессовестный народ —
При народе мальчик девочку прельстил...

Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту — чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горноста по рисунку иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окном стучит молоточком чеканщик Гоголев — пьяный старик, с огромным синим носом; в

ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка — словно червь точит дерево.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.

Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног, — только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, что должно оживить их, — нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шелковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника — такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.

Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко сцепив зубы, прищутив сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу:

— Бей!

Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенцами, он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений — вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам, тихо и деловито:

— Вынести его в сени, пусть отрезвеет...

Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке.

— Убить его трудно,— сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.

Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

— Ты, Капендюхин, называешься — живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки — чужие к ним. Да и неверно поставлены — один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:

— Эх, Ив-ан Ларионыч, отец,— не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня — в монахи!

— Усердием всякое дело можно одолеть.

— Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых
Темно-карих лошадей,
Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо — ой, прямо к любушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее.

По привычке — кони знают,
Где су-дарушка живет...

Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведет подголосье.

Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью,

живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук,— он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай все!» — все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям:

«Я люблю вас!»

Чахоточный желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Веселые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Александра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковные, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце черных, курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разны: левый — заметно больше правого.

— Пашка! — кричал он тенором моему товарищу, ученику, — ну-ка, заведи: «Хвалите!» Народ, прислушайся!

Вытирая руки о передник, Пашка заводил:

— «Хва-алите...»

— «...и-имя господне», — подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:

— Евгений — ниже! Опустит голос в самые недра души...

Ситанов глухо, точно в бочку бьет, взывает:

— «Р-раби господа...»

— Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!

Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении, его уди-

вительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях.

— Рабы господа — понимаешь? — многозначительно говорит он. — Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не понимаете?

— Это у нас никогда не выходит, как вам известно, — вежливо говорит Ситанов.

— Ну, оставим!

Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, — он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон — Феодоровской, Смоленской, Казанской и других — проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:

— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам — ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству — этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще — невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный.

Вдруг он говорит, четко и обиженно:

— Предтеча — что такое? Течь, по-древнему, значит — идти. Предтеча — предшественник, а — не иное что...

В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:

— Его надо не в овчине писать, а с крыльями...

— Ты — с кем говоришь? — спрашивают его.

Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом — снова падают в ожидающую тишину его слова:

— Жития надо знать, а кто их знает — жития? Что мы знаем? Живем без окрыления... Где — душа? Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет...

Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки; почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:

— В субботу — запьет...

Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол.

Помню, закончив копию Феодоровской божией матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал, громко, взволнованно:

— Кончена матушка! Яко чаша ты,— чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слезы мира людского...

И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел — в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил:

— Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость — не всем доступна...

Запой Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового; начиналось это так: утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу:

— Я сегодня — в баню!

— Надолго ли?

— Ну, господи...

— Уж, пожалуйста, не позже, как до вторника!

Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали.

Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу:

— К вечеру приберите мастерскую почище; большой стол вымыть, выскоблить!

У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали; после ужина являлся Жихарев, с кульками закусок, с пивом и вином, а за ним — женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков двенадцати сверх двух аршин, все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов — подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорок лет, но круглое, неподвижное лицо ее, с огромными глазами лошади, свежо и гладко, маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую, теплую ладонь и говорила ненужные слова:

— Здравствуйте. Морозно сегодня. Как у вас густо пахнет. Это краской пахнет. Здравствуйте.

Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полно-

водная река, приятно, но в речах ее — что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки.

Молодежь, ухмыляясь, шепчется:

— Вот так машина!

— Колокольня!

Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол, к самовару, и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз.

Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее, — смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гостье, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко.

— Да вы не беспокойтесь, — сладко тянет она, — какой вы беспокойный, право!

Сама она живет не спеша, руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба.

Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины — точно дьячок акафист читает, она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах — она говорит о себе:

— А в девицах мы вовсе некрасивой были, это все от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались, один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали...

Капендюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает:

— Это — за что же обещал?

— За любовь нашу, конечно, — объясняет гостья.

— Любовь, — бормочет Капендюхин, смущаясь, — какая там любовь?

— Вы, такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь, — говорит женщина просто.

Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капендюхину:

— Дура, коли не хуже! Эдакую можно любить только от великой тоски, как всем известно...

Он бледнеет от вина, на висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом,тирает слезы с глаз пальцами и спрашивает:

— Деток у тебя сколько было?

— Дитя у нас было одно...

Над столом висит лампа, за углом печи — другая. Они дают

мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на месте рук и голов, чудится жуткое,— больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стекланные шары подняты к самому потолку, висят там на крючках, в облаке дыма, и синевато поблескивают.

Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая, его лысый череп склоняется то к тому, то к другому, тонкие пальцы все время играют. Он похудел, хищный нос его стал острее; когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа.

— Пейте, ешьте, друзья,— говорит он звонким тенором.

А женщина поет хозяйственно:

— Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит; больше того, сколько хочется,— никто не может съесть!

— Отдыхай, народ! — возбужденно кричит Жихарев.— Друзья мои, все мы — рабы божие, давайте споем «Хвалите имя»...

Песнопение не удастся; все уже размякли, опьянев от еды и водки. В руках Капендюхина — двухрядная гармония, молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики.

— Р-русскую! — командует Жихарев.— Кумушка, пожалуйста!

— Ах,— вздыхает женщина, вставая,— как вы беспокоитесь!

Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове.

Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий; это неприятно слышать: точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену.

Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами, притопывает каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом и все не в такт разымчивой музыке. Ноги у него — точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети,— это невесело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым, и — сурово хмурится; вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а открыв их,— стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, под-

няв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно:

— Устанете вы, куманек!

Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, объемом в трехкопеечную монету, не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение.

Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бок — это делает ее похожей на огромный кувшин.

А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо, — кажется, что пляшет не один, а десять человек, все разные: один — тихий, покорный; другой — сердитый, пугающий; третий — сам чего-то боится и, тихонько охая, хочет незаметно уйти от большой, неприятной женщины. Вот явился еще один — оскалил зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние, будит нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах.

В памяти тихие слова Сидорова:

«В этом деле все — врут, это уж такое дело — стыдно всем, никто никого не любит, а просто — баловство...»

Я не хочу верить, что «все врут в этом деле», — как же тогда Королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил «гулящую» девицу, а она заразила его постыдной болезнью, но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно.

Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком; Жихарев судорожно прыгает вокруг нее, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней.

Безликие иконы смотрят с темных стен, к стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской; прислушаешься, и — среди тяжелого топота, в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями.

Как все это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах! Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало скучно. Капендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит:

— Делай! С дымом!

Он пляшет, как Ванька Цыган, — точно по воздуху летает; потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин; чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли,

дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет плохо дубленой кожей.

Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он — веселится, все точно экзамен сдают друг другу, — экзамен на ловкость и неутомимость.

Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого:

— Разве можно любить такую женщину, а?

Кажется, что он сейчас заплачет.

Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему:

— Женщина как женщина, — чего тебе надо?

Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой.

— Ушли? — спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными, синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза — ясные и добрые.

Ситанов относится ко мне дружески, — этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять — кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, — все крестятся, ложась спать — молятся, ходят в церковь по праздникам.

Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.

— Бога нет, — говорит он.

— Откуда же всё?

— Не знаю...

Когда я спросил его: как же это — бога нет? — он объяснил:

— Видишь ли: Бог — Высота!

И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал:

— Человек — Низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию божью», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?

Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана; я вспоминаю вятского солдата Ермохина, сестру бабушки, — что в них богоподобного?

— Люди — свиньи, как это известно, — говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:

— Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!

С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:

— Не знаю, об этом не думал!

Это — тоже необыкновенно: до встреч с ним я видел только людей, которые всё знали, обо всем говорили.

Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гаврилиаду», списанную в его тетрадке...

— Пушкин — что? Просто — шутник, а вот Бенедиктов — это, Максимыч, стоит внимания!

И, закрыв глаза, тихонько читал:

Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь...

И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:

Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти — и в сердце заглянуть...

— Понимаешь?

Мне очень неловко было сознаться, что — не понимаю я, чему он радуется.

XIV

Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место — рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

— Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуге, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

— А русских там много? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь — за Уралом.

— Судаков-то уральских и осетров откуда привозят, с Каспийского моря? Значит — Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия — за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицинского, «Иван Выжигин» Булгарина, томик барона Брамбеуса; я прочитал все это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал:

— Чтение отменяет ссоры и шум — это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары — белые, холодные звезды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки не похоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

— С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят и в первый раз окна на волю откроют, — сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрился и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул

в книгу, потом — в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

— Тише, братцы,— сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

— Читай, читай,— сказал Жихарев, наклоня мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув под мышку себе, объявил:

— Это надо еще раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

— Вот это — житие, рабы божие... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

— Дэймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о Демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

— Это все правда! — утверждал он. — Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, Демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять — бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Ситанов сказал:

Кочующие караваны

В пространстве брошенных светил...

— этого не выдумаешь!

— Я никаких слов не помню,— заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде.— Ничего не помню, я его — вижу! Удиви-

тельно это — человек заставил черта пожалеть? Ведь жалко его, а?

— Жалко,— согласился Ситанов.

— Вот что значит — человек! — памятно воскликнул Жихарев.

В сенях он предупредил меня:

— Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конечно, запрещенная!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

— Ну-ка, еще раз прочитай это! Пореже, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

— Это — житие! Ах, Демон, Демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

— Спишу себе в тетрадь...

Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

— Живем, как слепые щенята, что к чему — не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господа? Иов — раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем тоже! Моисею он даже имя дал: Мой-сей, значит — богов человек. А мы чьи?..

Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:

— Идешь в трактир?

— Я к своей пойду,— тихо ответил Ситанов.

Когда они ушли, я лег у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.

— Ты что?

— Жалко мне всех до смерти,— сказал он,— я ведь четвертый год с ними живу, всех знаю...

Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шепотом беседуя о них, находя в каждом добрые, хорошие черты и во всех что-то, что еще более усугубляло нашу ребячью жалость.

Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его ненадолго хватило, к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер

в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей бестолково погибли на моем веку! Все люди изнашиваются и — погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...

Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня; бойкий, умненький и честный, он был даровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми. Ситанова — печальным куликом на одной ноге, Жихарева — петухом, с оторванным гребнем, без перьев на темени, больного Давидова — жуткой пигалицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого темного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи на зерна чечевицы и стояли поперек глаз, — это давало лицу живое и очень гнусное выражение.

Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызвала неприятное впечатление, и художнику строго советовали:

— Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибет тебя!

Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив, неугасимо зол и ябедничал на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.

Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:

— Попадет вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!

Кузька-жучок — это прозвище приказчика, данное ему мастерской.

Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был все-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; избьет, а потом пожалуется хозяйке.

Она — тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, веселая — старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:

— Опять вы, беси, озорничаете? Он — старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина — фотогену налил?

— Это мы...

Хозяйка удивлялась:

— А, батюшки, да они еще и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!

Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:

— Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и — такое озорство, а? Гляди, брат!

Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало, напьется сладких наливок, сядет у окна и поет:

Никто меня не пожалеёт,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моей не знает,
Кому скажу мою печаль!

И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:

— Ю-у-у...

Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топленого молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги ее подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплескивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:

— Что ты, леший? Куда ты?

Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а, отягченная сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.

— Вот, — говорил Ситанов, задумчиво хмурясь, — было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь все хинью идет, все в Кузькины лапы напавилось! Работали-работали, а все на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка — ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...

Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приемами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.

В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел

в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звезды зимнего неба.

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлебываясь словами, на полатах выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем «рабы божии» Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.

— До чего же мне жалко всех! — шепчет Павел. — Господи!

Эта жалость к людям и меня все более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь — была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних выюг, когда все на земле — дома, деревья — тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжелой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них все живое, вытаскивая в кабак, к женщинам, которые служили таким же средством забыться, как водка.

В такие вечера — книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полаты к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика — хохотала.

Ей особенно нравилась легенда о китайском черте Цинги Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного черта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — все остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский черт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить ее смеяться, — эта легкость неприятно задевала меня.

— Ах, паяцы! — кричали нам. — Ах, супостаты!

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Веселье у нас никогда не живет и не ценится само по себе, а его нарочито поднимают из-под спуда как средство умерить русскую сонную тоску. Подозрительна внутренняя сила веселья, которое живет не само по себе, не потому, что хочет, просто — хочет жить, а является только по вызову печальных дней.

И слишком часто русское веселье неожиданно и неуволимо переходит в жестокую драку. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего

зверя, в звериной тоске бросается на всех и все рвет, грызет, сокрушает...

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбужденный, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии,— уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую мне как будто удавалось поколебать, снова медленно густела и крепла, пригнетая людей.

Серый Ларионыч ласково говорил:

— Ну, и забавник ты, господь с тобой!

— Утешитель,— поддерживал его Жихарев.— Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-ороший паяц!

Изо всей мастерской в театр ходили, на святках и на масленице, только двое — Капендюхин и Ситанов; старшие мастера серьезно советовали им смыть этот грех купаньем в крещенской проруби на иордани. Ситанов особенно часто убеждал меня:

— Брось все, учись на актера!

И, волнуясь, рассказывал печальную «Жизнь актера Яковлева».

— Вот что может быть!

Он любил рассказывать о королеве Марии Стюарт, называя ее «шельмой», а особенно восхищался «Испанским дворянином».

— Дон Сезар де Базан — это, Максимыч, благороднейший человек! Удивительный!

В нем самом было что-то от «Испанского дворянина»: однажды на площади перед каланчой трое пожарных, забавляясь, били мужика; толпа людей, человек в сорок, смотрела на избиение и похваливала солдат. Ситанов бросился в драку, хлесткими ударами длинных рук посшибал пожарных, поднял мужика и сунул его к людям, крикнув:

— Уведите!

А сам остался, один против троих; пожарный двор был в десятке шагов, солдаты могли позвать помощь и Ситанова избили бы, но, на его счастье, пожарные, испугавшись, убежали во двор.

— Собаки! — крикнул он вслед им.

По воскресеньям молодежь ходила на кулачные бои к лесным дворам за Петропавловским кладбищем, куда собирались драться против рабочих ассенизационного обоза и мужиков из окрестных деревень. Обоз ставил против города знаменитого бойца — мордвина, великана, с маленькой головой и большими глазами, всегда в слезах. Вытирая слезы грязным рукавом короткого кафтана, он стоял впереди своих, широко расставя ноги, и добродушно вызывал:

— Выходите, что ли, а то — зябко!

Против него с нашей стороны выступал Капендюхин, и всегда мордвин бил его. Но, окровавленный, задыхающийся, казак упрямо твердил:

— Жив быть не хочу, а — одолею мордву!

Это, наконец, стало целью его жизни, он даже отказался пить водку, перед сном вытирал тело снегом, ел много мяса и, развивая мускулы, каждый вечер многократно крестился двухпудовой гирей. Но и это не помогало ему. Тогда он зашил в рукавицы куски свинца и похвастался Ситанову:

— Теперь — конец мордве!

Ситанов строго предупредил его:

— Брось, а то я тебя выдам перед боем!

Капендюхин не поверил ему, но когда пришли на бой, Ситанов вдруг сказал мордвину:

— Отступись, Василий Иванович, сначала я с Капендюхиным схвачусь!

Казак побагровел и заорал:

— Я с тобой не буду, уйди!

— Будешь, — сказал Ситанов и пошел на него, глядя в лицо казака пригибающим взглядом. Капендюхин затоптался на месте, сорвал рукавицы с рук, сунул их за пазуху и быстро ушел с боя.

И наша и вражья сторона были неприятно удивлены, какой-то почтенный человек сказал Ситанову сердито:

— Это, братец мой, вовсе не закон, чтобы домашние дела на мирском бою решать!

На Ситанова лезли со всех сторон, ругая его, он долго молчал, но наконец сказал почтенному человеку:

— А ежели я убийство отвел?

Почтенный человек сразу догадался и даже снял картуз, говоря:

— Тогда с нашей стороны тебе — благодарность!

— Только ты, дядя, не звони!

— Зачем? Капендюхин — редкий боец, а неудачи злят человека, мы понимаем! А рукавички его теперь смотреть станем перед боем-то.

— Ваше дело!

Когда почтенный человек отошел, наша сторона стала ругать Ситанова:

— Дернуло тебя, оглобля! Побил бы казак-то, а теперь вот мы будем битыми ходить...

Ругали долго, привязчиво, с удовольствием.

Ситанов вздохнул и сказал:

— Эх вы, шантрапа...

И неожиданно для всех вызвал мордвина на единоборство —

тот встал в позицию, весело помахивая кулаками и балагуря:

— Побьемся, погреемся...

Несколько человек, схватившись за руки, опрокинулись спинами на тех, кто сзади, — образовался широкий, просторный круг.

Бойцы, зорко присматриваясь друг ко другу, переминались, правые руки вперед, левые — у груди. Опытные люди тотчас заметили, что у Ситанова рука длиннее, чем у мордвина. Стало тихо, похрустывал снег под ногами бойцов. Кто-то не выдержал напряжения, пробормотал жалобно и жадно:

— Начинали бы уж...

Ситанов замахнулся правой рукой, мордвин приподнял левую для защиты и получил прямой удар под ложечку левой рукою Ситанова, крикнул, отступил и с удовольствием сказал:

— Молодой, а не дурак!

Они начали прыгать друг на друга, с размаха бросая в грудь один другому тяжелые кулаки; через несколько минут и свои и чужие возбужденно кричали:

— Прытче, богомаз! Расписывай его, чекань!

Мордвин был много сильнее Ситанова, но значительно тяжелей его, он не мог бить так быстро и получал два и три удара за один. Но битое тело мордвина, видимо, не очень страдало, он все ухал, посмеивался и вдруг, тяжким ударом вверх, под мышку — вышиб правую руку Ситанова из плеча.

— Разводи — ничья! — крикнуло сразу несколько голосов, и, сломав круг, люди развели бойцов.

Мордвин добродушно говорил:

— Не велико силен, а ловок, богомаз! Хороший боец будет, это я говорю на весь народ.

Подростки начали общий бой, а я повел Ситанова к фельдшеру-костоправу; его поступок еще больше возвысил его в моих глазах, увеличил симпатию и уважение к нему.

Он был вообще очень правдив, честен и считал это как бы должностью своей, но размашистый Капендюхин ловко подсмеивался над ним:

— Эх, Женя, напоказ живешь! Начистил душу, как самовар перед праздником, и хвастаешься — вот светло блестит! А душа у тебя — медная, и очень скучно с тобой...

Ситанов спокойно молчал, усердно работая или списывая в тетрадку стихи Лермонтова; на это списывание он тратил все свое свободное время, а когда я предложил ему: «Ведь у вас деньги-то есть, вы бы купили книгу!» — он ответил:

— Нет, лучше списать своей рукой!

Написав страницу красивым мелким почерком, с фигурными росчерками, ожидая, когда высохнут чернила, он тихонько читал:

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю будешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты...

И говорил, зажмурив глаза:

— Это — правда! Эх, и здорово он правду знает!

Меня очень удивляли отношения Ситанова с Капендюхиным — выпивши, казак всегда лез драться к товарищу, Ситанов долго уговаривал его:

— Отстань! Не лезь...

А потом начинал жестоко бить пьяного, так жестоко, что мастера, относившиеся к междоусобным дракам как к зрелищу, ввязывались в эту драку и разводили друзей.

— Не останови Евгенья вовремя — до смерти убьет и себя не пожалеет, — говорили они.

Трезвый, Капендюхин тоже неумоимо издевался над Ситановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчастный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. Ситанов слушал издевки казака молча, безобидно, а иногда даже сам смеялся вместе с Капендюхиным.

Спали они рядом и по ночам долго шепотом беседовали о чем-то.

Эти беседы не давали мне покоя — хотелось знать, о чем могут дружески говорить люди, так не похожие один на другого? Но, когда я подходил к ним, казак ворчал:

— Тебе чего надо?

А Ситанов точно не видел меня.

Но однажды они позвали меня, и казак спросил:

— Максимыч, ежели бы ты был богат, что бы сделал?

— Книг купил бы.

— А еще?

— Не знаю.

— Эх, — с досадой отвернулся от меня Капендюхин, а Ситанов спокойно сказал:

— Видишь — никто не знает, ни старый, ни малый! Я тебе говорю: и богатство само по себе — ни к чему! Все требует какого-нибудь приложения...

Я спросил:

— О чем вы говорите?

— Спать неохота, вот и говорим, — ответил казак.

Позднее, прислушиваясь к их беседам, я узнал, что они говорят по ночам о том же, о чем люди любят говорить и днем: о боге, правде, счастье, о глупости и хитрости женщин, о жадности богатых и о том, что вся жизнь запутана, непонятна.

Я всегда слушал эти разговоры с жадностью, они меня волновали, мне нравилось, что почти все люди говорят одинаково: жизнь — плоха, надо жить лучше! Но в то же время я видел, что желание жить лучше ни к чему не обязывает, ничего не изменяет в жизни мастерской, в отношениях мастеров друг к другу. Все эти речи, освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то унылую пустоту, и в этой пустоте, точно соринки в воде пруда при ветре, бестолково и раздраженно плавают люди, те самые, которые говорят, что такая толкотня бессмысленна и обижает их.

Рассуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, каялись, хвастались и, возбуждая злые ссоры из-за пустяков, крепко обижали друг друга. Пытались догадаться о том, что будет с ними после смерти, а у порога мастерской, где стоял ушат для помоев, прогнила половица, из-под пола в эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло холодом, запахом прокисшей земли, от этого мерзли ноги; мы с Павлом затыкали эту дыру сеном и тряпками. Часто говорили о том, что надо переменить половицу, а дыра становилась все шире, во дни вьюг из нее садило, как из трубы, люди простуживались, кашляли. Жестяной вертун форточки отвратительно визжал, его похабно ругали, а когда я его смазал маслом, Жихарев, прислушавшись, сказал:

— Не визжит форточка, и — стало скушней!

Приходя из бани, ложились в пыльные и грязные постели — грязь и скверные запахи вообще никого не возмущали. Было множество дрянных мелочей, которые мешали жить, их можно было легко извести, но никто не делал этого.

Часто говорили:

— Никто людей не жалеет, ни бог, ни сами себя...

Но когда мы, я и Павел, вымыли изъеденного грязью и насекомыми, умирающего Давидова, нас подняли на смех, снимали с себя рубахи, предлагая нам обыскать их, называли банщиками и вообще издевались так, как будто мы сделали что-то позорное и очень смешное.

С Рождества вплоть до великого поста Давидов лежал на полатах, затяжно кашляя, плевал вниз шматками пахучей крови, не попадая в ушат с помоями, кровь шлепалась на пол; по ночам он будил людей бредовыми криками.

Почти каждый день говорили:

— Надо бы его в больницу свезти!

Но сначала у Давидова оказался просроченным паспорт, потом ему стало лучше, а под конец решили:

— Все равно скоро умрет!

Он и сам обещал:

— Я — скоро!

Он был тихий юморист и тоже всегда старался разогнать злую

скуку мастерской шуточками,— свесит вниз темное, костлявое лицо и свистящим голосом возглашает:

— Народ, слушай голос вознесенного на полати...
И складно говорил грустную чепуху:

На полатях я живу,
Просыпаюсь рано,
И во сне и наяву
Едят меня тараканы...

— Не унывает! — восхищалась публика.

Иногда я с Павлом забирался к нему,— он шутил натужно:

— Чем потчевать, дорогие гости? Паучка свеженького — не желаете?

Умирал он медленно, и это очень надоело ему; он говорил с искренней досадой:

— Никак не могу помереть, просто беда!

Его бесстрашие перед смертью очень пугало Павла, он будил меня по ночам и шептал:

— Максимыч, кажись, помер он... Вот помрет ночью, а мы будем лежать под ним, ах, господи! Боюсь я покойников...

Или говорил:

— Ну, что жил, зачем? Двадцать лет не минуло, а уж умирает...

Однажды, лунною ночью, он разбудил меня и, глядя испуганно вытаращенными глазами, сказал:

— Слушай!

На полатях хрипел Давидов, торопливо и четко говоря:

— Дай-ко сюда, да-ай...

Потом начал икать.

— Умирает, ей-богу, вот увидишь! — волновался Павел.

Я весь день возил на себе снег со двора в поле, очень устал, мне хотелось спать, но Павел просил меня:

— Не спи, пожалуйста, Христа ради, не спи!

И вдруг, вскочив на колени, неистово закричал:

— Вставайте, Давидов помер!

Кое-кто проснулся, с постелей поднялось несколько фигур, раздались сердитые вопросы.

Капендюхин влез на полати и удивленно сказал:

— В сам-деле умер будто... хоша — тепленький...

Стало тихо. Жихарев перекрестился и, кутаясь в одеяло, сказал:

— Ну, что ж, царство ему небесное!

Кто-то предложил:

— В сени бы его вынести...

Капендюхин слез с полатей, поглядел в окно.
— Пускай полежит до утра, он и живой не мешал никому...
Павел, спрятав голову под подушку, рыдал.
А Ситанов — не проснулся.

XV

Таяли снега в поле, таяли облака в небе, падая на землю мокрым снегом и дождем; все медленнее проходило солнце свой дневной путь, теплее становился воздух, казалось, что пришло уже весеннее веселье, шутливо прячется где-то за городом в полях и скоро хлынет на город. На улицах — рыжая грязь, около панелей бегут ручьи, на проталинах Арестантской площади весело прыгают воробьи. И в людях заметна воробьиная суетливость. Над весенним шумом, почти непрерывно с утра до вечера, течет великопостный звон, покачивая сердце мягкими толчками, — в этом звоне, как в речах старика, скрыто нечто обиженное, кажется, что колокола обо всем говорят с холодным унынием:

«Было-о, было это, было-о...»

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия — божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

— Кто ты есть? — говорил он, играя пальцами, приподняв брови. — Не больше как мальчишка, сирота, тринадцати годов от роду, а я — старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабах божьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, неясна была. Он говорил скучно, мастерская посмеивалась над ним, я стоял с иконою в руках, очень тронутый и смущенный, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досадливо крикнул оратору:

— Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели. Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

— Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня, — вот что хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать — трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково высмеивая мое смущение, еще немножко — и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей. А как раз в это утро в лавке приказчик сказал Петру Васильеву, кивая на меня головой:

— Неприятный мальчишка и ни к чему не способный!

Как всегда, я с утра ушел в лавку, но после полудня приказчик сказал мне:

— Иди домой, свали снег с крыши амбара и набивай погреб...

О том, что я именинник, он не знал; я был уверен, что и никто не знает об этом. Когда кончилась церемония поздравлений в мастерской, я переоделся, убежал на двор и залез на крышу сарая сбрасывать плотный, тяжелый снег, обильный в эту зиму. Но, взволнованный, я позабыл отворить дверь погреба и завалил ее снегом. Соскочив на землю и видя эту ошибку, я тотчас принялся откидывать снег от двери; сырой, он крепко слежался; деревянная лопата с трудом брала его, железной не было, и я сломал лопату как раз в тот момент, когда в калитке появился приказчик; оправдалась русская пословица: «За радостью горе по пятам ходит».

— Та-ак,— насмешливо сказал приказчик, подходя ко мне.— Эх ты, работник, черт бы тебя побрал! Вот хвачу тебя по безумной твоей башке...

Он замахнулся на меня стержнем лопаты, я отодвинулся и сказал сердито:

— Да ведь я не в дворники нанялся к вам...

Он швырнул палкой в ноги мне, я схватил ком снега и угодил ему в лицо; он убежал, фыркая, а я, бросив работу, ушел в мастерскую. Через несколько минут сверху сбежала его невеста, вертящая девица в прыщах на пустом лице.

— Максимыча наверх!

— Не пойду,— сказал я.

Ларионыч спросил тихо и удивленно:

— Как это — не пойдешь?

Я сообщил ему, в чем дело; озабоченно нахмурившись, он пошел наверх, сказав мне вполголоса:

— Экой ты, брат, дерзкой...

Мастерская загудела, поругивая приказчика; Капендюхин сказал:

— Ну, теперь тебя вышибут!

Это меня не пугало. Мои отношения с приказчиком давно уже стали невыносимы,— он ненавидел меня упрямо и все более остро, я тоже терпеть его не мог, но я хотел понять, почему он так нелепо относится ко мне.

Он разбрасывал по полу лавки серебряные монеты; подметая пол, я находил их и складывал на прилавке в чашку, где лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, что значат эти частые находки, я сказал приказчику:

— Вы напрасно подбрасываете мне деньги!

Он вспыхнул и неосторожно закричал:

— Не смей учить меня, я знаю, что делаю!

Но тотчас поправился:

— Как это — напрасно подбрасываю? Они сами падают...

Он запретил мне читать в лавке книги, сказав:

— Это не твоего ума дело! Что ты — в начетчики метишь, дармоед?

Он не прекращал своих попыток поймать меня двугривенными, и я понимал, что если в то время, как метешь пол, монета закатится в щель — он будет убежден, что я украл ее. Тогда я ему еще раз предложил оставить эту игру, но в тот же день, возвращаясь из трактира с кипятком, я услышал, как он внушает недавно нанятому приказчику соседа:

— Ты научи его Псалтырь украсть — скоро мы Псалтыри получим, три короба...

Я понял, что речь идет обо мне, — когда я вошел в лавку, они оба смутились, но, и кроме этого признака, у меня были основания подозревать их в дурацком заговоре против меня.

Приказчик соседа уже не в первый раз служил у него; он считался ловким торговцем, но страдал запоем; на время запоя хозяин прогонял его, а потом опять брал к себе этого худосочного и слабосильного человека с хитрыми глазами. Внешне кроткий, покорный каждому жесту хозяина, он всегда улыбался в бородку себе умненькой улыбочкой, любил сказать острое словцо, и от него исходил тот дрянной запах, который свойствен людям с гнилыми зубами, хотя зубы его были белы и крепки.

Однажды он меня страшно удивил: подошел ко мне, ласково улыбаясь, но вдруг сбил с меня шапку и схватил за волосы. Мы стали драться, с галереи он втолкнул меня в лавку и все старался повалить на большие киоты, стоявшие на полу, — если бы это удалось ему, я перебил бы стекла, поломал резьбу и, вероятно, поцарапал бы дорогие иконы. Он был очень слаб, и мне удалось одолеть его, но тогда, к великому изумлению моему, бородатый мужчина горько заплакал, сидя на полу и вытирая разбитый нос.

А на другое утро, когда наши хозяева ушли куда-то и мы были одни, он дружески сказал мне, растирая пальцем опухоль на переносье и под самым глазом:

— Думаешь — это я по своей воле и охоте навалился на тебя? Я — не дурак, я ведь знал, что ты меня побьешь, я человек слабый, пьющий. Это мне хозяин велел: дай, говорит, ему выволочку, да постарайся, чтоб он у себя в лавке побольше напортил во время драки, все-таки — убыток им! А сам я — не стал бы, вон ты как мне рожу-то изукрасил...

Я поверил ему, и мне стало жаль его, я знал, что он живет впроголодь, с женщиной, которая колотит его. Но я все-таки спросил его:

— А если тебя заставят отравить человека — отравишь?

— Он заставит, — сказал приказчик тихонько, с жалкой усмешечкой. — Он — может...

Вскоре после этого он спросил меня:

— Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего, баба — лается, стащи, друг, у себя в кладовой какую-нибудь иконку, а я продам ее, а? Стащи? А то — Псалтырь?

Я вспомнил магазин обуви, церковного сторожа, мне подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить Псалтырь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность «Уложения о наказаниях уголовных» очень ясно выдает эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности.

Когда я услышал, как мой приказчик внушает этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтырь, — я испугался. Было ясно, что мой приказчик знает, как я добр за его счет, и что приказчик соседа рассказал ему про икону.

Мерзость доброты на чужой счет и эта дрянная ловушка мне — все вместе вызывало у меня чувство негодования, отвращения к себе и ко всем. Несколько дней я жестоко мучился, ожидая, когда придут коробка с книгами; наконец они пришли, я разбираю их в кладовой, ко мне подходит приказчик соседа и просит дать ему Псалтырь.

Тогда я спрашиваю его:

— А ты сказал моему про икону?

— Сказал, — ответил он унылым голосом. — Я, брат, ничего не могу скрыть...

Это меня ошеломило, я сел на пол и вытаращил на него глаза, а он начал поспешно бормотать, сконфуженный, отчаянно жалкий:

— Видишь ли, твой сам догадался, то есть это мой хозяин догадался и сказал твоему...

Мне показалось, что я пропал, — подсидели меня эти люди, и теперь мне уготовано место в колонии для малолетних преступников! Когда так — все равно! Уж если тонуть, так на глубоком месте. Я сунул в руки приказчика Псалтырь, он спрятал его под пальто и пошел прочь, но тотчас повернулся, и — Псалтырь упал к моим ногам, а человек зашагал прочь, говоря:

— Не возьму! Пропадешь с тобой...

Я не понял этих слов, — почему со мной пропадешь? Но я был доволен тем, что он не взял книги. После этого мой маленький приказчик стал смотреть на меня еще более сердито и подозрительно.

Всё это я вспомнил, когда Ларионыч пошел наверх; он пробыл

там недолго и воротился еще более подавленно тихим, чем всегда, а перед ужином, с глазу на глаз, сказал мне:

— Хлопотал, чтоб тебя освободили от лавки, отдали бы в мастерскую. Не вышло это! Кузьма не хочет. Очень ты не по душе ему...

В доме у меня был тоже враг — невеста приказчика, чрезмерно игривая девица; с нею играла вся молодежь мастерской, поджидая ее в сенях, обнимая; она не обижалась на это, а только взвизгивала тихонько, как маленькая собачка. С утра до вечера она жевала, ее карманы всегда были набиты пряниками, лепешками, челюсти неустанно двигались, — смотреть на ее пустое лицо с беспокойными серенькими глазками было неприятно. Мне и Павлу она предлагала загадки, всегда скрывавшие какое-нибудь грубенькое бесстыдство, сообщала нам скороговорки, сливавшиеся в неприличное слово.

Однажды кто-то из пожилых мастеров сказал ей:

— А и бесстыдница ты, девушка!

Она бойко ответила словами зазорной песни:

Коли девушка стыдится,
Она в бабы не годится...

Я в первый раз видел такую девицу, она была противна мне и пугала меня, грубо заигрывая, а видя, что эти заигрывания не сладки для меня, становилась все назойливее.

Как-то раз, на погребке, когда я с Павлом помогал ей парить кадки из-под кваса и огурцов, она предложила нам:

— Хотите, мальчики, я вас научу целоваться?

— Я умею лучше тебя, — ответил ей Павел, смеясь, а я сказал ей, чтобы она шла целоваться к жениху, и сказал это не очень любезно. Она рассердилась.

— Ах, какой грубиян! Барышня с ним любезничает, а он нос воротит; скажите, фря какая!

И добавила, погрозив пальцем:

— Ну, погоди, я тебе это припомню!

Павел тоже сказал ей, поддерживая меня:

— Задаст тебе жених-то, коли узнает про твое озорство.

Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.

— Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, лучше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.

И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрел в ней неутомимую ябедницу.

В лавке становилось все труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начетчиков, — говорили они все об одном и том же. Только Петр Васильев по-

прежнему привлекал меня своим знанием темной человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.

Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах, он, благожелательно выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.

Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать меня:

— Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-козь мне записки-то эти, а?

Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а потом стал сердито шептаться с приказчиком.

Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:

— Ты какие-то записки делаешь — так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются только сыщики.

Я неосторожно спросил:

— А как же Ситанов? Он тоже записывает.

— Тоже? Дурак длинный...

Долго помолчав, он необычно мягко предложил:

— Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже — я тебе полтину дам! Только так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...

Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова больше, побежал впереди меня на коротких ножках.

Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.

— Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя. Дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!

Я был убежден в этом и решил уйти, как только бабушка вернется в город, — она всю зиму жила в Балахне, приглашенная кем-то учить девиц плетению кружев. Дед снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шел в тяжелой енотовой шубе, важно и медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он задумчиво проговорил:

— А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!

Отодвинул меня с дороги и все так же важно и медленно пошел дальше.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболел старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красивым мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдет ему новое место. На ее же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастерового, который бил ее и выгонял из дома.

Встречаясь с бабушкой, я все более сознательно восхищался ее душою, но — я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды ей.

— Терпеть надо, Олеша!

Это — все, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске — обо всем, что меня возмущало.

Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня — я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.

Я тоже делал все это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.

И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то — не без гордости — скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.

Все более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это; я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики.

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:

— Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове

становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых, мелких гвоздей, они шевелятся там, нагреваются.

Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось:

«Неужели вся жизнь — такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

— Сердит становишься, Максимыч, — говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня.

Ситанов часто спрашивал меня:

— Ты что?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письма, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью, — я сердито и настойчиво противился ее насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других, — порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.

Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это — хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина — единственные забавы в этой жизни.

Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.

Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?

О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху, — она была такая чуждая всему, точно я ее видел во сне.

Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим, — я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.

Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.

— Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней — никого нет дороже!

— О чем вы говорите?

— Обо всем, конечно. Она мне — про себя, а я ей — тоже про себя. Ну, целуемся... Только она — честная... Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер — не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.

Не помню, почему именно — в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакie каменные идола, выставив на солнце крашенные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои села, а оставшиеся пьянствовали, — гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.

Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

— А, Пешкóв, Христос воскрес!

Похристосовались, он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и все вообще — надоело мне и я решил ехать в Персию.

— Брось, — сказал он серьезно. — Какая там, к черту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..

Мне нравилось, что он ухарски швыряется чертями; в нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был — набекрень.

— Куришь? — спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

— Вот что, Пешкóв, иди-ка ты опять ко мне! — предложил он. — Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок — понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб все было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали, — идет? Жалованье — пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушел, вечером пришел; бабы — мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой и — шабаш!

Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

Когда я сказал в мастерской, что ухожу, — это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.

— Ну, подумай, — укоризненно говорил он, — как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры... Эх, ты! Это называется — из дьяконов в пономари...

Жихарев ворчал:

— Рыба ищет — где глубже, добрый молодец — что хуже...

Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны.

— Конечно, надо испробовать и то и это, — говорил Жихарев, желтый с похмелья. — А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь...

— И уж на всю жизнь, — тихо добавил Ларионыч.

Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности, — нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась.

На полатах ворочался пьяный Гоголев и хрипел:

— Э-захочу — все в остроге будут! Я — секрет знаю! Кто тут в бога верует? Аха-а...

Как всегда, у стен прислонились безликие недописанные иконы, к потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Все вокруг так крепко запомнилось, что, и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с полатей голую ногу Гоголева, синюю, как ноги утопленника.

Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты; прощаясь, люди точно заупокойную литургию служат.

Жихарев, сдвинув брови, сказал мне:

— А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать — хочешь двугривенный получить за неё?

Книга была моей собственностью, — старик брандмейстер подарил мне ее, было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:

— Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга — не для тебя, это такая книга, что с ней недолго и греха нажить.

— Да ее в магазине продают, я видел!

Но он сугубо убедительно сказал мне:

— Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают... Так и не отдал мне Лермонтова.

Идя наверх, прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:

— Говорят — уходишь ты?

— Ухожу.

— Кабы не ушел, так бы выгнали,— сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренне.

А пьяненькая хозяйка сказала:

— Прощай, Христос с тобой! Ты — нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят — нехороший ты!

И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:

— Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а — оставил бы, не гнал! А нынче все пошло по-другому, чуть что не так — во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься. к чему прислонишься?

XVI

Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я — на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло; лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.

— Эх, высока нынче вода, черт ее возьми! Задержит она работы,— ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.

— Тише! — испуганно кричит он.— На фонарь едем!

Справился с лодкой и ругается:

— Ну, и лодку дали, подлецы!..

Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо — ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебея. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку — надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном,— и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его,— в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.

А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть

этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, — город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.

Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.

Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, все вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, — наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепы и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.

Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.

Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне: — Это — ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит — нет ли где воров? А нет воров — сам ворует.

Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне. Волга и Ока слились в огромное озеро; вдали, на мохнатой горе, пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь — точно на забытом кладбище.

Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев, — хозяин раздраженно удивляется:

— Этакая подлая лодка!

— Да вы не правьте.

— Как же можно? — ворчит он. — Если в лодке двое, то всегда один гребет, другой правит. Вот — смотри: Китайские ряды...

Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим...

— Ерунда,— говорит хозяин, указывая на ряды.— Кабы мне дали строить это...

Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.

А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы...

Утопив сигару за бортом, он сопровождал ее плевком отвращения и говорит:

— Скушно, Пешкóв! Скушно. Образованных людей — нет, поговорить — не с кем. Захочется похвастать — а перед кем? Нет людей. Всё плотники, каменщики, мужики, жулье...

Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:

— Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво — приятное занятие, а к сигарам — не привык еще! Накуришься, жена ворчит: «Чем это от тебя пахнет, как от шорника?» Да, брат, живем, ухитряемся... Ну-ка, правь сам...

Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше,— китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.

— Не попал,— без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.

— Ты как насчет девчонок — разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся...

Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.

В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:

Море синее,
Море бурное...

Скука смертельная, должно быть, это синее море...

— Ночей не спал,— говорит хозяин.— Бывало, встану с постели и стою у двери ее, дрожу, как собачонка,— дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я — не боялся, да...

Он говорит задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье — можно надеть еще раз или нет?

— Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: «Иди, дурачок...»

Я много слышал таких рассказов, надоели они мне, хотя в них

была приятная черта, — о первой своей «любви» почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал: это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо.

Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно:

— А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тут такого? А не расскажешь! Вот история...

Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я, — в этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой, холодной воде.

— Первое — не женись рано! — поучает он меня. — Женитьба — это, брат, дело громаднейшей важности! Жить можно где хочешь и как хочешь, — твоя воля! Живи в Персии — магомешкой, в Москве — городовым, горюй, воруй, — все можно поправить! А жена — это, брат, как погода, ее не поправишь... нет! Это, брат, не сапог — снял да бросил...

Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмутив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал:

— Н-да, брат... Гляди в оба! Положим — ты во все стороны гнешься, а все прямо стоишь... ну, однако — всякому свой капкан поставлен...

Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой.

— Тише гребь, — шепчет хозяин, направляя ружье в кусты.

Застрелив несколько тощих куликов, он командует:

— Едем в Кунавино! Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался...

Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло огромной птицы, все в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет все на ней. Все вокруг движется бодро и надежно, быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов; на плотках крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую навстречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика — один в красной рубахе — и поют песню; слов не слышно, но я знаю ее.

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я все знаю, мне все близко и все я могу понять. А город, затопленный сзади меня, —

дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.

Досыта насмотревшись на все, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу, — издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать все, чего захочешь.

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, — эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него все понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо все, о чем он кротко благовестит.

Читаю «Бурсу» Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, — едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мертвые души» я прочитал неохотно; «Записки из мертвого дома» — тоже; «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина» — тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, — немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, — этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сестры-подростки; курносый гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, — это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им — они учатся!

Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня — мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный

впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности — очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами — с луковицей.

Семашко говорил мне:

— Какие же это стихи? Это — сапожные гвозди.

Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось — плохо: по гнилой зеленой воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее, — одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завилась под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег, — испуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы!

Грозя мне мокрым кулачком, она кричала:

— Это ты нарочно утопил меня!

И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно.

В общем, в городе жилось не очень интересно; старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше; молодая смотрела на меня подозрительно; Викторушка, еще более порыжевший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный.

Чертежной работы у хозяина было много; не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего.

Однажды я пришел с Ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидел забытого мною человека у чайного стола, рядом с хозяином. Он протянул мне руку.

— Здравствуйте...

Я ошалел от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце.

— Испугался даже, — крикнул хозяин.

Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице; его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы.

— Ну вот, снова встретились, — сказал он, покашливая.

Я ушел, ослабев, как избитый.

Между нами установились какие-то осторожные и неясные

отношения — он называл меня по имени и отчеству, говорил со мною как с равным.

— Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку Лаферм, сотню гильз Викторсон и фунт вареной колбасы...

Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он — чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку:

— У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мяса, то — можно поправиться. Может быть, я поправляюсь.

Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила:

— Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет!

Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали попробовать то или иное лекарство, но за глаза высмеивали его.

— Дворянин! Крошки, говорит, надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек, — рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила:

— Как же, дворянин! Сюртучишко-то весь протерся, залоснился, а он его все еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы — ни пылинки!

А хозяин точно утешал их:

— Погодите, звери-курицы, умрет он скоро!..

Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор — тоже поганый гриб, да хоть красив!

Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок, — нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь.

Я стал находить в нем черты Хорошего Дела — человека, незабвенного для меня; его и Королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги, им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим — такой же чужой и нелюбимый человек, как Хорошее Дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина: стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает:

— Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распиравать стены.

— Верно, черт возьми! — бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил:

— Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя!

Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык.

— По-моему, — кислым голосом говорила она, — вам, Евгений Васильевич, вредно так загигать голову!

Он, вежливо улыбаясь, спрашивал:

— Почему же?

— Да... так уж...

Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти.

— Скажите, ногти еще чистит! — волновалась хозяйка. — Умирает, а туда же...

— Эхе-хе! — вздыхал хозяин. — Сколько на вас, звери-курицы, глупостиросло...

— Да ты что это говоришь? — возмущалась супруга.

А старуха по ночам пылко жаловалась богу:

— Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка — опять в стороне...

Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движениям барских рук, его уменью как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал:

— Максимов, как по-французски — колено?

— Меня зовут Евгений Васильевич, — спокойно напоминал вотчим.

— Ну, ладно! А — грудь?

За ужином Викторушка командовал матери:

— Ма мер, донне муазанкор¹ солонины!

— Ах ты, французик, — умилялась старуха.

Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни, на кого не глядя.

Однажды старший брат сказал младшему:

— Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести...

Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся.

А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу:

— Как тебе не стыдно пакости при мне говорить!

Иногда вотчим приходил ко мне в черные сени; там, под лестницей на чердак, я спал; на лестнице, против окна, читал книги.

¹ Мамаша, дайте мне еще (искаж. франц.).

— Читаете? — спрашивал он, выдыхая дым; в груди у него шипели головни. — Что это?

Я показывал книгу.

— Ах, — говорил он, взглянув на титул, — это я, кажется, читал! Хотите курить?

Курили, поглядывая в окно на грязный двор; он говорил:

— Очень жаль, что вы не можете учиться, у вас, кажется, есть способности...

— Вот я учусь, читаю...

— Этого мало, нужна — школа, система...

Хотелось сказать ему:

«У вас, сударь мой, и школа и система была, а — что толку?»

Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял:

— При наличии характера — школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди...

Не однажды он советовал мне:

— Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас...

— Мне нравятся рабочие.

— А... Чем же?

— Интересно с ними.

— Может быть...

А однажды он сказал:

— Какая, в сущности, дрянь эти наши хозяева, дрянь...

Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него, — он спросил, улыбаясь:

— Вы не так думаете?

— Так.

— Ну да... Я это вижу.

— Хозяин все-таки нравится мне...

— Да, он, пожалуй, добрый мужик... Но — смешной.

Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал:

— Вы — не увлекайтесь, в книгах все очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги — это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди.

Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня.

Как-то раз он спросил меня:

— Вы читали Гончарова?

— «Фрегат «Паллада».

— Это очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров — самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе — лучшая книга...

О Диккенсе он говорил:

— Это — чепуха, уверяю вас... А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония» — это вы прочитайте! Вы, кажется, любите церковь и все это, церковное? «Искушение» вам будет полезно...

Он сам принес мне пачку приложений, я прочитал мудрую работу Флобера; она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала; гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею «Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей».

Когда я сознался в этом вотчиму, он спокойно заметил:

— Значит — вам еще рано читать такие вещи! Но — не забывайте об этой книге...

Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью: как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжело пахнет гнилью? Так же, как, бывало, Хорошее Дело, вотчим неожиданно говорил что-то очень свое:

— Я люблю гончих собак, они — глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы...

Я не без гордости думал:

«Знал бы ты — Королеву Марго!»

— У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, — сказал он однажды; я записал это в свою тетрадь.

Я ждал этих изречений, как благодетели, — приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, заостренным в истертых, однообразных формах.

Вотчим никогда не говорил со мною о матери, даже, кажется, имени ее не произнес никогда; это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему.

Как-то раз я спросил его о боге, — не помню, что именно; он взглянул на меня и очень спокойно сказал:

— Не знаю. Я в бога не верю.

Я вспомнил Ситанова и рассказал о нем, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил все так же спокойно:

— Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что-то... Я просто — не верю!

— А разве это можно?

— Почему же нельзя? Вот видите — не верю...

Я видел одно — он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти.

Вот — сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий; уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним; говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать, — в нем есть нечто нужное мне или нечто, оттеняющее ненужное для меня. Это — существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей; как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, что скрыто в его голове, сердце, что я — мне кажется — умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет — порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание, но — оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяющееся — уйдет...

Но это — мысли, а за ними лежит то невыразимое словами, что родит и питает их, что, властно понуждая всматриваться в явления жизни, от каждого из них требует ответа — зачем?

— Кажется, я скоро лягу, знаете, — сказал вотчим однажды, в дождливый день. — Такая глупая слабость! И ничего не хочется...

На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола и с колен крошки хлеба, отстраняя от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него исподлобья, говорила снохе шепотом:

— Гляди — ошипывается, чистится...

Дня через два он не пришел работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря:

— На-ко, вчера еще бабенка принесла, óполдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а уж как она тебе приходится — не знаю, право!

В конверте, на листе бумаги с бланком больницы, было написано крупными буквами:

«Будете иметь свободный час — придите повидаться. Я в Мартиновской. Е. М.».

На другой день, утром, я сидел в больничной палате, на койке вотчима; он был длиннее койки, и ноги его, в серых, сбившихся носках, торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в темном гладком платье; по ее овальному лицу медленно стекали слезы; мокрые голубые

глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот.

— Священника бы,— шептала она,— а он не велит... не понимает ничего...

И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь.

На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку.

— Вы? Спасибо. Вот, видите... Чувствую очень глупо... себя...

Это его утомило, он закрыл глаза; я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями, девушка тихо попросила:

— Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста!

— Вот — познакомьтесь,— проговорил он, указав на нее глазами.— Милый человек...

Замолчал, все шире открывая рот, и вдруг вскрикнул хрипло, точно ворон; завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками; девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку.

Умер вотчим быстро; умер и тотчас похорошел.

Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок; поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок все туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее ее.

Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком:

— И до зимы не дожил... Ах, господи, господи, что же это такое?

Потом протянула мне руку, мокрую от слез.

— Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить — завтра.

— Проводить вас до дому?

Она оглянулась.

— Зачем же? Теперь — день, не ночь.

Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей,— шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться.

Был август, уже с деревьев падал лист.

У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку...

XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник

и острослов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятною речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

— Рано для тебя, наша работа — нелегкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой головою, спросил:

— Али не ладно живется? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда — стерпишь!

Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, — начинался расчет за неделю.

Шутя и балагурия, хозяин старался обсчитать их, а они — его; иногда крепко ссорились, но чаще — дружно смеялись.

— Эх, милый человек, а и жуликом ты родился! — говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

— Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

— Да ведь как иначе, друг? — признавался Ефимушка, а серьезный Петр говорил:

— Тем и жив, что украдешь, а что выработаешь — богу да царю...

— Вот и мне охота объегорить вас! — смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

— Поддеюлить, значит?

— Подкузьмить?

Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:

— Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь

ежели честно жить,— так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

— Мужик на много не обманет,— вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

— Грех — что болото: чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

— Я — что же? Откликаюсь, как аукнется...

Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

— Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь — эвон, куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

— Ну, ну,— балагурил Осип,— стереги да береги, бог тебе помоги!

Петр недружелюбно заметил:

— Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми,— все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

— Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему — понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

— Среди нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним — гляди в оба, он ничем не брезгует, ему все годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок известки — все подай сюда! Человек он — хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а воровать — любит! Ефимушка — в баб живет, он — смирный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые — все не дураки! А вот

Григорий Шишлин — этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое — отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может обмануть, а он — не может! Без ума руководится...

— Он — добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

— Верно, добрый! Ленивому добрым быть — самое простое; доброта, парень, ума не просит...

— Ну, а сам ты? — спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил:

— Я — как девушка, — буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то — своим умом поищи, где я спрятан, — поищи-ка вот!

Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов, — я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

— Сделай милость, посоветуй ты нам, — просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию:

— Еретик.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

— Паяц.

Штукатур дружески предупреждал меня:

— Ты гляди, Максимыч, — со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет! Этакie вот старички едучие — избави боже до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Петр; он обо всем говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на божьей, аде и смерти.

— Эх, ребята-братцы, как ни бойся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!

У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда — смешным, порою — блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:

— Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!

Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь

в уголок, мурлыкал, прищулив серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей.

— Экую бабочку ядреную привел мне господь; этакая радость низошла до меня; ну, и что же это за цветок в сметане, да и как же мне судьбу благодарить за этакый подарок? Да я от такой красоты жив — сгорю!

Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой:

— Глядите-ко, как горбатый тает, а — батюшки!

Насмешки нисколько не задевали кровельщика, его скуластое лицо становилось сонным, он говорил, точно в бреду, сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец какая-нибудь, постарше, говорила удивленно подругам:

— Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень!

— Птицей поет...

— Али нищим на паперти, — не сдавалась упрямая.

Но Ефимушка не был похож на нищего; он стоял крепко, точно коренастый пенёк, голос его звучал все призывнее, слова становились заманчивее, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой, дурманной речью.

Кончалось это тем, что во время паужина или после шабаша он, покачивая тяжелой, угловатой головою, говорил товарищам изумленно:

— Ну, и какая же бабочка сладкая да милая, — первой раз в жизни коснулся эдакой!

Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие, он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширялись.

Осип, покачивая головою, восклицал:

— Ах ты, неистребимый мужчина! Который тебе годок пошел?

— А годов мне — четыре на сорок. Да это — ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце — покойно! Нет — ведь какие женщины бывают, а?

Каменщик сурово говорил ему:

— Как шагнешь за пятый десяток, гляди, — горько-солоны будут тебе похабные привычки твои!

— Бесстыдник ты, Ефимушка, — вздыхал Григорий Шишлин.

А мне казалось, что красавец завидует удаче горбатого.

Осип смотрел на всех из-под ровненько закрученных серебряных бровей и балагурил:

— У всякой Машки — свои замашки, эта любит чашки да ложки, а другая — пряжки да сережки, а — все Машки будут бабушки...

Шишлин был женат, но жена у него оставалась в деревне, он тоже засматривался на поломоек. Все они были легко доступны, каждая «прирабатывала»; к этому роду заработка в головной слободе относились так же просто, как ко всякой иной работе. Но красавец мужик не трогал женщин, он только смотрел на них издали особенным взглядом, точно жалея кого-то, себя или их. А когда они сами начинали заигрывать с ним, соблазняя его, он, сконфуженно посмеиваясь, уходил прочь.

— Ну вас...

— Что ты, чудачок? — удивлялся Ефимушка. — Разве можно случай терять?

— Я — женатый, — напоминал Григорий.

— Да разве жена узнает?

— Жена всегда узнает, ежели нечестно жил, ее, брат, не обманешь!

— Да как узнает?

— Это мне неизвестно — как, а — должна узнать, ежели сама она честно живет. А ежели я честно живу, а она согрешит — я про нее узнаю...

— Да как? — кричит Ефимушка, но Григорий спокойно повторяет:

— Это мне неизвестно.

Кровельщик возмущенно разводит руками.

— Вот — пожалуйста! Честно, неизвестно... Эх ты, голова!

Рабочие Шишлина, семь человек, относились к нему просто, не чувствуя в нем хозяина, а за глаза называли его теленком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал сокол, лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрывая:

— Наддай, ребятки, наддай!

Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию:

— Плохие у тебя работники...

Он как будто удивился:

— Да ну?

— Эту работу надо бы еще вчера до полудня кончить, а они и сегодня не успеют...

— Это верно — не успеют, — согласился он и, помолчав, осторожно сказал:

— Я, конечно, вижу, да совестно подгонять их — ведь всё свои, из одной деревни со мной. Опять же и то возьми: наказано богом — в поте лица ешь хлеб, так что — для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой мене их трудимся, ну — неловко будто подгонять-то их...

Он жил задумчиво; идет по пустым улицам Ярмарки и вдруг,

остановясь на одном из мостов Обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, вдаль за Оку. Настигнешь его, спросишь:

— Ты что?

— А? — просыпаясь, смущенно улыбается он. — Это я так... пристал, поглядел немножко...

— Хорошо, брат, устроено все у бога, — нередко говорил он. — Небушко, земля, реки текут, пароходы бежат! Сел на пароход, и — куда хошь: в Рязань али в Рыбинской, в Пермь, до Астрахани! В Рязани я был, ничего городок, а скушнее Нижнего-то; Нижний у нас — молодец, веселый! И Астрахань — скушнее. В Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев...

Он говорит медленно, слова его осторожно нащупывают согласию мыслящего и всегда находят его в каменщике Петре.

— Не народцы они, а — мимородцы, — уверенно и сердито говорит Петр, — мимо Христа родились, мимо Христа идут...

Григорий оживляется, сияет.

— Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой! Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю — зачем богу народцы? Премудро устроено...

Каменщик добавляет сумрачно:

— Премудро, а быдто лишнего многонько!..

Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко:

— Лишнее — есть, вот речи эти ваши — вовсе лишние! Эх вы, сехта, пороть бы вас всех-то.

Осип держится сам по себе, но нельзя понять — с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями; но чаще видишь, что все надоели ему, он смотрит на людей как на маломных и говорит Петру, Григорию, Ефимушке:

— Эх вы, щенки свинячьи...

Они усмеваются, не очень весело и охотно, а все-таки усмеваются.

Хозяин выдавал мне на хлеб пятачок в день; этого не хватало, я немножко голодал; видя это, рабочие приглашали меня завтракать и паужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался, мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы; им доставляла удовольствие моя начитанность в церковных книгах.

— Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго, — говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами; трудно

уловить их выражение — зрачки у него всегда точно плаваются, тают.

— Ты береги это, прикапливай, годится; вырастешь — иди в монахи народ словесно утешать, а то — в миллионеры...

— Миссионеры, — поправляет каменщик почему-то обиженным голосом.

— Ась? — спрашивает Осип.

— Миссионеры говорится, ведь знаешь! И не глух ты...

— Ну, ладно, в миссионеры, с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись, — тоже должность хлебная! При уме и ересью прожить можно...

Григорий сконфуженно смеется, а Петр говорит в бороду:

— Вот колдуны тоже не плохо живут, безбожники разные...

Но Осип тотчас возражает:

— Колдун грамотен не живет, грамота колдуну не ко двору...

И рассказывает мне:

— Вот, погляди, послушай: жил в нашей волости бобылек один, Тушкой звали, захудалый мужичонко, пустой; жил — пером, туда-сюда, куда ветер дует, а — ни работник, ни бездельник! Вот, пошел он единожды, от нечего делать, на богомолье и плутал года с два срока, а после вдруг объявился в новом виде: волосья — до плеч, на голове — скуфеечка, на корпусе — рыженькая ряска чертовой кожи; глядит на всех окунем и предлагает упрямо: покайтесь, треклятые! Чего ж не покаяться, а особливо — бабам? И пошло дело на лад: Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен...

Каменщик сердито перебивает:

— Да разве в том дело, что сыт да пьян?

— В чем ино?

— Дело — в слове!

— Ну, в слова его я не вникал, — словами я и сам преизбыточно богат.

— Мы Тушникова, Дмитрия Васильича, довольно хорошо знаем, — обиженно говорит Петр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан.

— Я — не спорю, — примирительно заявляет Осип. — Это вот я все Максимычу нашему говорю про разные пути-дороги до куска...

— По иным дорогам и в острог попадают...

— Редко ли! — соглашается Осип. — Не со всякой тропы падешь в попы, надо знать, где свернуть...

Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей — штукатура и каменщика; может быть, он не любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо.

На Ефимушку он смотрит как будто мягче, добрее. Кровель-

щик не вступает в беседы о боге, правде, о сектах, о горе жизни человеческой — любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, чтобы спинка стула не мешала горбу, — он спокойно пьет чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир пришел кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов у него — добрый десяток, и — так как некоторые бьют его — он бежит от греха.

— Сердуются, чудаки, — недоумевает он, — да ведь кабы я имел деньги, али бы не отдал я?

— Ах, сухостой горький... — напутствует его Осип.

Иногда Ефимушка долго сидит задумавшись, ничего не видя, не слыша; скуластое лицо смягчается, добрые глаза смотрят еще добрее.

— О чем задумался, служивый? — спрашивают его.

— Думаю, — быть бы мне богатому, эх — женился бы на самой настоящей барыне, на дворянке бы, ей-богу, на полковницкой дочери, примерно, любил бы ее — господи! Жив сгорел бы около нее. Потому что, братцы, крыл я однова крышу у полковника на даче...

— И была у него дочь вдовая, — слышали мы это! — недружелюбно прерывает Петр.

Но Ефимушка, растирая ладонями колена, покачивается, долбя горбом воздух, и продолжает:

— Бывало, выйдет она в сад, вся белая да пышная, гляжу я на нее с крыши, и — на что мне солнышко, и — зачем белый день? Так бы голубем под ноги ей и слетел! Просто — цветок лазоревый в сметане! Да с этакой бы госпожой хоть на всю жизнь — ночь!

— А жрать чего стали бы? — сурово спрашивает Петр, но это не смущает Ефимушку.

— Господи! — восклицает он. — Да много ли нам надобно? К тому же она — богатая...

Осип смеется:

— И когда ты, Ефимушка, расточишь себя в делах этих, расточитель?

Кроме женщин, Ефимушка ни о чем не говорит, и работник он неровный — то работает отлично, споро, то у него не ладится, деревянный молоток клеплет гребни лениво, небрежно, оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью; но у него есть свой запах, здоровый и приятный, он напоминает запах свежесрубленного дерева.

С плотником интересно говорить обо всем; интересно, но не очень приятно, его слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьезно, когда шутит.

С Григорием же всего лучше говорить о боге, он любит это и в этом тверд.

— Гриша,— спрашиваю я,— а знаешь: есть люди, которые не верят в бога?

Он спокойно усмехается:

— Как это?

— Говорят: нет бога!

— О! Вона что! Это я знаю.

И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит:

— Еще царем Давидом, помнишь, сказано: «Рече безумен в сердце своем: несть бог»,— вон когда еще говорили про это безумные! Без бога — никак нельзя обойтись...

Осип как будто соглашается с ним:

— Отними-ка у Петрухи бога-то — он те покажет кузькину мать!

Красивое лицо Шишлина становится строгим; перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит:

— Бог вселен в каждую плоть; совесть и все внутреннее ядро — от бога дано!

— А — грехи?

— Грехи — от плоти, от сатаны! Грехи — это снаружи, как воспа, не более того! Грешит всех сильнее тот, кто о грехе много думает; не поминай греха — не согрешишь! Мысли о грехе — сатана, хозяин плоти, внушает...

Каменщик сомневается.

— Что-то не так будто бы...

— Так! Бог — безгрешен, а человек — образ и подобие его. Грешит образ, плоть; а подобие грешить не может, оно — подобие, дух...

Он победно улыбается, а Петр ворчит:

— Это будто бы не так...

— А по-твоему,— спрашивает Осип каменщика,— не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься?

— Так-то надежнее будто! Черта забудешь — бога разлюбишь, говорили старики...

Шишлин непьющий, он пьянеет с двух рюмок; тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поет.

— Братцы мои, как все это хорошо! Вот живем, работаем немножко, сыты, слава богу,— ах, как хорошо!

Он плакал, слезы стекали ему на бороду и светились на шелке волос стеклянными бусами.

Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слезы были неприятны мне,— бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво.

Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастны; добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о боге, о сектах, церкви, — больше о начальстве, о земле, о правде и тяжестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба — забава, но забава опасная, с бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох или хорош, но он всегда весь тут, в книжке, а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался живой мужик, всегда чувствуется, что в нем осталось еще что-то, но этот остаток — только для себя, и, может быть, именно в этом несказанном, скрытом — самое главное.

Из всех книжных мужиков мне наиболее понравился Петр «Плотничьей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели, иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю, чаще — потому, что за день я уставал и не хватало сил идти домой.

Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа — особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал ее, недоверчиво покачивая иконописною головой.

— А и впрямь будто про нас написано! Ишь ты, шельма! Кто писал — барин? Ну, я так и подумал. Баре да чиновники на все горазды! Где господь не догадается, там чиновник домыслит; на то они и живы есть...

— Неосторожно ты, Осип, про бога говоришь, — заметил Петр.

— Ничего! Для господа мое слово — меньше, как мне на лысину снежинка али капля дождевая. Ты — не сомневайся, нам с тобой до бога не дотронуться...

Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремень искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, все, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал:

— Читаем, Максимыч? Ну, дело, дело! Это ладно придумано.

Пошабашив, пошли ужинать к нему в артель, а после ужина явились Петр со своим работником Ардальоном и Шишлин с молодым парнем Фомою. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать; слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито:

— Ну, с меня довольно!

И ушел. Первым заснул Григорий, удивленно открыв рот, за ним заснули плотники, но Петр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением.

Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу,— по звездам было уже около полуночи.

Петр спросил во тьме:

— К чему ж это написано? Против кого?

— Теперь — спать! — сказал Осип, снимая сапоги.

Фома молча отодвинулся в сторону.

Петр повторил требовательно:

— Я говорю — супроти кого написано это?

— Уж они знают! — выговорил Осип, укладываясь спать на подмости.

— Ежели против мачех, так это совсем пустое дело: от этого мачехи лучше не станут,— настойчиво говорил каменщик.— А против Петра — тоже зря: его грех — его ответ! За убийство — в Сибирь, больше ничего! Книжка — лишняя в таком грехе... лишняя будто, ась?

Осип молчал. Тогда каменщик добавил:

— Делать им нечего, вот и разбирают чужие дела! Вроде баб на посиделках. Прощайте ин, спать надо...

Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил:

— Осип, ты как думаешь?

— Ой? — сонно отозвался плотник.

— Ну, ладно, спи...

Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лег на измятой соломе рядом со мною. Слобода спала, издали доносился свист паровозов, тяжелый гул чугунных колес, звон буферов. В сарае разноголосо храпели. Мне было неловко — я ждал каких-то разговоров, а — ничего нет...

Но вдруг Осип заговорил тихо и четко:

— Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы — молодые, вам долго жить, копите свой разум! Свой ум — чужим двум! Фома, спишь?

— Нет,— охотно отозвался Фома.

— То-то! Вы оба грамотны, так вы — читайте, а веры ничему не давайте. Они все могут напечатать, это дело — в ихних руках!

Он спустил ноги с подмостков, уперся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал:

— Книжку — ее как надо понимать? Это — доношение на людей, книжка! Дескать, глядите, каков есть человек, плотник али кто другой, а вот — барин, так это — иной человек! Книжка — не зря пишется, а во чью-нибудь защиту...

Фома густо сказал:

— Петр правильно убил подрядчика-то!

— Ну, это — напрасно, человека убивать никогда не правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти мысли ты брось. Мы все — люди небогатые, сегодня — я хозяин, завтра — опять работник...

— Я не про тебя, дядя Осип...

— Это все едино...

— Ты — справедливый.

— погоди, я те расскажу, к чему написано сочинение, — перебил Осип сердитые слова Фомы, — это очень хитрое сочинение! Вот те — барин без мужика, вот — мужик без барина! Теперь гляди: и барину — плохо, и мужику — не хорошо. Барин ослаб, одурел, а мужик стал хвастун, пьяница, хворый, стал обиженный — вот оно как! А в крепости у бар было, дескать, лучше: барин за мужика прятался, мужик — за барина, и кружились оба спокойно, сытые... Я — не спорю, верно, при господах было спокойнее жить — господам не к выгоде, коли мужик беден; им хорошо, коли он богат, да не умен, вот что им на руку. Я это знаю, я ведь сам в крепости господской почти сорок лет прожил, у меня на шкуре много написано.

Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Петр, который зарезался, и мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика.

Осип потрогал ногой мою ногу, продолжая:

— Книжки и всякие сочинения надо понимать! Зря никто ничего не делает, это одна видимость, будто зря. И книжки не зря пишутся, — а чтобы голову мутить. Все творится с умом, без ума — ни топором тять, ни ковырять лапоть...

Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки, во тьме и тишине.

— Говорится: господа мужику чужие люди. И это — неверно. Мы — тех же господ, только — самый испод; конечно, барин учится по книжкам, а я — по шишкам, да у барина белее задница — тут и вся разница. Не-ет, парни, пора миру жить по-новому, сочинения-то надобно бросить, оставить! Пускай каждый спросит себя: я — кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь: али бог с него на семишник лишнего требует? Не-ет, в податях мы оба пред богом равны...

Наконец, под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне:

— Видал, как я сочинять могу? Вот чего наговорил — чего и не думал никогда! Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонницы, чем всерьез. Лежишь-лежишь да и придумаешь чего-нибудь для забавы: во время оно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры,

господь ее накажи: издохла ворона и засохла! Какой тут смысл? Нету никакого смысла... Ну те-ко — поспим: скоро вставать пора...

XVIII

Как в свое время кочегар Яков, — Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня всех людей. В нем было что-то очень близкое кочегару, но в то же время он напоминал мне деда, начетчика Петра Васильева, повара Смурого, и, напоминая всех людей, цепко укрепившихся в моей памяти, он оставлял в ней свой глубокий узор, въедался в нее, точно окись в медь колокола. Заметно было, что у него два порядка мыслей: днем, за работой, на людях, его бойкие, простые мысли деловиты и более понятны, чем те, которые являются у него во время отдыха, по вечерам, когда он идет со мною в город, к своей куме, торговке оладьями, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенные, точные мысли, многосторонние, как огонь в фонаре. Они хорошо светятся, но — где у них настоящее лицо, которая сторона той или другой мысли ближе и дороже Осипу?

Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же напряжении, как вокруг кочегара Якова, — хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и — неуловим. В чем скрыта его правда? Чему можно верить в нем?

Я вспоминаю, как он сказал мне:

«Сам поищи, где я спрятан, поищи-ка вот!»

Мое самолюбие задето, но во мне задето больше, чем самолюбие, — для меня жизненно необходимо понять старика.

При всей его неуловимости он — тверд. Казалось, что проживи он еще сто лет, а все останется таким же, непоколебимо сохранит себя среди поразительно неустойчивых людей. Начетчик вызывал у меня такое же впечатление стойкости, но оно было не очень приятно мне; стойкость Осипа — иная, она более приятна.

Шаткость людей слишком резко бросается в глаза, их фокусные прыжки из одного положения в другое опрокидывали меня; я уже уставал удивляться этим необъяснимым прыжкам, и они потихоньку гасили мой живой интерес к людям, смущали мою любовь к ним.

Однажды, в начале июля, к месту, где мы работали, стремглав подъехала развинченная пролетка; на козлах сидел, мрачно икая, пьяный извозчик, бородатый, без шапки и с разбитой губой; в пролетке развалился пьяненький Григорий Шишлин, его держала под руку толстая, краснощекая девица в соломенной шляпке

с алым бантом и стеклянными вишнями, с зонтиком в руке и в резиновых калошах на босую ногу. Размахивая зонтиком, раскачиваясь, она хохотала и кричала:

— Да, черти! Ярмарка не открыта, нету ярмарки, а они меня на ярмарку!

Григорий, измятый, растерзанный, сполз с пролетки, сел на землю и со слезами объявил нам, зрителям:

— Н-на коленях стою — премного согрешил! Подумал и согрешил — вот! Ефимушка говорит: Гриша! Гриша, говорит... Он это верно говорит, а вы — простите меня! Я всех вас могу угостить. Он верно говорит: один раз живем... боле одного разу — нельзя...

Девуца, заливаясь смехом, топала ногами, теряла калоши, а извозчик угрюмо кричал:

— Едем скорей дальше! Харламы — едем, лошадь не стоит!

Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная, а все вместе было невыносимо смешно. Рабочие Григория так и покатывались, глядя на хозяина, его нарядную даму и ошалелого возницу.

Не смеялся только Фома, стоял в дверях лавки рядом со мною и бормотал:

— Сорвало свинью... А дома у него — жена, кра-сивая баба!

Извозчик все торопил ехать, девушка спустилась с пролетки, приподняла Григория и, уложив его в ноги себе, крикнула, взмахнув зонтом:

— Поехали!

Добродушно издеваясь над хозяином, завидуя ему, люди принялись за работу по окрику Фомы; видимо, ему было неприятно видеть Григория смешным.

— Называется — хозяин! — бормотал он. — Меньше месяца осталось работать, в деревню уедем... Не дотерпел...

Мне было досадно за Григория, — эта девушка с вишнями так обидно нелепа была рядом с ним.

Я нередко думал: почему Григорий Шишлин — хозяин, а Фома Тучков — работник?

Крепкий белый парень, кудрявый, с ястребиным носом и серыми умными глазами на круглом лице, Фома был не похож на мужика, — если бы его хорошо одеть, он сошел бы за купеческого сына из хорошей семьи. Это был человек сумрачный, говорил мало, деловито. Грамотный, он вел счета подрядчика, составлял сметы, умел заставить товарищей работать успешно, но сам работал неохотно.

— Всю работу вовеки не сделаешь, — спокойно говорил он. О книгах отзывался пренебрежительно: «Напечатать все можно, я тебе что хошь выдумаю, это — пустяки...»

Но он ко всему внимательно прислушивался и, если его что-нибудь интересовало, расспрашивал подробно и настойчиво, всегда думая о своем о чем-то, все измеряя своей мерой.

Раз я сказал Фоме, что вот ему бы надо быть подрядчиком, — он лениво отозвался:

— Кабы сразу тыщами ворочать — ну, еще туда-сюда... А из-за грошей с народом возиться — это из пустого в порожнее. Нет, я вот погляжу-погляжу да в монастырь уйду, в Оранки. Я — красивый, могучий, авось какой-нибудь купчихе понравлюсь, вдове! Бывает этак-то, — один сергацкой парень в два года счастья достиг да еще на девице женился, здешней, городской; носили икону по домам, а она его и высмотрела...

Это у него было обдуманно, — он знал много рассказов о том, как послушничество в монастырях выводило людей на легкую дорогу. Мне его рассказы не нравились, не нравилось и направление ума Фомы, но я был уверен, что он уйдет в монастырь.

Открылась ярмарка, и Фома, неожиданно для всех, поступил в трактир половым. Не скажу, чтобы это удивило его товарищей, но все они стали относиться к парню издевательски; по праздникам, собираясь пить чай, говорили друг другу, усмехаясь:

— Айда к своему шестерке!

А приходя в трактир, хозяйски кричали:

— Эй, половик! Кудрявенький, поди сюда!

Он подходил и спрашивал, приподнимая голову:

— Что прикажете?

— Не узнал знакомых?

— Узнавать некогда мне...

Он чувствовал, что товарищи презирают его, хотят позабавиться над ним, и смотрел на них скучно ожидающими глазами; лицо у него становилось деревянным, но, казалось, оно говорит:

«Ну, скорее, смейтесь, что ли...»

— На чайшко-то дать? — спрашивали его; нарочно долго рылись в кошельках и не давали ни копейки.

Я спросил Фому: как же это он — собирался в монахи, а пошел в лакеи?

— В монахи я не собирался, — ответил он, — а в лакеи — ненадолго пошел...

Года четыре спустя я встретил его в Царицыне, все еще половым в трактире; а потом прочитал в газете, что Фома Тучков арестован за покушение на кражу со взломом.

Особенно меня поразила история каменщика Ардальона — старшего и лучшего работника в артели Петра. Этот сорокалетний мужик, чернобородый и веселый, тоже невольно возбуждал вопрос: почему не он — хозяин, а — Петр? Водку он пил редко и почти никогда не напивался допьяна; работу свою знал пре-

красно, работал с любовью, кирпичи летали в руках у него, точно красные голуби. Рядом с ним больной и постный Петр казался совершенно лишним человеком в артели; он говорил о работе:

— Строю для людей дома каменные на гроб себе деревянный...

Ардальон, с веселой яростью укладывая кирпичи, покрикивал:

— Эхма, работай, ребята, во славу божию!

И рассказывал всем, что будущей весной он уедет в Томск, там у него зять взял большой подряд — строить церковь — и зовет его к себе десятником.

— Это у меня дело решенное. Церкви строить — это я люблю! — говорил он и предлагал мне: — Айда со мной! В Сибири, брат, грамотному очень просто, там — грамота — козырь!

Я соглашался, и Ардальон победительно кричал:

— Ну, вот! Это дело, а не шутки...

К Петру и Григорию он относился с добродушной насмешкой, как взрослый к детям, и говорил Осипу:

— Хвастуны, всё разум свой друг другу показывают, словно в карты играют. Один — у меня-ста вот какая масть, другой — а у меня, дескать, вот они, козыри!

Осип неопределенно замечает:

— А как иначе? Хвастовство дело человеческое, все девицы вперед грудью ходят...

— Всё — ох да ох, бог да бог, а сами — деньги копят! — не унимался Ардальон.

— Ну, Гриша не накопит...

— Я — про своего. Шел бы, с богом-то, в лес, в пустыню... Эх, надоело мне здесь, двинусь я весной в Сибирь...

Рабочие, завидуя Ардальону, говорили:

— Кабы у нас эдакая зацепка, вроде зятя, мы бы тоже Сибири не испугались...

И вдруг Ардальон пропал. В воскресенье ушел из артели, и дня три никто не знал, где он.

Тревожно догадывались:

— Может, кто-нибудь пришиб его?

— А то — купался да утонул?

Но пришел Ефимушка и объявил, сконфуженный:

— Загулял Ардальон!

— Что врешь? — недоверчиво крикнул Петр.

— Загулял, запил. Просто — как овин загорелся с самой середины. Будто любезная жена померла...

— Он вдовый! Где он?

Петр сердито отправился спасать Ардальона, но тот избил его.

Тогда Осип, крепко поджав губы, глубоко засунул руки в карманы и объявил:

— Пойду-ка я погляжу — отчего такое? Мужик хороший... Я увязался с ним.

— Вот он, человек, — говорил Осип дорогой, — живет-живет, все будто хорошо, а вдруг — хвост трубой и пошел катать по всем пустырям. Гляди, Максимыч, учись...

Мы пришли в один из дешевеньких домов «развеселого Кунавина села», нас встретила вороватая старушка. Осип пошептался с нею, и она провела нас в пустую маленькую комнату, темную и грязную, как стойло. На койке спала, разметавшись, большая толстая женщина; старуха толкнула ее кулаком в бок и сказала:

— Выдь! Эй, лягуха, выдь!

Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, спрашивая:

— Господи! Кто это? Что это?

— Сыщики пришли, — сурово сказал Осип; охнув, женщина исчезла, а он плюнул вслед ей и объяснил мне:

— Сыщиков они боятся хуже чертей...

Сняв со стены маленькое зеркало, старуха приподняла кусок обоев.

— Глядите — этот ли?

Осип поглядел в щель переборки.

— Самый он! Выгони девицу оттуда...

Я тоже посмотрел в щель: в такой же тесной конуре, как та, в которой мы были, на подоконнике окна, плотно закрытого ставнями, горела жестяная лампа, около нее стояла косоглазая голая татарка, ушивая рубаху. За нею, на двух подушках постели, возвышалось взбухшее лицо Ардальона, торчала его черная спутанная борода. Татарка вздрогнула, накинула на себя рубаху, пошла мимо постели и вдруг явилась в нашей комнате.

Осип поглядел на нее и снова плюнул:

— У, бесстыдница!

— Сама старий дурак, — ответила она, смеясь.

И Осип засмеялся, грозя ей пальцем.

Мы перешли в конуру татарки, старик сел на постель в ногах Ардальона и долго безуспешно будил его, а тот бормотал:

— Ну, ладно, ладно... погоди, пойдем...

Наконец проснулся, дико поглядел на Осипа, на меня и, закрыв красные глаза, промычал:

— Ну, ну...

— Ты что это? — сказал Осип спокойно, без упрёка, но невесело.

— Закрутил, — храпя и кашляя, объяснил Ардальон.

— Что так?

- Да так уж...
- Не ладно будто...
- Чего хорошего...

Ардальон взял со стола початую бутылку водки и стал пить из горлышка, потом предложил Осипу:

- Хошь? Тут и закуска должна быть...

Старик налил в рот себе вина, проглотил, сморщился и стал внимательно жевать кусочек хлеба, а мутный Ардальон вяло говорил:

- Вот — с татаркой связался. Это все — Ефимушка, татарка, говорит, молодая, сирота из Касимова, на ярмарку собралась.

Из стены весело сказали ломаным языком:

- Татарка — лучи! Как молодой куриса. Гони ему вон, это не отес твоя...

- Вот эта самая,— пробормотал Ардальон, тупо глядя в стену.

- Я видел,— сказал Осип.

Ардальон обратился ко мне:

- Вот как я, брат...

Я ожидал, что Осип станет упрекать Ардальона, учить его, а тот будет смущенно каяться. Но ничего подобного не было,— они сидели рядом, плечо в плечо, и разговаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно было видеть их в этой темной, грязной конуре; татарка говорила в щель стены смешные слова, но они не слушали их. Осип взял со стола воблу, поколотил ее об сапог и начал аккуратно сдирать шкуру, спрашивая:

- Деньги-то все ухнул?
- За Петрухой есть...
- Гляди, справишься ли? Ехать бы теперь в Томской-то...
- Да что ж, в Томской...
- Али раздумал?
- Кабы чужие звали.
- А что?
- А то — сестра, зять...
- Ну?
- Не больно радостно к своим под начал идти...
- Начал везде одинаков.
- Все-таки...

Они говорили так дружески серьезно, что татарка перестала дразнить их, вошла в комнату, молча сняла со стены платье и исчезла.

- Молодая,— сказал Осип.

Ардальон поглядел на него и без досады проговорил:

- Все — Ефимушка, смутьян. Ничего, кроме баб, не знает... А татарка — веселая, дурит все...

— Гляди — не вывернешься,— предупредил его Осип и, дожевав воблу, стал прощаться.

Дорогой назад я спросил Осипа:

— Зачем ты ходил к нему?

— А поглядеть. Человек знакомый. Мно-ого я эдаких случаев видел — живет-живет человек да вдруг как из острога вырвется,— повторил он уже сказанное раньше.— Водочки надо остерегаться!

Но через минуту сказал:

— А без нее — скушно!

— Без водки?

— Ну да! Выпьешь — словно по другой земле пойдешь...

Ардальон — не вывернулся. Спустя несколько дней он пришел на работу, но вскоре снова исчез, а весной я встретил его среди босяков,— он окалывал лед вокруг барж в затоне. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай, а за чаем он хвастался:

— Помнишь, каков я работник был, а? Прямо скажу: в своем деле — химик! Сотни мог заработать...

— Однако — не заработал.

— А — не заработал! — с гордостью крикнул он.— Наплевать мне на работу!

Он держался размашисто, люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием.

— Помнишь, что тихий вор Петруха про работу говорил? Людям — дом каменный, себе — гроб деревянный. Вот те и вся работа!

Я сказал:

— Петруха — больной, он смерти боится.

Но Ардальон закричал:

— Я тоже больной, у меня, может, душа не на месте!

По праздникам я частенько спускался из города в Миллионную улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становится своим человеком в «золотой роте». Еще год тому назад — веселый и серьезный, теперь Ардальон стал как-то крикливо, приобрел особенную, развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и все хвастался:

— Ты гляди, как меня люди принимают,— я тут вроде атамана!

Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, становился в драках на сторону слабого и часто взывал:

— Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!

Его так и прозвали — Правильный, это очень нравилось ему.

Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Все это были люди, отломив-

шиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня, — я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками, и в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных паузках, на пожарах, во время ледохода. И вообще они жили более празднично, чем все другие люди.

Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня:

— Вот что, душа моя, горький сухостой, ты чего это с Миллионной больно плотно приятельствуешь? Гляди, не получи себе вреда...

Я сказал ему как умел, что мне нравятся эти люди, — живут без работы, весело.

— Яко птицы небесные, — перебил меня он, усмехаясь. — Это они потому так, что — лентяи, пустой народ, работа им — горе!

— Да ведь что же — работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов каменных!

Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду. Но Осип рассердился на меня и закричал:

— Это — кто говорит? Дураки да лентяи, а тебе, кутенок, — не слушать бы этого! Ишь ты! Эти глупости говорятся завистниками, неудачниками, а ты сперва оперись, потом — ввысь! А про дружбу твою я хозяину доложу — не обессудь!

И — доложил. Хозяин при нем же сказал мне:

— Ты, Пешкóв, Миллионную оставь! Там — вору, проститутки, и дорога оттуда — в острог, в больницу. Брось!

Я стал скрывать мои посещения Миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них.

Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его Робенком на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек; Робенок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапер, георгиевский кавалер, хромым, — в турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшною силою в руках, — силой, бесполезной ему, работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице — голова его действительно напоминала голову новорожденного.

Поблескивая рыжими глазами, он говорил:

— Ну, вот: Серпухов; сидит поп в палисаднике; батюшка, говорю, подайте турецкому герою...

Покачивая головою, Ардальон говорит:

— Ну, ври, ври...

— Чего же я вру? — не обижаясь, спрашивает Роёнок, а мой приятель поучительно и ревниво ворчит:

— Неправильный ты человек! Тебе в сторожа проситься, хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и все врешь...

— Да ведь я — чтобы посмеяться, я — для веселости вру...

— Тебе над собой смеяться надо...

На дворе, темном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какою-то тряпкой:

— Кто юбку купит? Эй, подруги...

Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу; я сразу узнал ее — это прачка Наталья! Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора.

— Здравствуй! — догнав ее за воротами, радостно поздоровался я.

— А дальше что скажешь? — спросила она, искоса взглянув на меня, и вдруг остановилась, сердито крикнув:

— Господи помилуй! Ты чего тут?..

Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.

— Посмотреть?! — насмешливо и сердито воскликнула она. — Это чего же, куда же ты смотришь? Проходим в карманы да бабам за пазухи?

Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.

Остановясь у дверей трактира, она сказала:

— Идем, чаем напою! Одет — чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то...

Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.

— А вчера легла — пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?

Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить — где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила знакомо бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:

— А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!

Выпила еще и рассказала:

— Дочери со мной делать нечего. Я — кто? Прачка. Какая я мать ей? Она — образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто...

Помолчав, она негромко спросила:

— Вот как! Прачка — вам не угодна? А гулящая баба — угодна?

Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, — иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием — она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!

— Эх ты, — сказала она, взглянув на меня и вздыхая. — Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую — не суйся сюда, пропадешь!

Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:

— А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою бросить, что ты? А она: удавлюсь, говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо... Хорошо... А как же я? А я — вот так... К чему мне прижаться? А — к прохожему...

Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком.

У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.

— Прощайте!

— А? Иди, иди к черту! — отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.

Я воротился на двор, к Ардальону, — он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.

Я вышел из ворот и тотчас столкнулся с Натальей, — всхлипы-

вая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил:

— Дай ей еще раз, дай!

Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.

— Н-на, бей! — крикнула она.

Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.

— Чего ты?

— Не трогай, — едва мог сказать я ему.

Он захохотал.

— Она тебе — любовница? Ай да Наташка — сожрала монашка!

Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, — это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и убежал.

С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона, — встретил его на пароме.

— Ты — где пропал? — радостно спросил он.

Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.

— Да разве это — всерьез? Это мы шутики ради помазали тебя! А она — да что же ее не бить, коли она — гулящая? Жен бьют, а таких и подавно не жаль! Только это все — баловство одно! Я ведь понимаю — кулак не наука!

— Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..

Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:

— В том и безобразие наше, что никто никого не лучше... Я, брат, все понимаю, и снаружи, и с изнанки, все! Я — не деревня...

Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожаленьем доброго учителя к бестолковому ученику...

...Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мною снисходительно и все упрекал:

— За какую ты работу взялся — пропадешь! Мужики эти...

Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.

— Жихарев все путается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через меру. А Гоголева — волки съели; поехал он на святки домой, а там его, пьяного, волки и сожрали!

И, заливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:

— Съели и — тоже все пьяные! Веселые стали, — ходят по

лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки — подошли все!..

Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил там, — далеко от меня. Это было немножко грустно.

ХІХ

Зимою работы на Ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности; они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:

— Виктор смеется, что ты будто, Пешкóв, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ко, почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не понравились ему, но он все-таки сказал:

— Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В его пору еще верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто — шутил! Да-а, брат, — задумчиво протянул он, — надо бы тебе учиться, а опоздал ты! Черт знает, как ты будешь жить... Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы — засмеют... Бабы, брат, любят это — за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и все опасливо оглядывался, а звонки пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому кроме него неизвестное, подорвало ему сердце, и теперь он жил не уверенно, не охотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пья-

ницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастера, — трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки, — голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех — и всегда какие-то особенно хорошие песни — пел маленький, тощий шорник Клецов, человек мятый, жеваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные, сонные глаза были неподвижны.

Бывало, закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой:

Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да призакрыл туман дороги дальние...

Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задумчиво выводил, подняв лицо к потолку:

Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкую найду?

Голос у него был маленький, но неутомимый; он прошивал глухой, о́темный гомон трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей, — даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец — словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человеческой жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздохнет, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь — вот она!

Сидит в углу толсторожая торговка Лысуха, баба отбойная, бесстыдно гуляющая; спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее нава-

лился на стол мрачный октавист Митропольский, волосатый дедина, похожий на дьякона-расстригу, с огромными глазами на пьяном лице; смотрит в рюмку водки перед собой, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно, — не может почему-то выпить.

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

— Ну, конечно, хорошо! Хоша ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако — мастер, что и говорить! Иного — никто не скажет...

Клещов, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил:

— Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, — это только мне дано!

— Ну, не хвастай, однако!

— Кому — нечем, тот не хвастает, — все так же тихо, но более упрямо говорил певец.

— Заносчив ты, Клещов! — с досадой восклицает трактирщик.

— Выше своей души не заношусь...

А в углу рычал мрачный октавист:

— Что понимаете в пении сего безобразного ангела вы, черви, вы, плесень?

Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие и все, кто мог, кто хотел.

Трактирщик любит песни Клещова, но терпеть не может самого певца; жалуется всем на него и явно ищет унижить шорника, посмеяться над ним; это знают и завсегдатаи трактира и сам Клещов.

— Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть, — говорит он, и некоторые гости соглашались с ним.

— Это — верно, заносчив парень!

— Чем заносится? Голос — от бога, не сам нажил! Да и велик ли голос-то? — упрямо твердит трактирщик.

Согласная публика вторит ему:

— Верно, тут не голос, а больше — уменье.

Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать Лысуху:

— Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещовым-то, помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?

— Кабы я помоложе была, — усмехаясь, сказала торговка.

Трактирщик горячо и громко закричал:

— Что молодые умеют? А ты — возмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя! В тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возмись, Евдокимовна, поблагодарю, эй?

Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила:

— Тут — молодую надо. Кабы я моложе была, ну — не задумалась бы.

Почти всегда трактирщик старался напоить Клещова, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил.

Нередко трактирщик выискивал соперников Клещову; споев шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь:

— Тут, кстати, еще один поющий пришел! Нуте-кась, пожалуйста, покажите себя!

Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещова спел так же просто и задумчиво, как умел петь этот маленький, неказистый шорник.

— Н-нда, — не без сожаления говорил трактирщик, — это, конечно, хорошо-о! Главное — голос тут, а вот — душа-то...

Публика посмеивалась:

— Нет, шорника не одолеть, видно!

А Клещов, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику:

— Балуете вы. Супротив меня не найти вам певца, как у меня дарование — от бога...

— Мы все — от бога!

— Разоритесь на вине, а не найдете...

Трактирщик багровел и бормотал:

— Как знать, как знать...

А Клещов настойчиво доказывал ему:

— Еще я скажу вам, что пение — это, например, не петушиный бой...

— Да знаю я! Чего ты пристаешь!

— Я не пристаю, я только доказываю: коли песня — забава, это уж — от лукавого!

— Да будет! Лучше спой еще...

— Петь я всегда могу, хоть во сне даже, — соглашался Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, все пошлое, трактирное — чудесно исчезало дымом; на всех веяло струей иной жизни — задумчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми,— он так чудесно пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться с шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему,— Клещов смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его,— а хотелось любить этого человека не только тогда, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он, по-стариковски, натягивает на голову картуз и как, всем на показ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил:

— Это мне милашка моя связала, девчонка одна...

Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый, мороженный нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал:

— Поди прочь, парнишка!

Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко кричал; все, вздрогнув, поворачивались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо.

— Что смотрите? Что видите? — вдруг спрашивал он бухающими словами.

Иногда ему отвечали:

— Лешего видим!

Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжело шаркая ногами, но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку:

— Аз есмь бога моего неподкупный слуга и се обличаю вы, яко Исаия! Горе граду Ариилу, иде же сквернавцы и жулики и всякие мрази безобразнии жительствоуют в грязи подлых вождений своих! Горе корабельным крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек препакостных,— разумею вас, пьяницы, обжоры, отребие мира сего,— несть вам числа, окаяннии, и не приемлет вас земля в недра своя!

Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели,— это очень нравилось публике, и она похваливала пророка:

— Здорово лупит, косматый пес!

С ним легко было познакомиться,— стоило только предложить ему угощение; он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье; оно

разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом:

— Зачем читать?

Но, умягченный моим смущением, прогудел:

— Екклезиаста — читал?

— Читал.

— Екклезиаста читай! Больше — ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают ее — сиречь никто не понимает... Ты кто таков — поешь?

— Нет.

— Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие.

С соседнего стола спросили его:

— А ты сам-от — поешь?

— Да, я — бездельник! Ну?

— Ничего.

— Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь!

В этом тоне он говорил со всеми и со мною, конечно; хотя после двух-трех угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления:

— Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и зачем ты? А впрочем — черт тебя возьми!

К Клещову он относился непонятно: слушал его песни с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно:

— Это — болван! Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки — осел!

— Почему?

— По природе своей.

Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв, но трезвый он только мычал, глядя на все отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем, — я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа; октавист тряхнул головою и сказал:

— Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, — помню! Хрисанф значит — золотой цвет, как верно сказано у Памвы Берынды. Да, он был золотоцветен, Хрисанф!

— А кто это Памва Берында? — спросил я, но Митропольский кратко ответил:

— Не твое дело.

Дома я записал в тетрадь свою: «Непременно читать Памву Берынду», — мне показалось, что именно у этого Берынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня.

Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов; это очень раздражало меня.

— Жизнь — не Анисья! — говорил он.

Я спрашивал:

— Кто это — Анисья?

— Полезная, — отвечал он, и мое недоумение забавляло его.

Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его?

Но все-таки он оставлял нечто в душе моей; мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаию.

— О, нечисть и смрад земли! — рычал он. — Худшие у вас — во славе, а лучшие — гонимы; настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!

Слушая этот рев, я вспомнил Хорошее Дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, Королеву Марго в туче грязных сплетен, — у меня уже было что вспомнить...

Мое краткое знакомство с этим человеком кончилось курьезно.

Весною я встретил его в поле, около лагерей, он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший.

— Гуляешь? — спросил он хрипло. — Идем вместе. Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен, да...

Несколько шагов мы прошли молча и вдруг в яме от палатки увидали человека: он сидел на дне ямы, склонясь набок, опираясь плечом на стенку окопа, пальто у него с одной стороны въехало выше ушей, точно он хотел снять его и не мог.

— Пьяный, — решил певчий, остановясь.

Но под рукою человека валялся на молодой траве большой револьвер, недалеко от него — фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки, — ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто.

С минуту мы стояли молча, потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал:

— Застрелился.

Я сразу понял, что человек не пьян, а — мертв, но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой, гладкий череп, высунувшийся из-под пальто, и на синее ухо, — не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день.

Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел:

— Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал...

Он послал меня в город за полицией, а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто.

Известив о самоубийце городского, я быстро прибежал назад, но за это время октавист допил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой.

— Вот что погубило его! — рычал он и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее.

Вслед за мною прибежал городской, заглянув в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего:

— Ты кто таков?

— Не твое дело...

Полицейский подумал и спросил более вежливо:

— Как же это вы — тут мертвый, а вы — пьяный?

— Я двадцать лет пьян! — с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь.

Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди, приехал на дрожках строгий квартальный, спустился в яму и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо.

— Кто первый увидел?

— Я, — сказал Митропольский.

Квартальный поглядел на него и зловеще протянул:

— А-а, здравствуй, сударь мой!

Собрались зрители, десятка полтора; запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею; кто-то крикнул:

— Это с нашей улицы чиновник, я его знаю!

Октавист, покачиваясь, стоял перед кварталным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова; потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел; тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку, связал ею руки певчего, привычно и покорно спрятанные им за спину, а квартальный начал сердито кричать на зрителей:

— Прочь! Р-рвань...

Прибежал еще старенький городской, с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руку конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город.

Я тоже пошел с поля, удрученный; в памяти гулким эхом звучали карающие слова:

«Горе граду Ариилу!...»

А перед глазами — тягостная картина: полицейский не спеша вытягивает из кармана шинели своей веревочку, а грозный пророк покорно заложил красные, волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело...

Вскоре я узнал, что пророка выслали из города по этапу. А за ним исчез Клецов — женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую.

...Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды:

— Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко открыв глаза.

По дороге в трактир он высмеивал меня и в трактире первые минуты все издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

— Ого... черт!

Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать.

— Д-да, брат,— сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь,— действительно — поет... черт его возьми! Даже жарко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок:

По дороге из богатого села
Чистым полем молодая девка шла...

— Поет,— пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещов заливается, как свирель:

Отвечает красна девица ему:
— Сирота я, не нужна я никому...

— Хорошо,— шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами,— ф-фу, черт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат все сильнее, краше, задушевнее:

Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девку, на вечорки не зовут,
Ой, бедна я да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе —
Не хочу я покориться той судьбе!..

Хозяин мой бесстыдно заплакал,— сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слезы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый:

— Не могу больше сидеть тут — задыхаюсь, запахи же, черт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

— Айда, Пешкóв, в гостиницу, закусим и все... Не хочется домой!

Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал вполголоса, оглядываясь, сердито тоскуя:

— Разбередил меня этот козел... такую грусть нагнал... Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи — что за дьявольщина? Живешь, живешь, сорок лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз — так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем, — а не с кем! С ней заговоришь, с женой — не доходит до нее... Да что — она? У ней — дети... ну, хозяйство, свое дело! Она моей душе чужая. Жена — друг до первого ребенка... как водится. Да она у меня, вообще... ну, ты сам видишь... ни в дудку, ни поплясать... неодушевленное мясо, черт вас возьми! Тоска, брат...

Он судорожно выпил холодное, горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил:

— Вообще, брат, люди — сволочь! Вот ты там с мужиками говоришь, то да се... я понимаю, очень много неправильного, подлого — верно, брат... Воры всё! А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки! Да. Они — Петр, Осип — жулье! Они мне все говорят — и как ты про меня выражаешься, и всё... Что, брат?

Я молчал, удивленный.

— То-то! — сказал хозяин, усмехаясь. — Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймешь — чужой язык! А на своем языке — одни подлости!

— Осип рассказывает про меня? — спросил я.

— Ну да! А ты — что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука... Нет, Пешкóв, слова не доходят. Правда? А на кой черт она? Это все равно как снег осенью — упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты — лучше молчи...

Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянея, говорил все более быстро, сердито:

— Пословица говорит: слово — не долото, а молчание — золото. Эх, брат, тоска, тоска... Верно он пел: «Нелюдимо на селе у нас живут». Сиротство человечье...

Оглянувшись, он понизил голос и сказал:

— Вот — нашел было я себе... сердечного друга — женщина тут одна встретилась, вдова, мужа у нее в Сибирь осудили за фальшивые деньги — сидит здесь, в остроге. Познакомился я с ней... денег у нее ни копейки, ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила с ней... Присматриваюсь — что за милый человек! Красавица, знаешь, молодая... просто — замечательно! Раз, два... потом я ей и говорю: как же это, говорю, муж у тебя —

жулик, сама ты себя нечестно держишь — зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним идет, на поселение, да-а... И вот она говорит мне: каков, говорит, он ни есть, а я его люблю, для меня он хорош! Может, он это из-за меня согрешил? А я с тобою грешу — для него, ему, говорит, деньги нужны, он — дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это... Черт!.. Отдал я ей все, что было с собой — восемьдесят рублей с чем-то, — и говорю: извините, говорю... я не могу больше с вами, не могу! Ушел, да — вот...

Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал: — Шесть раз был у нее... Ты не можешь понять, что это такое! Я, может быть, еще шесть раз к ее квартире подходил... войти — не решался... не мог! Теперь она — уехала...

Он положил руки на стол и шепотом, двигая пальцами, сказал:

— Не дай бог опять встречу ее... не дай бог! Тогда — всё к черту! Идем домой... идем!

Пошли; он пошатывался и ворчал:

— Вот как, брат...

Меня не удивила история, рассказанная им, — мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное.

Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.

XX

Три лета прожил я «десятником» в мертвом городе, среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью ломают неуклюжие каменные лавки, а весною строят такие же.

Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал его пять рублей. Если в лавке перестилали пол — я должен был выбрать со всей ее площади землю на аршин в глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не получал ничего, но, занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь.

И рабочие и подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности, и нимало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись:

— Стараешься ты за пять-то целковых, как за двадцать, глядеть смешно!

Я указывал хозяину, что, выигрывая на моем труде рубль, он

всегда теряет в десять раз больше, но он, подмигивая мне, говорил:

— Ладно, притворяйся!

Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству, это вызвало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало; таков порядок: все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое.

Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковер, ножницы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь:

— Составь список вещей и снеси всё в кладовую!

А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по несколько раз переправлять опись их.

Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейне; хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист города, злой старичок, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и все, что загромождало квартиру хозяина, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака; мне вообще не нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним. И было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, все увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах Королевы Марго было тоже тесно, но зато — красиво.

Жизнь вообще казалась мне бессвязной, нелепой, в ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весной половодье затопит их, выпятит полы, исковеркает наружные двери; спадет вода — загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает Ярмарку, портит здания, мостовые; эти ежегодные потоны приносят огромные убытки людям, и все знают, что потоны эти не устранятся сами собою.

Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов, — люди поохают и — строят новые суда, а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчея на одном и том же месте!

Я спрашиваю об этом Осипа, он удивляется и хохочет.

— Ах ты, цапля, гляди, как цапнул! Да тебе какое дело до этого до всего? Тебе-то что, а?

Но тут же говорит более серьезно, не угашая, однако, огонька насмешки в голубых, не по-старчески ясных глазах:

— Это ты дельно заметил! Положим, ни к чему оно тебе, а может, и годится! Ты вот еще что приметь...

И рассказывает сухонькими словами, щедро присыпая их прибаутками, неожиданными сравнениями и всяким балагурством:

— Вот — жалуются люди: земли мало, а Волга весной рвет берега, уносит землю, откладывает ее в русле своем мелью; тогда

другие жалуются: Волга мелеет! Весенние потоки да летние дожди овраги роют,— опять же земля в реку идет!

Он говорит без жалости, без злобы, а как бы наслаждаясь своим знанием жалоб на жизнь, и, хотя слова его согласно вторят моим мыслям,— мне неприятно слушать их.

— А еще приметъ — пожары...

Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда бы за Волгою не горели леса; ежегодно в июле небо затянуто мутно-желтым дымом; багровое солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как больное око.

— Леса — пустое дело,— говорит Осип,— это имение барское, казенное; у мужика лесов нет. Города горят — это тоже не великое дело,— в городах живут богатые, их жалеть нечего! Ты возьми села, деревни,— сколько деревень за лето сгорит! Может — не меньше сотни, вот это — убыток!

Он тихонько смеется.

— Есть именье, да нет уменья! И выходит у тебя со мной, что будто не на себя человек работает, не на землю, а на огонь да воду!

— Что же ты смеешься?

— А что? Пожар слезой не потушишь, а половодье со слез мощней будет.

Я знаю, что этот благообразный старик — самый умный человек из всех, кого я видел, но что же он любит, что ненавистно ему?

Я думаю об этом, а он продолжает подкладывать в мой костер сухие словечки.

— А ты погляди, как мало люди силу берегут, и свою и чужую, а? Как хозяин-то мотает тебя? А водочка чего стоит миру? Сосчитать невозможно, это выше всякого ученого ума... Изба сгорит — другую можно сбить, а вот когда хороший мужик пропадает зря — этого не поправишь! Ардальон, примерно, али бы Гриша — гляди, как мужик вспыхнул! Глуповатый он, а душевный мужик, Гриша-то! Дымит, как сноп соломы. Бабы-то напали на него, подобно червям на убитого в лесу.

Я спрашиваю его — безобидно, с любопытством:

— Зачем ты рассказываешь хозяину мои мысли?

Спокойно и даже ласково он объясняет:

— А чтоб он знал, какие у тебя вредные мысли; надо, чтоб он тебя учил; кому тебя поучить, кроме хозяина? Я не со зла говорю ему, а по моей жалости к тебе. Парнишка ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит. Украдь — я смолчу, к девкам ходи — тоже смолчу, и выпьешь — не скажу! А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай...

— Не буду я с тобой говорить!

Он помолчал, отковыривая ногтем смолу с ладони, потом, взглянув на меня ласковыми глазами, сказал:

— Врешь, будешь! С кем тебе еще говорить-та? И не с кем...

Чистенький, аккуратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему.

Иногда он напоминает начетчика Петра Васильева, иногда — извозчика Петра, порою в нем является что-то общее с дедом — он так или иначе похож на всех стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя, — тяжело и противно. Они как бы выедают душу, их речи — умные речи, — покрывают сердце рыжею ржавчиною. Осип — добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своею гибкостью, этот ум мертвил меня, и в конце концов я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен.

В душе моей вскипали черные мысли:

«Все люди — чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки, да и на земле все — чужие; кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и все любит. Бабушка и великолепная Королева Марго».

Иногда эти и подобные мысли сгущались темною тучей, жить становилось душно и тяжело, а — как жить иначе, куда идти? Даже говорить не с кем, кроме Осипа. И я все чаще говорил с ним.

Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил:

— Упрям, дятел, да не страшен, никто его не боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты в монастырь, поживешь там до возраста — будешь хорошей беседой богомолов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам — доход! Душевно советую. К мирским делам ты, видно, не способен, что ли...

В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запутался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес, — грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь знаешь его.

Я не пил водки, не путался с девицами, — эти два вида опьянения души мне заменяли книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить так пусто и ненужно, как, мне казалось, живут люди.

Мне только что минуло пятнадцать лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренне разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чем беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни умения.

И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода не крепко стоящий сосуд.

Я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб; когда я видел жестокое, — кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком, — это вызывало у меня органическое отвращение; оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался, как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли.

Иногда так страстно хотелось избить мучителя-человека и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рожденного бессилием, со стыдом и тоскою.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию.

Был у меня в ту пору ядовитый враг, дворник одного из публичных домов Малой Покровской улицы. Я познакомился с ним однажды утром, идя на Ярмарку; он стаскивал у ворот дома с пролетки извозчика бесчувственно пьяную девицу; схватив ее за ноги в сбившихся чулках, обнажив до пояса, он бесстыдно дергал ее, ухая и смеясь, плевал на тело ей, а она, съезжая толчками с пролетки, измятая, слепая, с открытым ртом, закинув за голову мягкие и словно вывихнутые руки, стучалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролетки, о подножку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни.

Извозчик, хлестнув лошадь, поехал прочь, а дворник впрягся в ноги девицы и, пятясь задом, поволок ее на тротуар, как мертвую. Я обезумел, побежал и, на мое счастье, на бегу, сам бросил или нечаянно уронил саженный ватерпас, что спасло дворника и меня от крупной неприятности. Ударив его с разбегу, я опрокинул дворника, вскочил на крыльцо, отчаянно задергал ручку звонка; выбежали какие-то дикие люди, я не мог ничего объяснить им и ушел, подняв ватерпас.

У съезда догнал извозчика; он, поглядев на меня с высоты козел, одобрительно сказал:

— Ловко ты его двинул!

Я сердито спросил его: как же это он позволил дворнику издеваться над девицей,— он сказал спокойно, брезгливо:

— А мне — пес их возьми! Мне господа заплатили, когда сажали ее в пролетку,— какое мне дело, кто кого бьет?

— А убили бы ее?

— Ну да — скоро убьешь этакую,— сказал извозчик так, как будто он неоднократно пробовал убивать пьяных девиц.

С того дня я почти каждое утро видел дворника; иду по улице, а он метет мостовую или сидит на крыльце, как бы поджидая меня. Я подхожу к нему, он встает, засучивая рукава, и предупредительно извещает:

— Ну, сейчас я тебя обломаю!

Ему было лет за сорок; маленький, кривоногий, с животом беременной женщины, он, усмехаясь, смотрел на меня лучистыми глазами, и было до ужаса странно видеть, что глаза у него — добрые, веселые. Драться он не умел, да и руки у него были короче моих,— после двух-трех схваток он уступал мне, прижимался спиною к воротам и говорил удивленно:

— Ну, погоди же, хват!..

Эти сражения надоели мне, и я сказал ему однажды:

— Послушай, дурак, отвяжись ты от меня, пожалуйста!

— А ты зачем бьешься? — спросил он укоризненно.

Я тоже спросил его, зачем он так гадко издевался над девицей.

— А тебе что? Жалко ее?

— Жалко, конечно.

Он помолчал, вытер губы и спросил:

— А кошку жалко тебе?

— Ну, и кошку жалко...

Тогда он сказал мне:

— Ты сам дурак, жулик! Погоди, я те покажу...

Я не мог не ходить по этой улице — это был самый краткий путь. Но я стал вставать раньше, чтобы не встречаться с этим человеком, и все-таки через несколько дней увидел его — он сидел на крыльце и гладил дымчатую кошку, лежавшую на коленях у него, а когда я подошел к нему шага на три, он, вскочив, схватил кошку за ноги и с размаху ударил ее головой о тумбу, так что на меня брызнуло теплым,— ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая:

— Что?

Ну, что же тут делать! Мы катались по двору, как два пса; а потом, сидя в бурьяне съезда, обезумев от невыразимой тоски,

я кусал губы, чтобы не реветь, не орать. Вот вспоминаешь об этом и, содрогаясь в мучительном отвращении, удивляешься — как я не сошел с ума, не убил никого?

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, — это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нем, дабы вы вспомнили, как живете и в чем живете.

Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!

Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить, но нельзя быть сентиментальным и нельзя скрывать грозную правду в пестрых словечках красивенькой лжи. К жизни, к жизни! Надо растворить в ней все, что есть хорошего, человеческого в наших сердцах и мозгах.

...Меня особенно сводило с ума отношение к женщине; начитавшись романов, я смотрел на женщину как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, ее рассказы о богородице и Василисе Премудрой, несчастная прачка Наталья и те сотни, тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают ее, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью.

Славу женщине пели книги Тургенева, и всем, что я знал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ Королевы — Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого.

Возвращаясь вечером с Ярмарки, я останавливался на горе, у стены кремля, и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синееет земная, любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа на свинью, и ее лениво тащит куда-то невидимый пароход.

Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни.

И все казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь.

Однажды, когда я сидел на скамье под стеною кремля, рядом со мною очутился дядя Яков. Я не заметил, как он подошел, и не сразу узнал его; хотя в течение нескольких лет мы жили в одном городе, но встречались редко, случайно и мельком.

— Эк тебя вытянуло, — шутливо сказал он, толкнув меня, и мы стали разговаривать, как чужие, но давно знакомые люди.

По рассказам бабушки я знал, что за эти годы дядя Яков окончательно разорился, все прожил, прогулял; служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо: смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя веселые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город «погулять». Никто из арестантов не убежал, но один был пойман как раз в ту минуту, когда он усердно душил какого-то дьякона. Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло, — арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. Теперь он жил без работы, на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время. О сыне он говорил странно:

— Он у меня серьезный стал, важный! Солист. Не успеешь вовремя самовар подать али одежду вычистить — сердится! Аккуратный парень. И чистоплотен...

Сам дядя сильно постарел, весь загрязнился, облез и обмяк. Его веселые кудри сильно поредели, уши оттопырились, на белках глаз и в сафьяновой коже бритых щек явилась густая сеть красных жилок. Говорил он шутливо, но казалось, что во рту у него что-то лежит и мешает языку, хотя зубы его были целы.

Я обрадовался возможности поговорить с человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать. Мне ярко вспомнились его бойкие, смешные песни, и прозвучали в памяти дедовы слова о нем:

«По песням — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит!»

По бульвару мимо нас ходила чистая публика: пышные барыни, чиновники, офицеры; дядя был одет в потертое осеннее пальто, измятый картуз, рыженькие сапоги и ежился, видимо, стесняясь своего костюма. Мы ушли в один из трактиров Почаинского оврага и заняли место у окна, открытого на рынок.

— Помните, как вы пели:

Нищий вывесил онучи сушить,
А другой нищий онучи украл...

Когда я произнес слова песни, я вдруг и впервые почувствовал ее насмешливый смысл, и мне показалось, что веселый дядя зол и умен.

Но он, наливая водку в рюмку, задумчиво сказал:

— Да, пожил я, почудил, а — мало! Песня эта — не моя, ее составил один учитель семинарии, как бишь его звали, покойника? Забыл. Жили мы с ним приятелями. Холостой. Спился и —

помер, обморозился. Сколько народу спилось на моей памяти — сосчитать трудно! Ты не пьешь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? Невеселый старичок. С ума будто сходит.

Выпив, он оживился, расправился, помолодел и стал говорить бойчее.

Я спросил его про историю с арестантами.

— Ты слышал? — осведомился он, оглянувшись, и, понизив голос, заговорил:

— Что ж, арестанты? Я ведь не судья им. Вижу — люди как люди, и говорю: братцы, давайте жить дружно, давайте весело жить; есть, говорю, такая песня:

Судьба веселью не помеха!
Пускай она в дугу нас гнет,
Мы будем жить для ради смеха,
Дурак, кто иначе живет!..

Он засмеялся, взглянул в окно на потемневший овраг, уставленный по дну торговыми ларями, и продолжал, поправляя усы.

— Они, конечно, рады, скучно в тюрьме-то. Ну, вот, кончим проверку, сейчас — ко мне; водка, закуска; когда — от меня, когда — от них, и — закачалась, заиграла матушка Русь! Я люблю песни, пляску, а между ними — отличные певцы и плясуны, до удивления! Иной — в кандалах; ну, а в них не спляшешь, так я разрешал снимать кандалы, это правда. Они, положим, сами умеют снять, без кузнеца, ловкий народ, до удивления! А что я их в город на грабеж выпускал — ерунда, это даже не доказано осталось...

Он замолчал и посмотрел в окно, в овраг, где старьевщики запирали свои лари; там гремело железо засовов, визжали ржавые петли, падали какие-то доски, гулко хлопая. Потом, весело подмигнув мне, негромко продолжал:

— Если правду говорить, так один действительно уходил по ночам, только это не кандальник, а просто вор здешний, нижегородский; у него неподалеку, на Печорке, любовница жила. Да и с дьяконом случилась история по ошибке: за купца приняли дьякона. Дело было зимой, ночь, вьюга, все люди — в шубах, разбери-ка второпях-то, кто купец, кто дьякон?

Это мне показалось смешным, он тоже засмеялся, говоря:

— Да ей-богу! Черт их разберет...

Тут дядя неожиданно и странно легко рассердился, оттолкнул тарелку с закуской, брезгливо сморщил лицо и, закулив папиросу, пробормотал глухо:

— Воруют друг у друга, потом друг друга ловят, в тюрьмы

прячут, в Сибирь, в каторгу, ну, а я тут при чем? Наплевать мне на всех... У меня — своя душа!

Предо мною встал мохнатый кочегар — он тоже часто говорил «наплевать». И звали его Яковом.

— Ты о чем думаешь? — мягко спросил дядя.

— Жалко вам было арестантов?

— Их легко пожалеть, такие есть ребята, до удивления! Иногда смотришь и думаешь: а ведь я ему в подметки не гожусь, хоть и начальник над ним! Умные, черти, ловкие...

Вино и воспоминания снова приятно возбудили его; облокотясь о подоконник, помахивая желтой рукою с окурком между пальцев, он оживленно заговорил:

— Один, кривой, гравер и часовых дел мастер, за фальшивые деньги судился и бежал, так послушал бы ты, как он говорил! Огонь! Просто поет, как солист. Объясните, говорит, почему казна может печатать деньги, а я — не могу? Объясните! Никто не может объяснить ему это. Никто, и я тоже не могу. А я — начальник над ним! Другой — знаменитый московский вор, тихонький такой, щеголь, чистюля — тот вежливо говорил: люди, говорит, работают до отупения, а я этого не хочу. Я, говорит, это испытал: работаешь, работаешь, станешь с устатку дураком, на грош напьешься, семишник в карты проиграешь, пятачок бабе за ласку, потом — снова голоден, беден. Нет, говорит, я в эту игру не играю...

Дядя Яков наклонился к столу и продолжал, покраснев до макушки, возбужденный так, что даже его маленькие уши вздрагивали:

— Они, брат, не дураки, они правильно судят! Ну ее к черту, всю эту канитель. Например: как я жил? Вспомнить стыдно — все урывками, украдкой, горе — свое, а веселье — краденое! То отец кричит — не смей, то жена — не моги, то, бывало, сам боишься целковому голову свернуть. Вот и прозевал жизнь, а на старости лет сыну своему лакеем служу. Что скрывать? Служу, брат, смирененько, а он на меня покрикивает барином этаким. Говорит — отец, а я слышу — лакей! Что же я, для этого родился, для этого мотался, чтобы сыну служить? Да хоть бы и не было этого, — зачем жил, много ли удовольствия получено мною?

Я слушал его невнимательно. Неохотно и не надеясь на ответ, все-таки сказал:

— Я вот тоже не знаю, как мне жить...

Он усмехнулся.

— Ну... Кто это знает? Не видал я таких, чтобы знали! Так, живут люди, кто к чему привык...

И снова заговорил обиженно и сердито:

— Был у меня, за насилие, один человек из Орла, дворянин,

отличнейший плясун, так он, бывало, всех смешил, пел про Ваньку:

Ходит Ванька по погосту —
Это — очень просто!
Ах ты, Ванька, высунь нос-то
Подальше погоста!..

Так я думаю, что это вовсе не смешно, а — правда! Как ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда — мне все равно: арестантом жить али смотрителем над арестантами...

Он устал говорить, выпил водку и заглянул по-птичьи, одним глазом, в пустой графин, молча закурил еще папиросу, пуская дым в усы.

«Как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать», — нередко говаривал каменщик Петр, совершенно непохожий на дядю Якова. Сколько уже знал я таких и подобных поговорок!

Больше ни о чем не хотелось спрашивать дядю. Грустно было с ним, и жалко было его; все вспоминались бойкие песни и этот звон гитары, сочившийся радостью сквозь мягкую грусть. Не забыл я и веселого Цыгана, не забыл и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думал невольно: «Помнит ли он, как задавили Цыгана крестом?»

Не хотелось спросить об этом.

Я смотрел в овраг, до краев налитый сыроватой августовской тьмою. Из оврага поднимался запах яблоков и дынь. По узкому въезду в город вспыхивали фонари, все было насквозь знакомо. Вот сейчас загудит пароход на Рыбинск и другой — в Пермь...

— Однако надо идти, — сказал дядя.

У двери трактира, встряхивая мою руку, он шутливо посоветовал.

— Ты не хандри; ты как будто хандришь, а? Плюнь! Ты молоденький еще. Главное, помни: «Судьба — веселью не помеха!» Ну, прощай, мне — к Успенью!

Веселый дядя ушел, оставив меня еще более запутанным его речами.

Я поднялся в город, вышел в поле. Было полнолуние, по небу плыли тяжелые облака, стирая с земли черными тенями мою тень. Обойдя город полем, я пришел к Волге, на Откос, лег там на пыльную траву и долго смотрел за реку, в луга, на эту неподвижную землю. Через Волгу медленно тащились тени облаков; перевалив в луга, они становятся светлее, точно омылись водою реки. Все вокруг полуспит, все так приглушено, все

движется как-то неохотно, по тяжелой необходимости, а не по пламенной любви к движению, к жизни.

И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё — и сам я — завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни — красивой, бодрой, честной...

Думалось:

«Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду...»

Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нем, — осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Сбьешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота — в конце концов всегда выйдешь на дорогу!

Так я и решил.

Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.

1914

Р А С С К А З Ы



МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо». — Эге! А тебе что до того? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком.

— Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведомая ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и всё тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки, — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё тут! И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам

хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер был жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу! Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия и Чехия и Славония, и всё, что кругом моря, знало его, — удачный был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! Разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла — это уж как раз!

«И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поедит да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

«Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило-

солдат, что с Кошутым воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

«Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

«— Эх, девка! — охнул он да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

«А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: всё поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

«— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

«— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

«Засмеялся Данило и все мы с ним.

«— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. — И пошли мы вперед.

«А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

«Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

«Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и

играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас!

«— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

«Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

«Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

«Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок, — вот лгут люди!» — и пошла прочь.

«— Эге, красавица, у тебя острые зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня. — Здравствуй, браты! Вот и я к вам!

«— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

«Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, всё равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

«Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он

играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

«Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом её. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то ещё и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдёт ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

«Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!» Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзы
Тверда моя рука!

«Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день,
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!

«Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит точно воду цедит:



«— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да — в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.— Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

«— Это песня! — сказал Данило.— Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

«Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

«— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас кинула.

«— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

«— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

«— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило.— Да возьми, коли можешь!

«— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь— я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку,— вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе,— вот отчего упал Лойко.

«И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но всё ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

«И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

«Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

«Весело мне стало! «Эх, важно! — думаю, — удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

«— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

«— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и всё тут.

«— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

«— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

«— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

«— А еще вот что, Лойко: всё равно, как ты ни вертись, я тебя

одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонись мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

«Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то пошмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

«— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

«— Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

«Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

«— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и всё тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

«— Ну! — крикнула Радда Зобару.

«— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

«— Так вот и всё дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

«Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

«— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

«Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

«— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

«— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и напустились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходунном заходили его стариковские плечи.

«Было тут над чем плакать, сокол!

«...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинеешь даром. Вот и всё, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало

глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

Ч Е Л К А Ш

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревящие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудami товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был

бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помоё поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруюешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь, вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад, к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув

руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то!

Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промыслял. Придешь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слыхал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело... — говорил тот. — Отец у меня умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь —

тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... те-мен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь, прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг все!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну вот, мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале: в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными головами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел, наконец, до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо

восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испытать ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На да-

легкое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой-ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды — и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя

на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать перед этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, греби же!.. Тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.

— Богородице... дево... — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву.

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат... Пусты для бога!.. Что я тебе?.. а? Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку

вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорее! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остоны, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он схватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом всё молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола слышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила

принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!.. — выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, гребни тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятныш-

ко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, — но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя, и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, по-свистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгροхал — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть, да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолот!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

— Да чудак-человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народа на свете!.. Шатающихся...

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй, а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь, черт занес!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с ~~этим~~? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это тово — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стусеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченый дьявол!.. — взревел Челкаш.

— О, сердитый пришел сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы... — ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся наконец Гаврила. — Баринот стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще!.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила. — Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокошущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. Кабы этакие деньги!.. — и он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощутив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну тя к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь на одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул

его наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри...— крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!..— визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху.— Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене, и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного,— никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!..— рывкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два,— другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся

вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей: подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, поднимаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!.. — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!.. — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду

и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно



просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку...— прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю...— Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бес- сильном гневе о твердый камень...

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

«Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

«— Что, умираешь?

«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

«— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... Тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

«И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

«— 'О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

«А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

«И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и проживешь ты еще немного в своей стихии».

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

«И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

«Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...»

II

«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

«— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прыгнул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

«Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

«В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поем мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нисколько не смешно и не страшно выходка Рагима, одухотворяющего волны. Всё кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

О Д Н А Ж Д Ы О С Е Н Ь Ю

...Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение: в городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека,— я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни всё то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо,— дело происходило в последних числах октября.

Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым...

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и,— можно безошибочно сказать,— недурно обставленные внутри: это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди,— они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого,— вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!..

...Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга... Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя; печаль-

ную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый челн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые... Все кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было вокруг — казалось, всё умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, — увидел за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокрым от дождя и плотно приставшем к склоненным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на корточки около нее.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я видел, что эта девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью — по одному, равной величины, под глазами и один — побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла... Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже есть хочешь? Ну-ка, рой, у меня руки устали. Там, — она кивнула головой на ларь, — наверно, хлеб есть... Этот ларь торгует еще...

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне...

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться, — кажется, я был настолько углублен в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всем прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе...

Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — все более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как будто глуше, чем рань-

ше, а дождь барабанил о доски ларя все звучнее и чаще... Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа...

— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал.

— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму, — а там, может, толстые доски еще... Как их отдерешь? Лучше замок сломать... замок-то плохонький...

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но, как вы видите, они все-таки посещают их... Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрителный возглас:

— Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия.

— Корзина с бутылками... Мешки пустые... Зонтик... Ведро железное.

Все это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут... Но вдруг она оживленно крикнула:

— Ага! вот он...

— Кто?

— Хлеб... Каравай... Только мокрый... Держи!

К ногам моим выкатился каравай, и за ним она, моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал...

— Ну-ка, дай мне... Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? — Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны... Было темно, мокро, шумно... — Вон там лодка опрокинута... айда-ка туда?

— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты... Дождь усиливался, река ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, — точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев... Сердце болезненно ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

— Как тебя зовут? — зачем-то спросил я ее.

— Наташа! — отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на нее — у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня и — мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно...

...По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чем-то невыносимо скучном и тяжелом, надоевшем им до отвращения, о чем-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чем все-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох земли, обиженной и утомленной этими вечными сменами яркого и теплого лета — осенью холодной, туманной и сырой. Ветер носился над пустынным берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни...

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра... Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, — на белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и молчание — я чувствовал — постепенно рождает во мне страх перед моей соседкой... Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизнь!.. — внятно, раздельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли... — снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и я

чувствовал, что если буду молчать еще, то, наверное, заплачу... А это было бы стыдно пред женщиной, тем более, что вот — она не плакала. Я решил заговорить с ней.

— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав ничего умнее.

— Да всё Пашка же... — ровно и громко ответила она.

— А он кто?..

— Любовник... Булочник один...

— Часто он тебя бьет?..

— Как напьется, так и бьет...

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые...», а он — булочник с рыжими усами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение», и ей очень понравился, потому что человек он веселый и одевается чисто. Поддевка в пятнадцать рублей и сапоги с «набором» у него... По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами на ее глазах...

— Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих... Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками, и за волосы — всячески... Это бы еще ничего! А вот порвал всю... это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Все порвал: и платье, и кофточку — новенькая еще совсем... и платок сдернул с головы... Господи! Как мне теперь быть? — вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь все крепче и холоднее... У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ежилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз...

— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас... плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари!.. Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас вы ее и под ноги себе... Шематоны паршивые...

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах ее не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон ее речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден нотами.

Но все это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно, — наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, — одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

— Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо...

— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит... как сыч! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол... Ну... ложись на землю... протягивайся... и я лягу... вот! Теперь обними меня руками... крепче... Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь... А потом — спинами друг к другу ляжем... Как-нибудь скоротаем ночь-то... Ты что, запил, что ли? С места прогнали?... Ничего!..

Она меня утешала... Она меня ободряла...

Будь я трижды проклят! — Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте! — Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недостижима была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне...

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки... но — такое живительное... Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было

вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа все говорила о чем-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нем пред этой ночью... Наташа же уговаривала меня:

— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь... и все такое...

И все целовала меня. Много, без счета, горячо...

Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

— Ну, не реви же, чужак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться... — как сквозь сон слышал я тихий, убедительный шепот...

...До рассвета мы лежали в объятиях друг друга...

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город... Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел описанную мною ночь, однажды осенью...

Если она уже умерла — как это хорошо для нее! — в мире да почует! А если жива — мир душе ее! Да не проснется в душе ее сознание падения... ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни...

КОНОВАЛОВ

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнета-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, цап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отялевываясь и взволнованно сопя. Это всё, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Нароботался, значит... — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка, вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Леса?

— Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой —

кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русской бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный,— говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

— Всё будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну,— не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай,— и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я.— Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живет, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?..

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».

— Гм... — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, — может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы...

Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне живут. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего, — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет — и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого роду была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили, — бывало, поедem с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедem, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная

история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этаким тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Воти сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках,

прильнув головой к широкой груди,— это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего,— он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было,— верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду,— так оно и было. Разве тут что особенное есть! Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвататься станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее,— едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управ-

лялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, — как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну, — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, — штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?.. — попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня

до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, — вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец, я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шепотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он. — На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кротко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер, — сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки, — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что

погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. — Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронут, из него тоски огнем не выжжешь... Остается — водкой ее заливать. Ну, и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, — что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как бы это сказать? Этаким искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что, ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, — мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печаль-

ная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Всё из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих бедах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек — сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть боссяком — потому он и босьяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет, — ты грамотный... Оно, пожалуй, — ежели взять других, — так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничтожением, до той поры еще невиданным мною у босьяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над

всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости,— они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самым собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка,— хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов,— из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди,— кричал я,— как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудака-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я ле-

жал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно

горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам,— теперь потемневшим и суженным,— исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорее, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узлы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босняка со Стенькой и босьяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол...»

— Будет!.. К черту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал,

чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу.— Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне.— А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель? Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, еже-

ли бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменная, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Пойщи... А этого телячьего Макара брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калейкой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, — стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутыва-

лась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, — выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Леса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять: почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакистную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно, — соглашается рассказчик. — А все-таки ты это к чему головой-то качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, — значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам перед собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и решительно неспособные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговаривал и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых, красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра, но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего... — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?.. — настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. — Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и, наконец, он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный чёрт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я.

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с приданым и... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он, — пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, чёрт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймашь, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму, да... а что в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила. А уж бы...

— П'дём! — рычал зверский бас. — П'дём, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дём! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... — следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дём!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я... Насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался... — подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. — Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дѣ-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, чёрт, поверила...— рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Всё!..— как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!..— с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник.— В полицию попала... пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дѣ-ем!..» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он.— Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлеба в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со

стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он. — С Капкой? Шабаш... — Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трескались. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, переворачивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь... — смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить. Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Какой в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж... Будет тебе...

— Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе...— уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом...— попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!..— убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой яркий детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается,— объяснил он.— Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул

сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... Совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этаким закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?... Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слышал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке. Первое дело — человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле,— вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегда-тай — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Все пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший,— сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень неременной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня.— Ну-ка, книжник и фарисей,— тяпни! Я, брат, окончательно прыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда,— сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?.. — Он засмеялся.— Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это,— может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ,— ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-уходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, — было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоты доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму, — все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Бездна грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. — Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... Потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ош-но-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов. — Пей! Отводи душу — дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коно-

валов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности,— одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались

в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары киров о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!

И-эх! Никому-то нас не жалко!

О-ой, ду-убинушка,

У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, — большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть

стихии им. Они все только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, создающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно не бритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик. — Заржали!..

— Митрич, — лопнешь!.. — предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубашками и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая

пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... всё!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь». — «Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпороли. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили

меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с детей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина — матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительствова. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда свайбойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень

удобной для человеческого жительствова». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубали большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пiлтавы», — задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распылив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно — ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают

горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,— убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею.— И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуха, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы...— сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы...

— Ого,— тряхнул головой хохол,— коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь...— Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да,— смутился тот,— зима — треклятое время. Для зи-

мы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне...— спрашивал Коновалов,— почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек,— удивился хохол.— Да разве ж от того, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно...— грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать,— с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам,— так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А ляжемте спать,— предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал

зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

БЫВШИЕ ЛЮДИ

I

Въезжая улица — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытая дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора — это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, — и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный, двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко разворачивается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид — казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота отворены — одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержаемая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка — длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась — только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барачного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью, от нар — гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, — «просто — жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!»

Это был широкоплечий, высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала

немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен,— поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

— Что за человек? — спрашивал он у подходявшего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

— Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

— Все в порядке. За ночь — две копейки, за неделю — гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри — не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

— А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

— Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику — хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц,— объяснял Кувалда деловым тоном,— ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать — вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

— Здорово. Жив. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узнал.

— А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

— Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

— Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

— погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

— Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

— Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

— А вы все такой же — все шутите?

— Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

— Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

— Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, — резонировал ротмистр. — Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья — невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубового... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка вот тебе двугривенный, — иди и принеси косушку водки, на пятак горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

— Приехали! Баста! — говорил ротмистр. — Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не покаешься, не покавшись — не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя — скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог

сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел пред собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

— Ну, друг мой,— критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда,— штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения — верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — смущенно осведомлялся клиент.

— Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

— Покорнейше благодарю за ласку! — говорит тронутый клиент. — Экой вы — добряга! право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

— Что значит — на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь — какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и

изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и, когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол,— Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить,— можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным, острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

— Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

— Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! — строго предупреждал его ротмистр.

— Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

— Хоть реви — не дам!

— Ну, и — кончено! — вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Рот-

мистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость — он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

— Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!

— Его благородие настоящий воин — вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, невыразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

— Не можешь? — угрюмо спрашивал ротмистр.

Учитель утвердительно кивал головой.

— Потерпи еще день, — может быть, справишься? — предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга все трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

— В большинстве случаев бесполезно спорить с роком, — говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, купив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали все, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однолетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, как вьюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Все это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая

оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

— Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, расстриженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей

специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший все оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали — днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

— Я — босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда. — Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

— Нет, уж я поживу с вами.

— Для чего?

— А так...

— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.

— Вот я ему сейчас зубы вышибу, — предложил Мартьянов.

— А за что? — осведомился парень.

— Так...

— А я возьму камень и по голове вас тресну, — почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну и черт с ним... мы все живем без достаточного к тому основания...

— Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, —

посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и все замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпá. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной, — он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

— Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпá хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпá при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпá, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель

читал газету. Тяпá молча слушал все, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпá протягивал свою костлявую руку и говорил:

— Дай-ка...

— На что тебе?

— Дай,— может, про нас есть что...

— Про кого это?

— Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа,— все, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпá читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

— Эй ты, чернокнижник,— говорил ему Кувалда,— что ты понимаешь? Брось!

— А что ты понимаешь?

— И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

— А я читаю...

— Ну, и — глуп! — решал ротмистр.— Когда в голове заведутся насекомые — это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить, старая жаба?

— Мне недолго уж,— говорил спокойно Тяпá.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпá кратко ответил ему:

— В тюрьме...

— Ты был там?

— Был...

— За что?

— Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

— Н-ну? Чем это?

— Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Всё — даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпá уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю,— чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпá сгибал весь свой корпус набок,— долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?

— Читал...

— То-то... Помнишь ее?

— Ну — помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

— Помнишь, были там амаликитяне?

— Ну?

— Где они теперь?

— Исчезли, Тяпá,— вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Все вымерли?

— Все...

— Так... А мы тоже вымерем?

— Придет время — и мы вымерем,— равнодушно обещал учитель.

— А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

— Врешь ты все! — захрипел он, когда учитель кончил.

— Почему вру? — изумился тот.

— Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

— Из ума ты выживаешь, Тяпá,— убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым, грязным пальцем.

— От господа — Адам, от Адама — евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

— Ну?

— Татары от Измаила... а он от еврея...

— Да тебе-то чего надо?

— Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

— Был ты ученый... должен знать — кто мы?

— Славяне, Тяпá,— ответил учитель.

— Говори по Библии — там таких нет. Кто мы — вавилоняне, что ли? Или — эдом?

Учитель пустился в критику Библии. Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

— погоди,— брось! Значит, в народах, богу известных,— русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в Библии записаны — господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для по-

учения,— жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

— Н-не знаю! — протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

— Так и скажи!.. А то говоришь ты много,— будто все знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в Библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь,— какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле? Все народ там живет,— настоящий, большой народ. А ты говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амаликитяне не умерли — они немцы или французы... а ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господа? Кто нас научит?..

Речь Тяпы́ была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который, по обыкновению, был выпивши и в минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу́ в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а — мягким, отечески ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

— Эх, Тяпа́,— тоскливо воскликнул учитель,— это — верно! И народ — верно!.. Он огромный. Но — я ему чужой... и — он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но — я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

— Шел бы ты в деревню,— просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? — сурово хрипел Тяпа́.

А учитель все плакал, наслаждаясь слезами.

С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

— Учитель охаживает Тяпú, к деньгам его держит курс.

— Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой — начинается чтение.

— Ну-с,— говорит ротмистр,— о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

— Нет,— сообщает учитель.

— Жадничает издатель... а передовица имеется?

— Есть... Гуляева.

— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

— «Оценка недвижимых имуществ,— читает учитель,— произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...

— Это наивно,— комментирует ротмистр Кувалда,— продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

— Статья и написана на эту тему,— говорит учитель.

— Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец — Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили — приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец — великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

— Это было бы незаконно,— замечает учитель.

— Незаконно? Но законен ли сам купец? — спрашивает Кувалда.— Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое

явление: прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик!

— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.

А Тяпá мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он — зло ругается.

— Если б я писал в газетах! — восклицает он. — О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода, — исчезают люди из жизни...

— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали, — людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-ви-жу!

— Оно и понятно, потому что и ты, брат, попан во прах ими же...

— Я? Я погиб от любви к жизни, — дурак! Я жизнь любил, а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это, — а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на все и на всех... и вся жизнь для меня — любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

— Врешь! — говорит Объедок.

— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

— Зачем кричать? — раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. — Зачем рассуждать? Купец, дворянин — нам какое дело?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... — вставляет дьякон Тарас.

— Отстаньте, Объедок, — примирительно говорит учитель. — Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со

всеми, а если это не удастся ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

— Я повторяю,— более спокойно продолжает он,— я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

— Однако, брат,— говорит учитель,— купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает учитель.

— А — разве я не живу? Ага! Живу,— значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

— И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке,— задирает Объедок.

— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы,— чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно,— поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни — новость...

— Несомненно, нам нужно это,— говорит учитель.

— Зачем? — спрашивает Конец.— Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такую жизнью.

— И какая мы новость? — усмехается Объедок.— Гольтепа всегда была.

— И она создала Рим,— говорит учитель.

— Да, конечно,— ликует ротмистр,— Ромул и Рем — разве они не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия,— перебивает Объедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

— Все это глупости,— мечты,— ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек — он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, — хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Обьедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Обьедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного и — у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

— Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию — оторву голову...

Он мог оторвать голову — несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой все сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клочок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Бывает, — подтвердил дьякон Тарас. — Я привык дьяконницу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда

умерла она — такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел. Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьякон,— врешь! Как ты мог в другой раз жениться? — оборвал его Обьедок.

— А? А я так — она у меня за хозяйством смотрела.

— У вас были дети? — спросил его учитель.

— Пять штук... Один утонул. Старший,— забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодовитые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и — умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди — интеллигенцией клуба.

По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра до ночи — трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирую-

щая удасть этих людей — не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За все это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр — куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от сумы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

— Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворечницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города — и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек — девицы для упряжки вполне годные. А то разрушите дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла — на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу — ну и пускай!

— Некоторые дома попадать хотят...

— Не мешайте им, пускай падают! Упадут — дери с города

вспомоществование; не даст — валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

— Вода — от дождя, скажут...

— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит, да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более — признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.

— Справедливо — одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста — верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту, — все это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

— Видел я, — говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, — видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находится в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.

Публика сдержанно смеется.

— Нет, не понравилось, — отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

— Кажись бы, я старался,— бравировует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет».— Жена довольна,— не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:

— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам — значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства — денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным — и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

— Верно,— подтверждает публика.

— Ну, это, чай, тово,— не случится! — говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем.— Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! — восклицает он с огорчением.— Чуть я что,— и пойдет меня есть, как ржа железо!

— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену,— снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя,— у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вот это верно,— восклицает Яков,— живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек — и терпит без вины перед тобой,— только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

— Оно так... черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам — бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные

глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека,— мораль кабака и несчастья.

— Что, брат Яша, понял?

— Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену — вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствует калачник Мокей Анисимов.— Жена — друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь — цепь почуешь...

— погоди,— говорит Яков,— ведь и ты свою бьешь?

— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

— Ну вот, и я тоже...— говорит Яков.

— Ну, какая же у вас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

— И даже жену бей с оглядкой! — юмористически скорбит кто-то.

Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызвали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске,

сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

— Не горюй, братцы! Все имеет свой конец — это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья — пиво.

Но его речи не действовали — глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств.

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло.

И ротмистр чувствовал, что, если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу,— о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

—
Перед глазами ротмистра стоял этот купец — маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой клинообразной бородкой, с высоким, изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкали узкие, серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» — выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

— Энтот тот самый огарок — квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

— Сидишь? — спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.

— Мыкаешься? — в тон ему сказал ротмистр и сделал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что не требовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

— Денег у меня много — вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход,— дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю,— комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

— Али это не все равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги, обыкновенно, являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает... Совесть меньше — денег больше...

— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

— Ты смолоду-то таким и был? — простодушно спрашивает Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

— Я думаю...

— Работал я, ох как работал!

— А многих обработал?

— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего, — достаточно их от меня христовой молитве выучились...

— Не убивал, только грабил? — режет ротмистр. Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

— А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...

— Пусть и он сядет, — разрешает Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимает...

— Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя, — ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места... Но — ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристиды Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг! — мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода. — Ах ты, черт возьми! Если бы...» Весь встреपёнувшись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

— Вашему благородию здоровья желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? — торопливо спросил Кувалда.

— Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

— Покажи мне! — воскликнул ротмистр, стучая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

— А зачем? — спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

— Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

— Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

— Будет тебе кобениться, — прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

— Ан они, проклятые, дома!

— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был... — не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и все более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот, наконец, он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:

— Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер

его и подергал рукой — хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидел, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

— Ристид Фомич! Неужто? — воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю...

— Вглубь?.. Десять сажен два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас — в землю вы на три аршина видите! — с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения, — очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом — с битым кирпичом, с ямой под новый фундамент, — все высчитаем! Даже время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-чи рублей!

— Не даст! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будут — не продавайся дешево! Пугать будут — не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя

героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой ненаглядный-й...

Эх, знать, не любит он м-меня-а! —

пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору.

И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера — краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.

Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего.

— Что значит привычка воровать — человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет, — соболезнавал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

— Ой, малый! — воскликнул, наконец, Петунников, взорванный насмешками, — гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца, — предупредил ротмистр.

— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погружен-

ный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

— Молоденький паучок имеет хорошую выдержку, — заметил Обьедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив все, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что будет дальше? — спросил Кувалда.

— А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова, — уверенно сказал Обьедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил Кувалда.

— А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются, — с наслаждением объяснил Обьедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Обьедку, усмехнулся.

— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на все подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? — Он — взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят! Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевков летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

— Итак, — чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме магарыча, который я сдерну с Егорки, — сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. — Благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды — пришел конец.

Попрет нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.

— Куда ж я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся, — задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

— Мы подождем критического момента, — говорил ротмистр, шагая среди них. — Когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б каждую секунду человек принужден был дрожать за целостность своей башки... ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными!

— То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу, — пояснил Обьедок, улыбаясь.

— Ну, так что же? — заодно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего, — это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем.

— Ну, да! Пусть все скачет к черту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других...

— Свирепо! — усмехнулся Обьедок.

— Так что? Я — бывший человек, — так? Я отвержен — значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит, я могу наплевать на все! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое... все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое — понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры — трепет хладный в печенках ощущали.

— Экий у тебя язык храбрый, — смеялся Обьедок.

— Эх ты!.. — презрительно оглядел его Кувалда. — Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать? А я — думал... И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова.

— Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли...

— Пошел к черту! — вскричал Кувалда.

Его разговоры с Обьедком всегда так кончались. Вообще без

учителя его речи, — он сам это знал, — только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:

— Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил, да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношений к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали — она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый черт! — выругался Обьедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

— А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

— Н-да? — вопросительно воскликнул Кувалда.

— Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, — хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...

— Это я убью! — решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

— Кого? — спросил Обьедок, отодвигаясь от него в сторону.

— Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачем? — осведомился Кувалда.

— Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

— Д-да, там укажут подробно,— меланхолически согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство: в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не возбуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесанные головы — хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена.

Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?

— Точно так! — ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

— Имею к вам дело,— заявил Петунников.

— Вполне приятно... Пожалуйста в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели — гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова, Вавилову — открытое, холодное и решитель-

ное лицо Петунникова с широкими, крепкими скулами и частыми, белыми зубами.

— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! — начал Петунников.

— Насчет иску... я так полагаю, — почтительно сказал унтер.

— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души, — поощрил Петунников собеседника.

— Солдат я... — скромно сказал тот.

— Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

— Вот именно.

— Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

— Покорно благодарю, — сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

— Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко, — прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

— Было бы проще прийти к нам и устроить все миром — а? Как вы думаете?

— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну, — уж поздно.

— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

— В этом роде...

— Ну-с, так желаете кончить дело миром?

— С полным удовольствием! — воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

— А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

— Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

— Ну, — перебил его Петунников, — это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

— Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе бу-

дет рабочих не менее полутора человека, со временем — более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообщите-ка сами выгодность нашего соседства.

— Это верно-с, — кивнул головой Вавилов, — это я знал.

— И что же? — громко осведомился купец.

— Ничего-с... Давайте помиримся...

— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А как же это?

— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего, — обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

— Да ведь вам эта земля ни к чему! — успокоительно сказал Петунников.

— Однако она моя! — воскликнул солдат.

— Конечно... А сколько вы хотели бы?

— Да хоть бы — по иску... Как там прописано, — робко заявил Вавилов.

— Шестьсот? — Петунников мягко засмеялся. — Ах вы чудак!

— Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую — ломать!

— Валяйте... Мы, может быть, и сломаем... года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей — вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

— А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Все это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал, что отдаться

на великодушные врага — всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

— Пьяница, ан-нафема!

— Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? — спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

— Эх! — махнул рукой огорченный солдат. — Двое тут... Один нашел, другой писал... корреспондент проклятый!

— Это почему же — корреспондент?

— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них, — отчаянные люди — того гляди, ограбят или подожгут...

— А этот корреспондент, — он кто такой? — заинтересовался Петунников.

— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали. Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке, — леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

— Н-да... Ну-с, так как же вы — мириться намерены?

— Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

— Эх ты, жизнь наша темная! — с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

— Учиться надо, — порекомендовал ему Петунников, закури-
вая папиросу.

— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их — они даже рады — хлеб им даровой.

— А вот мы их устраним, — если сойдемся с вами, — пообещал Петунников.

— Как же мы сойдемся? — с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

— Говорите ваши условия.

— Да что же? Шестьсот по иску...

— Сто рублей не возьмете? — спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых, больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

— Где изволили учиться?

— В технологическом институте. А что? — вскинул тот на него улыбающиеся глаза.

— Ничего-с, это я так, — извините! — Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово, — наука — свет! А наш брат, — как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петунникову и сдавленно сказал:

— Ну — пятьсот?

— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич, — как бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И, когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу, — он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска, — предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

— Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязнью взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Ва-

вилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

— Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

— Порешили,— сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

— Четыреста целковых...

— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конеч тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

— Аристид Фомич! За что? — взвыл отставной унтер.

— Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал увернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

— Дальше,— бросил ему Кувалда.

— А не четыреста, как сказал вам. Значит...

— Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно... Ну?

— Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

— Извольте,— я дам... Только вас бог накажет за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! — гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами.— Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и учащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатились две крупные слезы. Они были какие-то серые, и, когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, встал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

— Один, два, три...— считал Аристид Фомич,— итого, нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои, мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это — кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

— Приступим, братия! — скомандовал ротмистр.— Сколько чаш имеем мы? Шесть,— а нас — тринадцать... Алексей Максимович! наливай! Готово? Н-ну, перррвый взвод... пли!

Выпили, крикнули и стали есть.

— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? — спросил Кувалда.

— Никто...

— Это не в его характере! Ну, все равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

— Это остроумно, — сказал Обьедок и закашлялся.

Ротмистр с сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась — порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Обьедок дразнил Тяпу.

— Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

— Твое счастье, — хрипел Тяпа.

— Я, брат, у тебя их поддедую!

— Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

— Где бы это мог быть учитель? — вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

— Придет...

— Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татаринном. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он — пойдет... дать ему сто рублей в месяц — и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

— И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле

стоит,— убедительно говорил дьякон.— Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

— У меня тоже была жена...

— Это со всяким может случиться,— заметил Кувалда.— Ври дальше...

— Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

— Ты отравил ее, кривой,— убежденно сказал Обьедок.

— Нет, ей-богу! Она севрюги объелась,— рассказывал Полтора Тараса.

— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно утверждал Обьедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

— Нет, он отравить не мог... не было причины...

— А я говорю — отравил! — взвизгнул Обьедок.

— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению,— опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутылку водки, уже наполовину пустую. Тяпá смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Обьедок лежал на животе и кашлял, съежив все свое маленькое тело. Остальные — все молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале

Барыня незнатная,

И с ней случилась судорга

Оч-чень неприятная! —

вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.

Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крякнули...

— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон. — Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вавилонских»!

— Он разве умеет? — спросил Симцов.

— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-а-ре-е-е-ка-а...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Объятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

— Вы, собаки! Погодите выть... — сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. — Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

— Ну, где же?

Кто-то ответил:

— А вон к тому дому, должно быть.

— Дальше не поеду...

— Это к нам! — воскликнул ротмистр.

— Полиция! — прозвучал тревожный шепот.

— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам.

Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

— Да, — прогудел недовольный бас ротмистра.

— Здесь жил репортер Титов?

— Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Болен!

— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпá встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.

— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи Тяпý его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

— Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? — грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. — Тяпá, ступай принеси холодной воды!

— Так вот... — смущенно помялся человечек. — Я полагаю... я не нужен ему?

— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на него.

Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много... — сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.

— Значит, до свидания! — Человечек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

— Гм! некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

— Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

— Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмутив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпá с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

— Не надо воды, — махнул рукой ротмистр.

— Попа надо, — уверенно сказал старый тряпичник.

— Ничего не надо, — решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдем выпьем, старый черт!

— А он?

— Ты ему поможешь?

Тяпá повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

— Что там? — спросил Обьедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

— Ничего особенного. Умирает человек... — кратко сообщил ротмистр.

— Избили его? — поинтересовался Обьедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить, — сказал Обьедок, закуривая папиросу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

— Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!

— Ты! — зашипел Обьедок, — что орешь?

— Дай ему в рожу! — посоветовал ротмистр.

— Дурак! — раздался хрип Тяпы. — Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем

дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось — вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

— А... скверно на душе, когда умирает человек близкий... — заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

— Среди вас — он был лучший... самый умный и порядочный... Мне жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-ой... пой, кривая шельма! — забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

— Молчать!.. ты! — злым шепотом воскликнул Обьедок, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башке, — предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

— А ты не спишь? — необычайно ласково сказал Аристид Фомич. — Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завожился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходявшего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

— Выпьем? — предложил тот.

Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

— Пойду посмотрю... — сказал Тяпá, — может, ему надо чего.

— Гроб надо... — усмехнулся ротмистр.

— Не говорите вы про это, — глухим голосом попросил Обьедок.

За Тяпóй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпá ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к черту это. Жалко тебе Филиппа?

— Нет, — помолчав, ответил бывший тюремщик. — Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью, кого-нибудь...

— Да? — неопределенно произнес ротмистр. — Ну... что же? Выпьем еще!

— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-о!

Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

— Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое же темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

— Что? — раздался вопрос.

— Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой, — говорили вполголоса.

— Деньги имел... и не жалел их для своего брата... — И опять наступило молчание.

— Кончается! — раздался хрип Тяпы́ над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

— Пошто идешь? — остановил его Тяпа́. — Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ротмистр остановился, подумал:

— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к черту!

По стенам ночлежки все прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди — скоты, ты был для меня — человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело, — учитель, глубоко вздохнув, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем, говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я все это разъясню тебе и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

— Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпа́ еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знаме-

нием. Мартьянов молча поежился и лег на землю. Обьедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

— Черт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же! Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время — я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

— Это верно! — громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю. — Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем — как все. В этом — цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так — не все ли равно, как он жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы...

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходившая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпá.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо — изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпá перекрестился и привстал на локте, чтоб посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпá стал осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышишь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиции заявить... ну, вставай!

— А что? — сонно и сердито спросил ротмистр.

— Что умер он...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филипп? Да-а!

— А ты забыл... эхма! — укоризненно хрипел Тяпá.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

— Так иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я их, — угрюмо сказал Тяпá.

— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпá, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

— Да... вот и умер... И я умру скоро...

— Тебе пора, — хмуро сказал ротмистр.

— Пора уж! — согласился Тяпá. — И тебе тоже надо бы умереть... Все лучше, чем так-то...

— А может, хуже? Ты почему знаешь?

— Хуже не будет. Помрешь — с богом будешь иметь дело...

А тут с людьми... А люди — что они значат?

— Ну ладно, не хрипи, — сердито оборвал его Кувалда.

В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо. Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпá спросил:

— Хоронить его ты будешь?

— Я? Нет! Полиция пускай хоронит.

— Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...

— Деньги его у меня... а хоронить не стану.

— Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заесть хочешь... — пригрозил Тяпа.

— Глуп ты, старый черт, — презрительно сказал Кувалда.

— Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.

— Ну и ладно. Отвяжись!

— Ишь! А сколько денег-то?

— Четвертная... — рассеянно сказал Кувалда.

— Вона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...

— Экой ты мерзавец, старик... — равнодушно посмотрев в лицо Тяпы, сказал ротмистр.

— Право, дай...

— Пошел к черту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.

— На что ему?

— Куплю жернов и якорь. Жернов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему... Это будет очень тяжело...

— Зачем? Чудишь ты...

— Ну... не твое дело.

— Я, смотри, скажу...— снова пригрозил Тяпá.

Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.

— Слышь... едут! — сказал Тяпá, встал и ушел из ночлежки.

Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:

— Отчего он умер?

— Спросите у него... Я думаю, от непривычки...

— Что такое? — спросил следователь.

— Я говорю — умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...

— Гм... да! А он давно хворал?

— Вытащить бы его сюда, не видно там ничего,— предложил доктор скучным тоном.— Может быть, есть знаки...

— Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его,— приказал пристав Кувалде.

— Зовите сами... Он мне не мешает и тут...— равнодушно отозвался ротмистр.

— Ну! — крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

— Тпру! — отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

— Я, черт возьми!..— крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью.— Я вам этого не спущу! Я...

— Добренького здоровьица, господа честные! — сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

— Что это здесь? Никак, человека убили?

— Да вот что-то в этом роде,— ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

— А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потом придешь домой, и все такое начинает мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь все... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

— Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

— А вот мы его пощупаем, — многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами. — Он мне тоже хорошо известен!..

— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые... — подтвердил Кувалда фамильярным тоном. — Сколько я тебе и присным твоим взятки за молчание переплатил!

— Господа! — воскликнул пристав, — вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой друг...

— Не хвались на рать идучи... — спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следовательно со зловещим вниманием, Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакывая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

— Однако давайте же что-нибудь делать, господа! — предложил доктор.

Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг — чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

— Видите? — тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова. — Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следовательно смеялись, а к дверям ночлежки подходили все новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

— Куда лезете! — усовещивал их городской, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

— Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Все равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, знакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следовательно плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

— Сидоров! Свистни... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла. — Квартирку вы мне сегодня освободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!.. — смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

— Господи благослови... на погребение грешного праха...

— Что-о? — гаркнул ротмистр. — Ты — на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мер-рзавец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следовательно выскочили вон, пристав громко звал:

— Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь — бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

— Мы, купец, недобрые люди, — раздался дребезжащий голос Обьедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

— Хочешь, я заставляю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, к двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

— Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Объедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комок и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики! — умолял Петунников.

— Не смей! Я не бегу... я сам пойду, — говорил Кувалда, отмахиваясь от городских, подбежавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав Кувалде.

— Что, атаман? — ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки. — Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя вваливали на телегу. Человек, державший труп под мышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

— Веди его, — скомандовал пристав, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

— Н-но, поехали! — взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее, — никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ноч-

лежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

— Ты что? — крикнул Петунников. — Ты кто?

— Человек, — раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

— Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

— Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот

охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МАКАРА

...Макар решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное — хитрым, было много скотского, немало звериного, и — вдруг трогательно вспыхнет солнечный улыбкой что-то глубоко человеческое — «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нем жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем,— жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми.

В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое

настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно — Макар как будто пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любуясь результатами труда.

Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись — всего не сделаешь!» — он горячо возражал:

— Сделаем, а там — гуляй свободно!

И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, — они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на все, медленно и грязно кипевшее вокруг, — тем острее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шепот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилем его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, — таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и, в то же время, в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами, за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг боль-

ше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга, но в их среде, — еще более и даже органически чуждой ему, — он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет?

Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось темное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были еще более книжны, чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.

У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шепотом, а иногда и громко добавляли:

— Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

— Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

— Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, — было ново и больно.

Потом, вероятно, сказалось переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, — Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.

Макару было девятнадцать лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но все это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей...

В то же время он почувствовал себя влюбленным, но — не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю, — ему нравились обе.

Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии, радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными, как вишня, глазами и показывала белые, плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка, она со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим, тающим смехом.

Макар не скрывал своих чувств пред ними, и это одинаково смешило подруг, — они были веселые. Он же подходил к ним, как бездомный, иззябший человек подходит зимней ночью греться около костров, горящих на перекрестках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут — та или другая, все равно — сказать ему какое-то свое, женское, ласковое слово и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство брошенности, одиночества, тоски.

Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его девятнадцати годах и советуя читать серьезные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь все более темными думами.

Их было бесконечно много, они как будто давно уже прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и, все более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в свое время нанесенных жизнью и, казалось, так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод — тихая, торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их — много, и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.

Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:

«Никуда я не гоюсь. Никому не нужен».

А вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и — тут решил застрелиться.

Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.

Пошел на базар, где торговали всяким хламом и старьем, купил там за три рубля тяжелый тульский револьвер; в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью.

Ночью он тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля, внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая все спокойно, старательно.

Придя из бани, сел в своем углу за стол, чтобы написать записку, объясняющую его смерть, и тут пережил неприятно волнующий час: не удавалось найти нужное количество достаточно веских слов, которые бы просто и убедительно объяснили людям, почему Макар убил себя.

«Я умер, потому что перестал уважать себя», — написал он, но это показалось очень громким, неверным и обидным.

«Никто меня не любит, никому я не нужен», — это было стыдно, он тщательно вымарал жалкие слова, заменив их другими:

«Жить стало тяжело...»

«Живут люди тяжелее, и самому тебе раньше жилось хуже», — оборвал он себя, смяв бумажку в твердый комок.

Задумался, чувствуя себя пустым и глупым, потом снова написал:

«Я умираю оттого, что никому не нужен и мне не нужно никого».

«Вот если прибавить еще недужен — выйдут стихи, и очень глупо, и все не то, все неверно», — холодно и зло подумал Макар, оглядываясь вокруг и чувствуя потребность пожалеть что-то.

Но смотреть не на что и жалеть нечего: его комната была узким пространством между шкафом магазина и стеною без окна, вход в эту длинную впадину был завешен рыжим войлоком, а сейчас же за ним, в стенке шкафа, — дверь в магазин. Вдоль шкафа — койка, на которой сидел Макар, перед ним — ящик, заменявший стол, несколько толстых книг, маленькая лампа мутно-голубого стекла, желтый свет упал на лицо Роберта Оуэна, — гравюру из книги, купленную за пятак. На стене старинная литография — Юлия Рекамье — и колючее, птичье лицо Белинского. Когда в магазине отворяют дверь с улицы — сквозь щели в стенке шкафа дует, и на Макара плывет сипло вздыхающий звук, шевеля бумагу, которой оклеен ящик. Над столом торчало маленькое, тусклое зеркало в жестяной оправе.

Макар снова взялся за перо, думая:

«Напишу что-нибудь смешное...»

Но вдруг спросил сам себя:

«Да кому ты пишешь? Ведь писать-то некому!»

Это было верно, но — опять-таки обидно как-то.

Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое, веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

— Вы что делаете?

— Пишу.

— Стихи?

— Нет.

— А что?

Макар тряхнул головою и неожиданно для себя сказал:

— Записку о своей смерти. И не могу написать...

— Ах, как остроумно! — воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другою войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампы, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

— Вы лучше почистите мне высокие ботинки — завтра Стрельский играет Гамлета, я иду посмотреть, — почистите?

— Нет, — сказал Макар, вздохнув и гася надежду.

Она удивленно пошевелила тонкими бровями.

— Почему?

Тогда он тихо и убедительно сказал, как бы извиняясь:

— Честное слово, я сегодня застрелюсь — вот сейчас и пойду! Так что чистить башмаки ваши перед самой смертью — неловко как-то, не подходит...

Она откачнулась назад и исчезла, оставив в комнате недовольное восклицание:

— Фу, какой вы скучный!

Макар очень удивился, раньше ему не говорили этого, но тотчас утешил себя:

«Конечно, скучный, если уж почти покойник...»

Решительно взял перо и написал:

«Если этот случай беспокоит вас — прошу извинить. М.».

Но, прочитав, добавил, усмехнувшись:

«Больше не буду».

«Будто — глупо? Ну, ладно, все равно уж...»

И сунул записку в щель шкафа так, чтобы она сразу бросилась в глаза. По стеклу зеркала скользнуло отражение Макарова лица, тихонько задев какую-то грустную струну в душе.

«Еще что?» — спросил он себя, невольно и осторожно одним глазом снова заглядывая в зеркало — оттуда косо и недоверчиво смотрело угловатое лицо, его выражение показалось Макару незнакомым: серовато-голубые глаза как бы спрашивали о чем-то, растерянно мигая, а трепету длинных век непримиримо противоречили нахмуренные брови и упрямо, плотно сжатые губы.

Лицо некрасивое, грубое, но — свое. Макар знал его и вообще был доволен своим лицом, находя его значительным, но сейчас оно какое-то стертое, надутое, что-то утратившее — чужое.

«Хорошие у меня глаза», — подумал Макар.

Густые мягкие волосы обильно упали на лоб и щеки, они шевелились — это оттого, что почти ежеминутно дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и в щели шкафа дул сильными струйками воздух, насыщенный запахом печеного хлеба.

Юноша смотрел на себя и чувствовал, что ему становится жалко глаз, мускулистой шеи, сильных плеч — жалко силы, заключенной в крепком теле. Через час она бесплодно и навсегда исчезнет, и среди людей не будет больше одного из них, еще недавно умевшего внушать им интерес к важному и доброму. Эта жалость просачивалась в тело как бы извне и текла сквозь мускулы внутрь, к сердцу, переполняя его холодной тяжестью самоосуждения.

«Ну — ладно, будет! — сказал он сам себе. — Не сладил с судьбой и не кобенься... Надо идти в мастерскую прощаться, или не надо?»

Решил, что не надо: станут расспрашивать: а он не может согласить им, если же сказать правду — не поверят и осмеют, а поверив — помешают. Застегнул пиджак, сунул револьвер за пазуху, взял шапку и пошел в магазин, — там, за прилавком, под висячей лампой, сидела Настя, читая книгу; за книгой стоял черный ряд гирь, начиная с десятифунтовой, в них было что-то похожее на старушек зимою, когда они идут за крестным ходом. Медные чашки весов, точно две луны на цепях, отражали неприятный желтый свет, отчего розовато-смуглое лицо девушки казалось красным и самодовольным.

— Куда это? — спросила она, не поднимая головы, скосив глаза и чуть-чуть улыбаясь знакомой улыбкой, после которой обыкновенно следовало шутливое словцо.

— По своему делу, — сказал Макар.

— На свиданье?

«Со смертью», — едва не выговорил Макар, но вовремя удержался.

В нем все напряглось, натянулось, вспыхнуло яркое желание говорить, кричать о себе, но он ужасно боялся показаться смешным этой девице и, думая, что надобно скорее идти, — стоял перед нею, смущенно улыбаясь. В эту минуту он был уверен, что любит именно ее неизмеримой, бесконечной любовью, именно ее он всегда и любил, теперь это было удивительно ясно и, наполняя грудь восторгом, тоскою, подсказывало какие-то звучные сильные слова, — их множество, как звезд на небе, и он едва сдерживал живой их трепет. А надо было сдерживать, ибо, если бы перед ним была

беленькая дочь хозяина, курсистка Таня,— он, наверное, ощущал бы те же чувства и желания, какие ощущает к этой. Это он тоже знал.

Девушка, положив локти на прилавок, смотрела на него, весело улыбаясь, подняв тонкие брови почти до половины низкого лба, вытянутого к вискам, уши у нее были маленькие, а рот большой, пышный, она говорила капризно:

— Так-таки вы и не почистили мне башмаков...

Подавляя все цветущие слова, Макар сказал:

— Ведь вы на галерку пойдете, а там ног не видно...

— Как же — не видно? — с удивлением и насмешливо воскликнула она.

Громко взвизгнула уличная дверь, вошел, позванивая шпорами, огромный, серый, рыжебородый жандарм и вежливо заговорил:

— Здравствуйте! Три французских хлеба, два пеклеванных, три десятка сухарей, два — пирожных...

Настя встала, спрашивая:

— Два десятка пирожных?

— Так точно, два десятка...

— Прощайте,— сказал Макар, надевая шапку.

Гремя стеклянной дверью шкафа, стоя спиной к Макару, девушка шутливо отозвалась:

— До свидания, желаю успеха!..

Макар вышел на улицу; ноги у него словно вдруг отяжелели, поднимаясь и шагая неохотно.

Был декабрь; богатая звездами безлунная ночь накрыла город синим бархатом, густо окропленным золотою, сверкающей пылью. Против двери магазина, в театральном садике, стояли белые деревья; казалось, что они пышно цветут мелкими холодными цветами без запаха. За ними, на площади, темной горою возвышалось тяжелое здание театра, на крыше его одеялом лежал пласт синеватого снега, свешивая к земле толстые края. Было тихо, фонари горели спокойно, в их огне разноцветно вспыхивали маленькие, сухие снежинки, лениво падая с крыш на утопанный тротуар.

Не спеша, часто оглядываясь назад, Макар шел за город: он заранее высмотрел себе место на высоком берегу реки, за оградой монастыря: там под гору сваливали снег, он рассчитал, что, если встать спиной к обрыву и выстрелить в грудь,— скатишься вниз и, засыпанный снегом, зарытый в нем, незаметно пролежишь до весны, когда вскрыется река и вынесет труп на Волгу. Ему нравился этот план, почему-то очень хотелось, чтобы люди возможно дольше не находили и не трогали его труп.

Он шел пустынной улицей к выходу из города и уже видел

перед собою синюю даль заречных лугов, с темными пятнами кустарника на них и белыми — это озера, гладко покрытые снегом.

Смотреть туда, где потерялась черта между небом и землею, было хорошо, и даль тоже смотрела в глаза человека ласково, кротко, словно она была в полном согласии с ним и, немножко жалея его, тихо манила к себе.

Левую руку Макар сунул в карман, правую держал за пазухой, сжимая в ней тяжелый теплый револьвер; шел, ни о чем не думая, и был доволен спокойной пустотою в груди и в голове. Сердце сжалось, стало маленьким, неслышным.

Темный ночной сторож стоял у ворот, разговаривая с котенком, прижавшимся на лавчонке, во впадине фальшивой калитки; в тишине ясно звучал простуженный голос, ломая слова:

— А-ах ты, кошкина кот...

Макар остановился, посмотрел и спросил:

— Подкинули?

Сторож повернул к нему мохнатое, седое от инея лицо с косыми глазами.

— Это — тута, афисершам-баринам, она — его, моя знайт... Замерзнит котенкам?

— Пожалуй — замерзнет,— согласился Макар.

Татарин, ощипывая лед с подстриженных усов, смешно морщился и, добродушно поблескивая маленькими глазами, отрывисто говорил:

— Перекину через забор — убьется?

— Снег на дворе есть?

— Не знай...

Макар подумал, оглянул маленький, сонно закрывший окна дом и спросил:

— А сад не этого дома?

— Нет! — сожалея, сказал татарин.— Я думал бросить в сад, а там — высокий забор, ему не перелезти, он маленький.

Тогда Макар сказал:

— Да ты возьми его за пазуху тулупа, вот и будет ладно: и ему спасенье, и тебе теплей, веселей...

— Верна! — согласился сторож, нагибаясь к дрожавшему зверьку.

— Прощай, брат...

— Прощай...

Макар пошел дальше, все так же не спеша, глядя в пустынное поле под горою, а оно разворачивалось шире и шире, как будто хвастаясь своей необъятностью, прикрытое синею мутью и тихое, как спокойный сон.

Встреча с татаринком и котенком тотчас же отступила далеко

назад,— тоже стала как сон или воспоминание о давно прочитанной странице какой-то простой и милой книги.

Вот он и на избранном месте, на краю крутого ската к реке, покрытого грязным снегом с улиц и дворов. Слева — белая каменная ограда монастыря и за нею храм, поднявший к звездам свои главы, недалеко впереди, за буграми снега, вытянулся ряд неровных домов окраинной улицы; кое-где сквозь щели ставен еще тянутся в синеву ночи, падают на снег желтые ленты света. Между белыми крышами домов — белые деревья, точно облака, а ветки, с которых осыпался иней, черные и похожи на полустертую надпись в небе, освещенном невидимой луной. Очень тихо...

Он подошел к самому краю, осторожно ощупывая ногой снег, боясь оступиться и упасть под гору раньше времени; найдя твердое место, прочно встал на нем, снял шапку, бросил ее к ногам и, вынув револьвер, расстегнул не торопясь пиджак, потом выпрямился, взвел тугой курок, нащупал сердце и, приставив дуло вплоть к телу, нажал большим пальцем собачку,— щелкнуло, он вздрогнул, закрыл глаза...

И с головы до ног вспыхнул, поднял револьвер к лицу, с испугом глядя в барабан, на тусклые пульки, кукишами сидевшие в нем.

«Неужто не стреляет?»

Незаметно для себя, он снова дернул собачку,— бухнул выстрел, больно дернув за волосы, мимо уха свистнула пуля — Макар тотчас же опустил руку и выстрелил в грудь.

Этот выстрел был громче, от него все вздрогнуло — подпрыгнули дома окраины перед глазами Макара и поплыли на него; тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно тихо...

Макару показалось, что он долго лежал, ничего не видя и не слыша, как будто его не было, потом он услышал, как шипит в груди, почувствовал, что рубаша становится влажной и в нос бьет какой-то особенный, неприятно сладковатый, жирный запах. Тотчас же в голове стало ясно,— он понял, что ему не удалось скатиться вниз и что он не убил себя.

«Надобно еще»,— решил он и перевернулся лицом вверх — тогда и грудь и спину ожгла острая боль, точно голое тело опоясал жестокий удар кнута,— он крякнул, перемогся и, нащупав на снегу холодный револьвер, глядя в небо, где качались, опускаясь и поднимаясь, звезды, снова приложил дуло ко груди.

Озябший палец дрожал, приклеивался к собачке и уже не имел силы спустить курок — Макар отвел руку, разжал пальцы и подумал сквозь сон:

«Может, и так умру...»

Вытянулся, слушая шипение крови и ощущая ясный, хорошо

знакомый запах горячей тряпки. Звезды скользили и прыгали в небе, как в чаше, которую кто-то опрокинул и хочет вытряхнуть из нее золотые блески. Иногда все исчезало, точно вдруг прикрытое невидимым облаком. И внутрь, в кости ног и рук, в голову,— проникал мучительный холод, судорожно сжимая тело, как бы связывая его узлом.

Этот холод заставил Макара подняться и сесть, опираясь о снег, тогда он увидел, что по его рубахе бегают красные и золотые змейки,— это от них скверный запах гари и по всему телу растекается острая, жгучая боль. Он не понимал, что это,— приподнял одну руку, чтобы согнать прочь, но свалился на бок, скрипя зубами, бешено раздраженный болью, вдруг охваченный желанием подавить ее и этот невыносимый холод в голове, в костях.

Встал на колени, поднялся на ноги, задыхаясь, хрипя и кашляя, пошел на темную полосу впереди себя, увидал, что толстая рубаха из мешка горит на нем, как трут, остановился и, падая, стал срывать ее с себя непослушными, злыми руками, а каждое движение их обливало его болью. Он мычал, сцепив зубы, но слышал, как в глубокой тишине вокруг и над ним плачет сторожевой колокол монастыря, режет воздух тонкий, тревожный свист.

Тяжело подкатился мохнатый, круглый человек, закричал испуганным, воющим голосом и накидал на грудь Макара кучу снега,— от этого юноше стало как будто легче и понятнее. Подбежал еще человек, Макара подняли, повели, тяжелые, точно чужие ноги страшно мешали ему, они сделались невероятно длинными, оставаясь где-то сзади,— он сказал:

— Ноги подберите...

— Биром! — крикнул кто-то прямо в ухо ему.

Его опрокинули, понесли, но каждое движение раздиргивало грудь ему рвущей болью, опустошая голову, и эта тяжелая, холодная пустота тянула к земле, вызывая желание крепко уснуть.

Что-то черное — большие кубы и полосы — двигалось мимо него, перед глазами вспыхивали желтые пятна, метались люди — тоже черные, круглые и крикливые.

Макар качался в воздухе, скрипя зубами, и чувствовал, что его охватывает мучительный страх пред этой пустотой, этот страх побеждал боль, внушая мысли, которые вдруг вспыхивали синим огнем:

«Умирает голова... схожу с ума...»

И, напрягая остатки воли, он старался побороть пустоту — перечислял про себя все, что текло и волновалось перед глазами.

«Черное — дома, заборы, желтое — окна... Меня несет сторож, татарин, за пазухой у него котенок... Другой — полицейский...»

Он вслушивался в быстрый говор людей, метавшихся, точно вороны вокруг колокольни.

— Кто таков, кто?

Татарин упрашивал:

— Не надыбна, не надыбна!..

— Мы зна-аем...

— Пьяницы, черти...

— Мы ему сичас только видела, она вовсе тверезый була...

— А кто это?

— Пошли прочь!

— Мы узна-аем, небойсь...

Все звуки были странно тусклы и, в то же время, невероятно громки, они садко вlepлялись в уши и болезненно гудели в голове, но Макар напряженно хватал их и старался закрепить в памяти, заполнить ими пустоту, одолевавшую его.

— Не узнаете,— бормотал он, то проваливаясь куда-то в глубокую яму, то снова с болью вылезая оттуда.

— Стой! Клади! Айда, барабус, в часть, живо, ну!

Макар ткнулся лицом в рогожу, под нею зашуршало сено, его трянуло, подбросило и закачало. Кто-то приподнял голову его большими руками, прижал щеку к мягкому и теплoму и унылым голосом зaтянул:

— Кошкам-та, зверям — жалел, себя вовсе не жалел... ух, без ума голова...

— Я тебя знаю! — с внезапной ясной радостью сказал Макар.— Ты сторож, татарин...

— Молчай, уж... такой морда!

Макар хотел глубоко вздохнуть, но сорвался и, крикнув, нырнул куда-то во тьму.

Потом, точно после падения с длинной и высокой лестницы, он лежал перед крыльцом какого-то дома, в глаза ему колко светил фонарь, и сизый, высокий человек, стоя на крыльце, убедительно говорил:

— Ну — дураки же, черти, ну — куда же его?

И гаркнул — зарычал:

— В Покровскую, рр...

Широкие полозья розвальней шаркнули по снегу. Снова начало встряхивать, наполняя грудь острой болью, как будто в нее вбили тяжелый гвоздь, но — не плотно, и он качался там.

По синему небу быстро убегали звезды, за белыми крышами катился, прячась, желтый круг луны, обломанный с одного края. Мягко подпрыгивая, плыли вдаль огромные дома, связанные друг с другом заборами,— все уходило из глаз, точно проваливаясь.

— Так сибe — нилза,— говорил татарин, дергаясь, словно он хотел выпрыгнуть из саней, а полицейский сердито ворчал:

— А ты из-за него мерзни...

«Это из-за меня», — сообразил Макар, чувствуя себя виноватым перед татаринном, он толкнул его рукой и сказал:

— Прости, брат...

— Молчай... Бульна убил?

— Больно...

— Сачем? Алла велит эта делать?

...Макару показалось, что он, сидя в лодке, гребет против течения так, что ноют плечи, а какие-то рыжие и густые, как масло, волны треплют лодку, заглядывая через борта, не пуская ее; потом он мчался по Моздокской степи на злой казацкой лошадке, собирая разбежавшийся табун; на краю степи лежало большое багровое солнце, мимо него мелькали эти маленькие, озорные лошади, целясь, как бы укусить Макара за ногу, скаля огромные зубы и взмахивая хвостами.

Вдруг перед ним широко и бесшумно распахнулась стеклянная дверь, потом — другая, и татарин сказал:

— Прощай...

Это было так грустно и хорошо сказано, что на глазах Макара выступили слезы и он тихонько засмеялся.

В теплой тишине он шагнул вверх по широкой лестнице, — идти было больно, и казалось, что он идет вниз. Его поддерживал под руку человек в белом, с рыжими усами и большим красным лицом, оно кружилось, точно колесо, усы лезли к ушам, нос двигался — Макар сразу понял, что это неприятный человек.

— Позовите ординатора Плюшкова...

— Смешная фамилия, — сказал Макар, с этим рыжим необходимо было говорить о чем-нибудь.

— Не твое дело, — ответил рыжий, вводя его в маленькую комнату, где сверкало много стекла, усадил на стул и, стаскивая пиджак, потянув большим носом, спросил:

— Пьяный?

— Что?

— Стрелялся — пьяный?

— Трезвый.

— Значит — дурак.

Он сказал это до такой степени просто и уверенно, что Макар не только не обиделся, а засмеялся, но — смеяться нельзя было: хлынула горлом кровь и обрызгала белый халат рыжего.

— О, черт, — вскричал он, отскочив и встряхивая полу.

Ведя сам себя за бороду, в комнату вошел человек с веселым и приятным лицом.

— Ну те-с?

— Огнестрельная рана в область сердца.

— Самоубийство?

— Да.

— Ясно. На стол!

И, пока рыжий помогал Макару укладываться на длинном столе, веселый человек, надевая халат, спрашивал:

— Это вы зачем же, юноша?

— Так.

— Однако?

Лежать на столе голому было и холодно и больно, но Макару не хотелось, чтобы эти люди знали его боль, он закрыл глаза, ослепленные светом, падавшим сверху, и сказал:

— Жить стало трудно.

— Ерунда! Это выдуманно лентяями и бездельниками.

Макар стал спускать ноги со стола, рыжий строго сказал:

— Куда это?

И схватил его за ноги железными нагретыми руками так, что Макар не успел сказать, что он не нуждается в их возне и что лучше уйдет к татарину.

Ординатор наклонился над ним, разглядывая грудь.

— Ожог! И здоровый...

— Рубаха горела...

— Вижу. Экая глупость!

Макар посмотрел на его большое красное ухо, думая:

«Укусить бы...»

Но ординатор воткнул в него зонд и, пригвоздив к столу, на минуту задавил все мысли.

— Здорово просажено! Сквозная, что ли? Нуте-с, перевернем его!

Перевернули, внушив Макару желание лягнуть их хорошенько, но он не мог поднять тяжелые ноги. А ординатор весело бормотал:

— Во-от она, тут, под кожей... Сейчас, немножко, чуточку... готово!

Укол в спину заставил Макара вздрогнуть.

— Ничего!

И, сунув к носу ему измятый кусок свинца, ординатор спросил:

— Сохранить на память, а?

— Не надо.

Пуля упала во что-то металлическое.

— Такой здоровенный парень, и такую глупость содеять! Не стыдно, нуте-с?

— Не балагурьте,— проворчал Макар.

Он сам уже давно когда-то догадался, что сделал глупость,— это злило и угнетало его. Ему было нестерпимо стыдно перед рыжим и веселым ординатором, было жалко татарина. Хотелось попросить, чтобы с ним не говорили или говорили как-то иначе,

но слова разбегались, точно просыпанные бусины, собрать их в ряд не удавалось, да и тело как будто таяло в огне, разливаясь по столу. Являлись какие-то неуловимые мысли, но тотчас, как мыльные пузыри, улетали в пустоту, угасая там...

Эта сизая пустота, разрастаясь внутри Макара, истекала из него через глаза, и все вокруг заполнялось ею как туманом, но у него открылось какое-то иное зрение: он видел, как в облачной безбрежной реке, которая текла медленно, большими, мягкими и душными валами над ним, под ним и вокруг него,— несутся, беспорядочно и бессвязно соединяясь, обломки и обрывки пережитого и знакомого, что давно уже было забыто, а теперь воскресало в жарком течении, то пугая, то удивляя,— Макар смотрел на все жадно, старался что-то остановить, а оно ускользало, доводя его до бешенства, заставляя кричать.

Из длинного мешка неиссякаемо сыплются черные угли и шуршат:

— Ныне время делательное явился, при дверех суд...

Маленькая девушка в белом слушает этот сухой шорох и насмешливо улыбается, около ног ее гуляют красные птицы, чопорно вытягивая лапы и кланяясь, а откуда-то издали доносится звонкий голос, заливисто выпевая:

О-осподи, при-ими ты злую душеньку мою,
Злую, окаянную, невольничью...

— У меня душа не злая,— спорил Макар, но на белом до блеска потолке является синевато-черная муха, величиною с голубя, ее прозрачные крылья трепещут, точно марево, и радужно играет тысяча глаз,— их так много на этой черной, раздвоенной голове, что, наверное, тысяча, вся голова из одних глаз; муха гудит, пухнет и обращается в маленького, седого священника: в яркой праздничной ризе он стоит на амвоне и говорит, умиленно улыбаясь:

— Сей день, его же сотвори господь, воистину великий день! Но — чем велик он?..

Кто-то огромный тихонько встал сзади него, подмигнул хитро большим желтым глазом без зрачка и со скрипом задернул завесу царских врат, и — все пропало, вспыхнув черным, жгучим огнем.

Но тотчас же тьму прорвала река, через нее, взволнованную холодным ветром, гневно ошетилившуюся острыми волнами, покрытую белой пеною и водной мелкой пылью, ослепляющей глаза, стремительно плывет множество детей, они взмахивают тонкими руками, отталкивая друг друга и волны; как мячи,

прыгают над водою их головы, блестят синие испуганные глаза, все лица искажены страхом и мертвенно серы, кругло открытые рты пронзительно кричат, все дети на одно лицо, и Макар во всех видит, чувствует себя, он в ужасе разрывает руками волны, а над ними со свистом реют красные птицы,— ленивые, огромные, они сливаются в пламя пожара, и неба не видно над ними...

Из лесной опушки, по-осеннему разноцветно окрашенной, на зеленый луг, покрытый скупым дерном и последними цветами, тихо выходят, точно по воздуху плывут, три молодые монашенки, все в черном, белолицые, они идут плечо в плечо и тихонько поют, чуть открывая красные, точно раны, рты:

О Спасе величный,
О сыне девичный,—
Воими гласу люда,
Зовуща тебя, о Спасе!
Величный-и!..

— Вас обманули,— говорит Макар монахиням, сидя с ними в овраге, в густой заросли кустов,— обманули вас на всю жизнь...

— Милый братик,— отвечает одна из них, очень синеглазая, с пятнами яркого румянца на щеках,— решил господь предать человека в плен скорби вечной...

Другая, наклонив над Макаром белое, злое лицо, с тонкими губами, прохладно дышит в глаза ему, приказывая:

— Ну, не кричи, открой рот...

И вылила в рот и на грудь ему целое озеро горько-соленой воды, а потом переломилась надвое, и обе половинки ушли в стену, в круглое медное пятно на ней. Это пятно — как луна, и если долго смотреть в него — желтый блеск втягивает глаза в бездонную глубину свою, и — видно: жаркий, ослепительно солнечный день над пустынным полем, серая дорога режет поле, и на ней сидит, закрывая небо, огромная женщина; лицо ее так высоко, что его не видно, она, как гора, вся черная и так же изрыта морщинами,— приподняв руками груди свои, большие, как холмы, она подает их кому-то и говорит ласково:

— Чтобы род и плод увеличился, и во имя духа святого, сына пресвятыя богородицы, и на посрамление дьявола...

Хлынул дождь, и пьяный остробородый человек в енотовой шубе закричал:

— Кто меня знает? Никто меня не знает! А мои стихи лучше Надсона...

Под забором, в крапиве, дергаясь и жалобно мяукая, умирает ушибленная кем-то кошка, половина красного кирпича лежит

рядом с нею, а на ветке качается ворона, косо, неодобрительно смотрит в глаза Макара и говорит, скучно упрекая:

— А вы все еще не прочитали «Наши разногласия» и Циттеля, и Циттеля...

Потом она летит над озером, ее тень маленьким облачком скользит по воде, а старенький Христос, уже седой, но все такой же ласковый, как прежде, удит рыбу, сидя в челноке, улыбается и рассказывает:

— В жарких странах люди черные, а душа у всех одинаковая, и у меня — как у них, и у тебя — как у них...

Макар не верит ему:

— Ты — бог, какая у тебя душа? У бога нет души...

Христос смеется, взмахивая удилищем.

— Ой, чужак! Ну — сказал...

И оттирает рукою мокрые, в слезах, удивительно ясные, очень печальные глаза.

А Макар сердится:

— Ты почему людей не жалеешь?

— Я — жалею, они сами себя не жалеют... — и он машет маленькой, сухою ручкой в сторону далекого синего озера.

На берегу, на сыром песке, лежит бородатый утопленник в красной рубаше, лицо — огромное — распухло, глаза вытаращены, а губы надуты, над ним стоит урядник и говорит, поплеывая:

— Марина Николаевна, — тьфу, — кланяется вам... — вот дух какой! Тьфу!..

И рыжебородый священник, обмахиваясь соломенной шляпой, соглашается:

— Дух — мертвый... А Марина — дура подлая...

Он тут же, этот бескрылый мертвый дух: он — круглый, как пузырь, глаза у него разные, это ясно видно, хотя оба они не имеют зрачков и смотрят на Макара двумя мутными пятнами, одно — зеленое, другое — серовато-желтое, смотрят долго и мучительно мешают понять что-либо...

Эти картины движутся бесконечно, бессмысленно и, оскорбляя своей навязчивостью, — бесят; Макар сердито отгоняет их, кричит, хочет бежать, но каждый раз, когда он пытался спрыгнуть с койки, боль в груди и в спине будила его.

В одну из таких минут он услышал над собою зловещий шепот:

— Профессор Студентский, ш-ш...

У койки встал человек с опухшим лицом, он приказал:

— Снять перевязку!

Он не понравился Макару. Люди в белых халатах обнажили грудь Макара, профессор, тыкая в нее холодным и тяжелым пальцем, стал громко говорить:

— Здесь мы видим совершенно правильную картину...

Макар слушал и злился — профессор говорил не то, неверно...

— Дня через три он должен умереть...

— А я — не умру, — сказал Макар.

— Что?

— Вы врете...

— Закройте его, сиделка...

Они все пошли прочь, тогда Макар схватил со столика драхмовую бутылку хлоралгидрата и начал жадно пить из нее, на него бросились, вырвали бутылку, облили лицо, он бился и кричал:

— А что, а что? Ага-а...

И снова поплыл среди странных картин.

Потом бред оставил его, и он сразу почувствовал себя в обстановке отвратительной, среди людей, никогда не виданных им и до изумления, до испуга непонятных ему.

Рядом с ним медленно умирал от Брайтовой болезни синий человек, черноусый, с длинным носом и мертвыми темными глазами, он все вздыхал:

— Господи, непусти...

По другую сторону лежал, готовясь к операции, ширококорый учитель; непрерывно щупая толстыми пальцами раковую опухоль на щеке, он по нескольку раз в день спрашивал Макара:

— Вы отчего застрелились?

Но, быстро забыв ответ, снова спрашивал, глядя в потолок мутными глазами:

— Вы отчего...

Макар отвечал разное: от скуки, чтобы избежать надоедливых людей, от угрызений совести, — учитель спокойно выслушивал все ответы и говорил мерно, скучно:

— У вас еще бред.

— Подите к черту, — предлагал Макар.

Учитель крестился, вздыхал:

— Господи — помилуй! Какой вы грубый и невоспитанный человек. Я, может быть, во время операции умру под ножом, а вы... Ну — почему не сказать просто и правду? О боже!

Кроме этих двух, в палате жили еще четверо безносых людей, ожидая, когда им сделают ринопластические носы; трое из них с перевязками поперек лица, а у одного над ямой, где был нос, уже торчали стропила из золотой проволоки. Все они были здоровые ребята и казались Макару похожими друг на друга, точно братья; они играли в карты, пили водку, заедая ее сухим чаем; по ночам, лежа на койках, спокойные, точно свиньи, они говорили о женщинах, сообщая друг другу чудовищные анекдоты, и хихикали, фыркали, хрюкали.

На другую же ночь, после того как он пришел в себя, Макар сказал им невежливо:

— Эй, вы, господа, перестаньте говорить пакости...

Он ждал, что безносые станут спорить, ругаться, но они покорно замолчали, и это очень удивило его. А утром все четверо один за другим подошли к его койке и стали удивительно глупо и скучно издеваться над ним, говоря однообразно гнусавыми голосами и однообразно хихикая:

— Ты что же, сударь, ты зачем же выздоравливаешь, ась?

— Решившись на смерть, а теперь попятно?

— Р-ретир-руешься, молодой чавэк, а?

— Поелику — что начато, то должно быть и кончено...

Сначала Макар рассердился, стал ругаться — это их обрадовало до того, что один, упершись руками в колени, согнулся и в яростном возбуждении стал травить его, как собаку, сжал зубы, покраснел весь и, шлепая губами, зашипел:

— Взы-ы, взы...

А товарищи посильно помогали ему.

Это вызвало у Макара какое-то тупое изумление: он смотрел на них и все более убеждался, что все четверо, несмотря на разные лица, странно похожи друг на друга.

— Что вы делаете? — спросил он.

Один из них, более лысый, чем другие, поглядел на него, прищулив слезящиеся, красные глаза, и сказал товарищам:

— Ну его, идемте... Конечно — сумасшедший...

И все ушли в коридор, причем в двери один обернулся, чтобы показать Макару толстый сизый язык.

После Макар узнал, что двое из них — чиновники, один — офицер, а четвертый — псаломщик, и почему-то почувствовал к этим людям брезгливую жалость.

Кроме этих, было еще трое оперативных, но они, не вставая с коек, только стонали.

Одна из сиделок уже замучена работой до озлобления; серая, длинная, точно ящерица, она бегом металась между коек, всовывая термометры, пичкая лекарствами, дышала порывисто, шипя и булькая, из ее рук ничего не хотелось принимать; другая, с больными ногами и отечным лицом, вздыхала, охала, жаловалась на усталость, ее жалобы, никого не трогая, всем мешали, всех раздражали.

Макару было стыдно видеть себя среди этих изломанных, ненужных людей, он испытывал непобедимое чувство брезгливости к ним, все вокруг казалось ему липким, пропитанным заразою, угрожающим уродством.

Желтые, окрашенные масляной краской блестящие стены с высокими окнами куда-то в бесцветную пустоту, надоевшую Ма-

кару до того, что он готов был ослепнуть, лишь бы эта пустота не давила глаза своей хвастливой ненужностью, все заключенное в этих стенах, неохотно освещаемое тусклым светом коротких зимних дней, стонущее, бесстыдно требовательное, трусливое, наянливо жалующееся на свои страдания и холодное друг ко другу, — все это вызывало у Макара припадки тоски и безумного желания уйти отсюда.

Он первый раз видел людей, которые, рассказывая о своих болезнях, точно гордятся ими и, суеверно боясь смерти, относятся к жизни как-то особенно: недоверчиво, подозрительно и фальшиво; казалось, что они нарочно смотрят вкось, в сторону, стараясь не замечать того, что им не выгодно, не нравится и не понятно.

...С наивной горячностью юности он пробовал говорить с ними о чем-то важном и видел, что это их удивляет больше, чем удивляло мастеровых, рабочих, мужиков, — эти люди отмахивались от живых вопросов, как от пчел, забывая о меде и только боясь, как бы не ужалила пчела.

Но тяжелее всех и всего — учитель: этот человек жил как будто на параде, словно за ним целый день неотступно следили чьи-то строгие глаза, а он знал это и в почтительном вниманье к ним действовал с точностью маятника.

Он просыпался аккуратно в половине восьмого, ежедневно одними и теми же движениями вставал, одевался, оправлял койку, в четыре шага доходил до двери, определенное количество времени тратил на умывание, возвращаясь, садился на табурет и, взяв со столика часы, говорил Макару:

— Вчера с чаем опоздали на одиннадцать минут — посмотрим, как сегодня...

А после чая, ежеминутно дотрагиваясь до опухшей, багровой щеки, прищурив воспаленный глаз, глухо тянул:

— Да, молодой человек, вот так-то я говорю: нужно уметь хотеть только того, что доступно и по силам, и нужно уметь сдерживать себя от бесполезной траты сил, коих нам дано не много...

И в продолжение часа он бесчисленно ставил рядом друг с другом все одни и те же глаголы: уметь, сдерживать, хотеть, сокращать...

Однажды он вполголоса, намекающим тоном сказал Макару, сидя на его койке:

— Мой приятель, человек твердой воли, влюбился в девицу, его недостойную, хотя из богатой и очень почтенной семьи. Добавлю — влюбился страстно, даже страдал бессонницею и другими явлениями нервного характера. Не допуская преувеличений, могу сказать однако же, что он был на краю гибели. Но!

И, близко наклонясь к лицу юноши, он выдохнул в глаза ему теплые, неприятно пахучие слова:

— Он решительно сказал себе: «Не хочу хотеть!» И — все кончилось, — понятно?

— Уйдите, — сказал Макар, закрыв глаза, чтобы не видеть багрово-торжествующее лицо.

Он не мог представить себе этих людей в их семьях, в обществе, на службе, не понимал, о чем они могут говорить со своими женами, с детьми; они казались ему неумными, неумелыми и напоминали нищих на большой дороге, по которой крестным ходом несут чудотворную икону, несут и кричат:

— Прибавь ходу!..

А нищие, сидя под деревьями, по обе стороны дороги, стонут, показывая уродства свои, и зло ругаются друг с другом, когда люди минуют их, оставляя в пыли.

И он думал с обидой, которая все росла:

«Вот какие живут...»

О смерти не думалось — Макар был спокойно уверен, что как только представится удобный случай — он убьет себя. Теперь это стало более неизбежным и необходимым, чем было раньше: жить больным, изуродованным, похожим на этих людей — нет смысла.

Ему казалось, что это — решение его сердца, но, в то же время, он чувствовал что-то другое, молча, но все более настоятельно спорившее с этим решением; он не мог понять — что это? И беспокоился, стараясь незаметно подсмотреть лицо назревающего противоречия.

А откуда-то из глубины наболевшего сердца тихонько поднималось желание, чтобы пришел человек, дружески пожал руку и сказал бы, улыбаясь, что-нибудь простое, человеческое, несколько слов.

Это было маленькое, робкое желание, — робкое, как подснежник, первый цветок весны.

...И человек пришел: однажды Макар услышал около своей койки тихий вопрос:

— Спит?

Чуть приоткрыв глаза, он увидел Настю — в черном платье, в черных перчатках, она, немножко наклонясь, согнула стройное тело, разглядывала его лицо хорошо знакомыми глазами, только любопытство было острее, чем прежде, в темном блеске этих глаз. В первую секунду приятно было видеть здоровое, простое лицо — захотелось со всею силою сердца сказать девушке:

«Здравствуйте!»

Но, присмотревшись сквозь ресницы, он заметил, что верхняя губка Насти приподнята и дрожит, нос болезненно сморщен, —

он открыл глаза, девушка вздрогнула и, смущенно отводя взгляд в сторону, сказала:

— Закройтесь...

Он — не понял, потом быстро натянул одеяло до горла и спрятал под ним руки — лежал без рубахи, плечи и руки были голые.

Девушка несколько раз кряду коротко и сильно выдохнула воздух через нос, как бы отгоняя от себя запах больницы, потом села на табурет, спрашивая:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Спасибо.

— А у нас — все хорошо, как было...

— Очень рад...

— Да...

Она подвинулась немножко ближе и, посмотрев, не коснулось ли ее платье серого одеяла койки, чуть улыбаясь, тихонько сказала:

— А ведь я думала — вы шутили тогда...

Не находя, чем ответить ей, Макар тоже усмехнулся. Он видел, что больные заинтересованы его гостьей: отовсюду на нее внимательно и жадно смотрят безносые, он знал, что эти люди мысленно пачкают ее, и это было больно ему. Учитель, уже оперированный, с белой головой, обмотанной бинтами, одним глазом измерял и взвешивал ее. А девушка, чувствуя возбужденный ею интерес, смущенная им, разглаживала черными лапками платье на коленях, краснела и улыбалась, сморщив гладкий лоб.

Синее ясное небо смотрело в окна.

— Холодно? — спросил Макар.

— Сегодня? Нет, всего тринадцать градусов...

И, вдруг оживясь, быстро заговорила:

— Знаете — в воскресенье я, Сыроенко и Таня, — ах да, Таня кланяется вам, у нее кашель и насморк, она не могла прийти, — мы чудесно катались в воскресенье, ездили за город, туда, за сумасшедший дом, хохотали...

Она говорила непрерывно, минут пять, и когда ей не хватало слов — прищелкнув языком, рисовала пальцем в воздухе петлю или круг. Потом, на полуслове оборвав свою речь, встала:

— Ну, мне пора! Не шевелитесь, не надо... Прощайте...

Макар точно окостенел, он чувствовал себя обиженным этим визитом и думал о том, как это ясно, что жизнь — оскорбительна и жить — не стоит.

Сидя на своей койке, учитель осторожно облизывал толстые губы большим тупым языком и медленно, шепеляво, новым голосом говорил:

— В-вот я и знаю, из-за кого вы это...

— Поздравляю,— сказал Макар.

— Девица — ничего. Но стрелялись вы — напрасно.

— Почему?

— Девиц — очень много. Стреляться же вообще бессмысленно...

— Почему?

Он опустил глаз и вздохнул.

— Я многократно объяснял вам это. Сегодня мне больно говорить.

— Я этому рад,— сказал Макар, не будучи в силах сдержать холодного бешенства,— рад, что вам нельзя говорить, я терпеть не могу скучных глупостей...

Учитель приподнял плечи и застонал протяжно.

— Ка-ак вы невоспитанны, у-у...

В следующий день свиданий пришел знакомый студент, медик, человек с небольшой бородкой, глухим голосом и беглой, спотыкающейся речью. Он спрашивал Макара, что и как у него болит, и, выслушивая ответы, одобрительно встряхивал длинными волосами, говоря:

— Правильно! Так, так. Именно.

Удовлетворенный, он на прощанье крепко пожал руку, сказав:

— Ну, поправляйтесь!

«Зачем?» — хотел спросить Макар, но не успел, удивленный: в двери, уступая дорогу студенту, стоял, улыбаясь, чисто одетый, пожилой татарин, забавно кивая Макару круглой головой.

Потом он сидел на койке, смеясь, рассказывал Макару, как его возили из конца в конец города и котенок тоже ездил, сидя за пазухой тулупа. Слушая ломанные, измятые слова, глядя в большое, словно плющем оклеенное лицо с мягкими серыми глазами, Макар чувствовал себя как во сне, тоже смеялся и расспрашивал:

— Кричал я?

— Засем — кричал? Так себе, немножкам болтал язык туды-сюды...

Потом татарин сказал, что он узнал, кто такой Макар, познакомился с его товарищами по мастерской и что они тоже собираются в больницу. А его зовут Мустафа Али Юнусов, живет он около монастыря.

— Такой изба старый, крыш — боком, на двор войдешь — помойным ямам, а за ним — двер, ну — там я и есть. Придошь?

— Приду,— сказал Макар,— обязательно приду, брат!

— Вот — обязательным! Чай пить будем...

«Зачем он приходил,— подумал Макар, когда татарин ушел.— Зачем?»

Искать ответа на этот вопрос было приятно.

Он чувствовал себя с каждым днем все более здоровым, а в душе становилось все темнее и запутаннее, и — как-то наизусть для него — мысль о смерти переселилась из сердца в голову. Там она легла крепко, об ее черный угол разбивались все другие мысли, ее тяжкая тень легко и просто покрывала собою все вопросы и все желания.

«Зачем жить?» — думал Макар, и она тотчас подсказывала свой простой ответ:

«Незачем».

«Что делать?»

«Нечего. Ничего не сделаешь».

Но именно эта простота вызывала неприязненное чувство, постепенно внушая к себе почти такое же отвращение, как учитель, с его тупым и ненавистно пошлым «не хочу хотеть». Тихо, но настойчиво возникало желание сопротивляться всему, что неприятно, раздражает, и — упрощенным ответам в том числе. Враждебность простоты ощущалась особенно ясно, когда она, в ответ на мучительные, обидные раздражения Макара, говорила ему плоские и еще более обидные слова:

«Не все ли равно?»

Нет, — было не все равно, в палате ли учитель или вышел, говорит он или молчит, и было не все равно — слушать его речи молча или возражать ему и сердить его.

Все более волновало усвоенное больными и служащими отношение к Макару; человек, с золотыми стропилами на месте носа, спрашивал:

— Выздоровливаешь?

— А вам какое дело?

— Никакого дела мне нет, это верно! А только — коли живешь, так уж терпи, озорничать не к чему...

Макару же нестерпимо хотелось именно озорничать, не соглашаться, спорить, встать в тесный круг разнообразных «хочу» и «не хочу», утверждать и отрицать.

«Не все ли равно?» — тихо спрашивало его что-то.

Нет, не все равно, он всем телом чувствовал, что не все равно. Ночами, когда все спали, он, открыв глаза, думал о том, как все вокруг обидно, противно и жалко, главное же — обидно, унижительно. Как хорошо было бы, если бы в жизнь явились упрямые, упругие люди и сказали бы всему этому:

«Не хотим ничего подобного. Хотим, чтоб все было иначе...»

Он не представлял, как именно иначе, но отчетливо видел: вот сердятся, волнуются, кишат спокойные люди, решившие все вопросы, подчинившиеся своей привычке жить по правилу, избранному ими; этими правилами, как топорами, они обрубают живые ветви разнообразно цветущего древа жизни, оставляя

сучковатый, изуродованный, ограбленный ствол, и он был воистину бессмыслен на земле!

Было хорошо думать об этом, но когда Макар вспоминал свое одиночество — картины желанной бурной, боевой жизни становились тусклыми, мысли о ней вяло блекли, сердце снова наполнялось ощущением бессилия, ненужности.

Так, то поднимая себя над жизнью, то падая устало в ее грязный, торжествующий хаос, он жил день за днем, спорил и ругался с безносыми, с учителем, осуждал и высмеивал их мертвые мысли, настойчиво желая привить им свою тоску, пошатнуть их твердые решения, расплескать устоявшееся, густое самодовольство.

Потом, забитый их криками, насмешками, оскорбленный явною ложью и лицемерием их речей, он лежал, закрыв глаза, чувствуя себя мало знающим, плохо вооруженным, неспособным для борьбы, — ненужным для жизни.

И, в презрении к себе самому, снова разгоралась мысль о смерти. Но теперь она уже не изнутри поднималась, а подходила извне, как будто от этих людей, которые всеми своими словами победно говорили ему:

«Ты — выдуманный человек, ты никуда не годишься, ни на что не нужен, и ты глуп, а вот мы — умные, мы — действительные, нас — множество, и это нами держится вся жизнь».

Они все дышали этою мыслью, они улыбались ею, снисходительно высмеивая Макара, она истекала из их глаз, была такая же гнилая, как их лица, грозила отравить.

Макар угрюмо замолчал...

...Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей — веселый, черный, как цыган, пекарь и еще двое: кособокий подросток, с лицом хорька, и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень.

Виновато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотою больницы, они остановились у двери, оглядывая койки.

— Вон он, — тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Макара и оскалив белые зубы.

Точно боясь проломить пол, они на цыпочках, гуськом подошли к нему, пряча за спиною темные руки с какими-то узелками в них, двое улыбались ласково, третий — сумрачно и как бы враждебно.

— Во-он он, — повторил пекарь, по-бабьи поджимая губы и дергая себя за черную бородку обожженной рукою в красных шрамах, а подросток уже совал Макару бумажный пакет и, захлебываясь словами, говорил тихонько, торопливо:

— Алимона, отличные... с чаем будешь...

— Здорово! — сказал широкоплечий парень, сердито встряхнув руку Макара. — Ну — как? Похудел...

— Не больно! — подхватил пекарь. — Конечно — болезнь не ласкает, а ничего! Мы — поправимся, во — еще! Накося тебе: сушки тут, чаю осьмуха, ну — сахар, конечно...

— Курить — дают? — спрашивал сердитый парень, опуская руку в карман.

— Братцы, как я рад, — бормотал Макар, взволнованный почти до слез.

— Не дают — курить? — глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядинных штанов. — Ну, пес с ними! Я и табаку припас и леденцов: когда курить охота, ты — леденца пососи, все легче будет... хоша и не то! Чистота у тебя тут, ну-ну-у!..

Макар видел, что двое отчаянно притворяются веселыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным, — и всем не удастся игра: три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Макаровы глаза.

— Ну — спасибо! — бормотал он, задыхаясь.

Они сели, двое на койку, один — на табурет, подросток пресвело спросил:

— Когда на выписку?

Пекарь сказал:

— Чего спрашивать? Сам видишь — хоть сейчас!

А третий деловито посоветовал:

— Ты, брат, как снимешься, к нам вались!

И заговорили вперебой все трое:

— Конечно...

— Работу выищем полегче...

— Тут — праздники, рождество...

— Скучно лежал?

— Конечно, что спрашивать?..

— Так-то вот...

Дрожащими руками Макар хватал их жесткие руки, смеясь, всхлипывая...

— Ах, братцы... черт возьми...

Они вдруг замолчали, и сквозь слезы Макар видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели, и вдруг за сердце его схватил тихий шепот:

— Э-эх, ты! Как же это ты, а?

— Уда-арил ты на-ас...

Третий голос добавил также тихо, но внушительно:

— А еще говорил — братцы, говорил, правда, говорил...

— Разве этак можно?

— Братцы, говорил, а сам?..

Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь, Макар молчал.

А сердитый парень, деловито покрывая голую грудь Макара одеялом, ворчал:

— Да, брат, говорил, говорил, а сам вон что... Однако же не простудить бы тебя, мы народ с воли, холодный...

За окнами густо падал снег, хороня прошлое...

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очамчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое,

необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у туркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудились оно для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человеческие голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая землища...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокренском — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке, — уходила за барак и, сидя там на грудке щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...

во зелены-их куста-ах —

На песочку...

расстелю я белый плат...

Не дождусь ли...

дружка милого мово...

Придет милый...

поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...

ой, миленок дорогой...

Не судьба мне...

боле видеться с тобой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накреньясь на левый борт, скользит к

Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головой, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбежал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, всё льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, бунит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь... — тихо шепчет мать, — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же...

Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая, — вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очень-то не возись...

— Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, — какие не растут в Орловской губернии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е, — сказала она, покачивая головою на развинченной шее, — мне прибираться надобно да идти в энти самые...

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь идти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, — надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

— О? Напой-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем! Я сама отстала, а они — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первенькой. А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конечно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мне, а вода — незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные да страховидные, — тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарюю...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернувшись в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил ученье-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне — видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, оглядывая меня. — Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, — рос да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

ЛЕДОХОД

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в серовой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая мхоздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, всегда и всюду заметный, — староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий, — ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие, — надобно сегодня конец делу положить али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее

и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко,— Осип заводит журчащим голоском:

— А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгоют, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижет слово за словом...

— Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: «Елесья-а, Елесья-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец,— молодой парень с маленькими изумленными глазками,— опустил топор и стоит, открыв рот.

— А из пещера отвечают бацищем, густо: «Здесья-а!..» И в ту самую минуту крышка с пещера — хлопбысь, линь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, линь, пошел посуху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут,— человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое,— он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбе и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду,— ржете, галманы, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда — Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и — ладно!

— Сам завел,— хрипит солдат, поплеывая на ладони.

Осип пристаёт ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими рассказами, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, — «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чайшко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьёзно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

— Не знай... пес его знает... так себе — ничего...

И, подумав, добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, — так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин — не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке»... Вот это, поди-ка, верно про него...

И ещё подумав, мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стеснясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, — Осип, не торопясь, подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-козь, покажь...

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

- Добро.
- Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?
- Досок вершковых, девятиаршинных, пять.
- Шесть.
- Пять.
- Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...
- Это он напрасно, надобности не было...
- Как же не было? Он половину в кабак снес...

Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко,— мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренно слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну вот — это верно! И цифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай,— предупредил я Осипа,— я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями.— Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Проштрафились, стало быть,— спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика,— сказал я Осипу,— ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяиново, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь, — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, — характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное, — поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно, — отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком, — сказал я однажды.

— А — конечно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать

на хорошень, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, по-балуй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям — я вижу — всё едино как: жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой, — отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, — это всё равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, — они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа, — неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города, — каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрее, сырые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй, ты, курвин сын! — кричит на него солдат. — Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит: — С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой, — говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. — Выпусти конец бруса на вершок левей — так!.. А ежели просто сказать — дикой народ! Однако — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень разгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Саженом на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево, — и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелoke варенный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает, — говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай —

знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая, — кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. — Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл: — По-оше-ол... о-го-го-о!

И, как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-под льда и теперь метались взад-вперед, как галки, испугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай струмент! — крикнул Осип. — Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и светло Христово воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги, — крикнул Осип, толкнув меня, — чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами, — там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же всё, как было.

— Застрали мы тут суток на двое...

— И посидишь.

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили... три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать сломя голову...

— Ты первый побег, — сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-батюшко и то помер...

— Чать, он воскрес опосля того,— обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни — пятница, а не воскресенье!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это — ненадолго...

— Отрезало нас от праздника,— угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки все одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед — глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...

— А — наплевать... наше оно, что ли?

— Толкуй с дураком...

— Чинили бы раньше...

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала,— повторил Осип.— М-да...

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и все казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип — как же?

— Чего? — дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верно,— сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжело, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разное и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-ко, ребята, айда с богом...

— В город? — воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пещере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя, — в случае — не дай бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить... Веревка — есть? Народец, дай-ко, мне ватерпас... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжелее? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок, — Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип. — С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайся! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

— Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат всё гуще — видимо, сбегался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механическим, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроенье, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время все видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата, — оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конечно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее...

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто поворачивает назад и так все время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда вверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся и, не устояв, припал на колени, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходись — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он. — Стой, черт!

Показалось, что это не Осип, — лицо странно помолодело, все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем, — тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, — потягивается, высоко вздымая лохматую

влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, словно жѣла, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, — на обиде, — растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная, холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспомнились утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне:

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам-деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого смиренного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батьюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всенощной, — выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом. — Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги; казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немymi, двигались тяжело, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тихо восторгался мордвин. — Ну — человек!.. Это действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измелечен, истерт лед и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем, — тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас — огромная чка уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя...

Он опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шею нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбери, где лед снегом не покрыт, там он тверже... Бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щелы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты, — одобрительно сказал мордвин, — поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка — точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуваясь, кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут, — ворчит солдат, еще более охрипший, — а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежда на нет... а — года не носил!..

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь все меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков, — в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежду всю спортили, чтоб вас рó-зорвало...

Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал все горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот, — полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу. — Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задержался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно, — спокойно и внятно сказал Бударин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

— Конечно, ты заводчик делу, — угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-абыл он! — яростно кричал Боев. — Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищутив глаза, оглядел мокрых, полуоде-тых людей...

Потом, странно всхлипнув — смеясь или плача, — дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи на милость!

— То-то! — победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просяная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу-ты, господи!.. Ребята... вы — того... не сердитесь, праздника ради... простите уж! Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? — сказал Боев. — А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренно поражен ненужностью и безумием сделанного им, — скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом все бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку, — чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, — грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладко-звучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидая примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это — я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый черт, — закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городе; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтра, ваше благородие, велик Христов день, — в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айда, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный. — Ну, а если б вы утопили — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть, — изумленно и разочарованно загнул Боев, — стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтобы сломать?

— Ах, — комедьян! Петрушка ты несчастный...

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а черт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть бы снова через реку, по льду, ускользающему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!...»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человеческая — крылата, — во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..

Из цикла

Сказки об Италии



IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, — земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, — это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, — забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди, — такие маленькие, и она, эта гора, — до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли, — надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью. — О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, — непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну, — говорил он, — это против бога, разделившего землю стенами гор, — вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога», — это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, — «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его, — оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше... — «Разве я не прав?» — говорил он. — Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло, — сказал он мне однажды ночью. — Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?»

Я — верил.

— «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею — вы поймите, синьор, — под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкые, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний, — это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как

сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости,— о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал,— как он желал этого:

— «Отец — сделано! — сказал я.— Люди — победили. Сделано, отец!»

VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой.— На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум

колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится — хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее, — о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет, — вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

— В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, — такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, — работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— «Женимся?» — сказал я ей.

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело. — Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?»

— Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

— «Да, пожалуй, ты прав,— сказала наконец Ида.— Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

— Мы пошли к священнику.

— «Это — безумие! — говорил священник.— Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!»

— Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— «Мы уйдем в поле! — сказала Ида.— Почему это плохо? Мать божия везде одинаково добра к людям».

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания,— это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джiovанни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!»

— Вот у нас и дом!

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

— А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала:

— «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, трясая изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

— О, синьоры, синьоры! — сквозь смех, задыхаясь, говорил он,— на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома,—

статуя мадонны, посуда, белье, мебель — всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право называть людей — наши! И еще более хорошо *чувствовать* их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твое счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

— И священник был. «Вот, — говорил он, строго и хорошо, — вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги — исчезают, работа — остается... Эти люди — и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застонут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях, — это вкусно, не правда ли?

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе, — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубали

сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали ее сердце с древними камнями, из которых предки ее построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей —

теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять — что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советовать, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она. — Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго

смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, — матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и, не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подшли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын, — сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, — в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки. — Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился, — напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, — сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить, — пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как

и тот, кто создает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город.

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям, — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шепота людей, ожидающих смерти, — она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко перед нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью, — говорил ее сын, — если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов, — говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отмстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния, — сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови, — она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.

XXIV

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь, вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо, — там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму,— вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира!

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и всё более внимательно слушает ее вся жизнь! Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да,— но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло. А стачку мы выиграли...

— Выиграли! — звучно откликнулась девушка.— Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм,— развалины какого-то здания,— над ним задумчиво опустились тонкие ветки ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло! — говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидала? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и за сестру. Всё будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько, потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням,— чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разор-

вались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай! — тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны! У него — хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его. А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город всё обильнее сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его, — везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Эй, не смейся! Не чужая своему народу говорит с тобой.

Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна. Так?

— Да, — тихо сказала девушка. — Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

У КОММЕНТАРИИ

ДЕТСТВО

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913—1914 гг. В 1914 г. русское издательство И. П. Ладыжникова в Берлине выпустило отдельное издание повести.

«Детство» является первой частью автобиографической трилогии Горького.

Повесть сразу же привлекла большое внимание русских и зарубежных читателей.

«Вчера мы как раз говорили о Вас с Цвейгом,— писал Горькому 3 августа 1923 г. Ромен Роллан,— оба сошлись на том, что никогда не читали в русской литературе ничего прекраснее Вашего «Детства» и очерков о Толстом, Чехове и др.».

Стр. 42. Я б ы л т я ж к о б о л е н...— Алеша Пешков болел холерой в Астрахани, когда ему было три года. Его отец, Максим Савватиевич Пешков, ухаживая за сыном, заразился и умер (29 июля 1871 г.).

С в е р х у, и з Н и ж н е г о...— Акулина Ивановна Каширина, бабушка Горького, летом 1871 года приехала из Нижнего Новгорода пароходом в Астрахань, где в то время жила ее дочь Варвара с семьей.

Стр. 55. С е м и ш н и к — монета в две копейки.

Стр. 61. Р е к р у т с к а я к в и т а н ц и я — квитанция, освобождающая от военной службы.

З а п о н — кожаный передник у мастеровых.

Стр. 69. Г о л о в к а — головная повязка у замужних женщин.

Стр. 78. М а р ф а П о с а д н и ц а — Марфа Борецкая, жена новгородского посадника; во второй половине XV в. возглавляла антимосковскую боярскую партию в Новгороде, ориентировавшуюся на союз с Литвой.

Б а б а У с т я — героиня поволжской легенды, атаман разбойничьей шайки.

Стр. 83. Ц а р с к и е д в е р и о т в о р и т ь н а д о... — Существовало поверье, что для облегчения трудных родов надо открыть в церкви «царские врата» — дверь, ведущую в алтарь.

Стр. 85. П е ч ё р ы — Печерский монастырь на окраине Нижнего Новгорода (основан в XIV в.).

«С о н б о г о р о д и ц ы» — духовный стих, в котором рассказывается, как богородица узнала из пророческого сна о будущих страданиях и крестной смерти своего сына.

Стр. 88. Б ы р ь — индюк.

Стр. 90. К а ф и з м а — чтение из псалмов. Ч а с о с л о в — книга текстов для ежедневных церковных служб («часов»).

Стр. 91. Д е я н и я — «Деяния святых апостолов», одна из книг Нового завета.

...в д е н ь Н и к о л ы в е ш н е г о... — 9 мая (ст. ст.).

Стр. 92. ...д о х о л е р ы... — Свирепствовала в Нижнем в 1848 г.

...к о г д а о л о н ч а н л о в и л и п о л е с а м. — Крестьян Олонецкой губернии насильно приписывали к заводам, откуда они бежали.

Стр. 93. ...в с а м ы й в е н г е р с к и й п о х о д... — Речь идет об организованном Николаем I походе против венгерской революции.

Стр. 94. Т о м а ш а — суета, суматоха.

Стр. 98. О т б о й н ы е — отбившиеся от дела, непутевые.

Стр. 102. А к а ф и с т — церковное хвалебное песнопение или молитва в честь Христа, богородицы и святых.

Стр. 106. Э т о — к у л у г у р с к и е ш у т к и... — Кулугурами называли в народе раскольников-старообрядцев.

Стр. 107. С в я т ц ы — календарь «святых» и их праздников.

Е ф р е м С и р и н — один из «отцов церкви» (IV в.), сочинитель молитв и духовных песнопений.

Стр. 128. М а к о в а я с б о й н а — маковый жмых.

Стр. 143. «Р о д н о е с л о в о» — учебная книга для детей младшего возраста, составленная К. Д. Ушинским (1864).

«Б о л ь ш а я д о р о г а, п р я м а я д о р о г а...» — не совсем точная цитата из стихов И. С. Аксакова, помещенных в «Родном слове» (отрывок из поэмы «Бродяга», 1847—1850).

Стр. 145. «И вечерней и ранней порою...» — Из стихотворения И. С. Никитина «Нищий» (1857).

Стр. 155. ...читая таинственную книгу «Записки моего отца». — Очевидно, «Записки моего отца. Картины Сибири, 1804—1809 годы» Вас. В. Пассека.

Стр. 165. ...в прощенное воскресенье... — канун поста, когда верующие просили друг у друга прощения во взаимных обидах.

...там и родился ты... — Во флигеле дома В. В. Каширина на Ковалихинской улице 16 (28) марта 1868 г. родился Алексей Максимович Пешков.

Стр. 168. ...триумфальные ворота строить. — Триумфальная арка воздвигалась в связи с приездом в Астрахань летом 1871 г. Александра II.

Стр. 169. Пырин — индюк. Сирин — мифологическая птица.

Стр. 171. Евгений Максимов — Е. В. Максимов, отчим Алеши.

Стр. 174. ...станешь студентом, — вот таким же, как и теперь... — Е. В. Максимов был студентом Константиновского межевого института.

Стр. 176. ...на войну пойдете? — Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Стр. 183. Епископ Хрисанф (В. Н. Ретивцев, 1832—1883) — духовный писатель, преподавал в Казанской духовной академии.

Стр. 185. «Записки врача» («Жозеф Бальзамо») — роман А. Дюма-отца (1802—1870). «Книга о Робинзоне» — «Робинзон Крузо» Д. Дефо (1660—1731).

В ЛЮДЯХ

Впервые, в отрывках, опубликовано в газете «Русское слово», в 1915 г. Полностью — в журнале «Летопись», 1916, № 7—12.

«В людях» — вторая часть автобиографической трилогии Горького.

Стр. 202. ...служу «мальчиком»... — Осенью 1879 г. 11-летний Алеша Пешков служит в магазине «модной обуви» на Большой Покровке, одной из центральных улиц Нижнего Новгорода.

Стр. 210. «Сонник и оракул» — лубочная книга, содержащая толкования снов и всевозможные правила «житейской мудрости».

Стр. 220. «Ш а р - м а з л о» — игра, похожая на крокет; любимая игра нижегородских мальчишек.

Стр. 221. «К а м ч а д а л к а» — sentimentalный роман И. Калашникова.

Стр. 222. Р е к а М е д в е д и ц а — левый приток Дона.

Стр. 223. Н а з о л а — назойливый человек.

Стр. 238. Я с н о в а в г о р о д е... — Осенью 1880 г. Алеша поселился в семье чертежника Сергеева, племянника бабушки.

Стр. 240. Д в о р я н к а с Г р е б е ш к а... — Гребешок — гребень горы; возвышается в центре окской части Нижнего Новгорода. Отсюда названия: Гребешковская улица, Гребешковский съезд.

Стр. 241. «К о л ь ц о д у ш и д е в и ц ы...» — романс на слова В. А. Жуковского («Песня», 1816).

Стр. 255. Ч и с т ы й п о н е д е л ь н и к — первый день великого поста, следующий за прощеным воскресеньем.

Стр. 261. И д и - к о н а «Д о б р ы й»... — Весной 1881 г., убежав от Сергеева, Алеша нанялся посудником на буксирно-пассажирский пароход «Добрый».

Стр. 263. ...о н с у е т м н е к н и ж к у в к о ж а н о м п е р е п л е т е... — Это была книга XVIII в. «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно» Т. Уилсона, перевод с франц., 1784, — антимасонский памфлет, в котором описывался ритуал масонов. М а с о н ы — члены распространившихся в XVIII—XIX вв. в разных странах Европы (в том числе и в России) тайных религиозно-политических обществ.

Стр. 264. У м б р а к у л (лат.) — навес.

В е н е р а б л ь (франц.) — масон, возглавлявший ложу. Ф р е р (франц.) — брат (обращение). С ю в е р ь я н (франц.) — помощник венерабля.

Г е р в а с и й. — Очевидно, «Толкование воскресных евангелий, с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором, архиепископом Славенским; переведено с греческого в Казанской академии иеродиаконем Гервасием» (1803—1819 гг.).

Стр. 268. «И в а н г о э» — роман «Айвенго» Вальтера Скотта (1771—1832). Р и ч а р д П л а н т а г е н е т — герой романа, английский король Ричард I Львиное Сердце.

Стр. 269. ...с т а р и н н ы й п е р е в о д «И с т о р и и Т о м а Д ж о н с а, н а й д е н ы ш а» — роман английского писателя Генри Филдинга (1707—1754).

Стр. 271. Т р у ш ш а — вероятно, чувашское «тарашша» в значении «живее».

Стр. 278. «П р е д а н и е о т о м, к а к с о л д а т с п а с

Петра Великого» — лубочная книжка, выпущенная в Москве.

Стр. 286. Дедушка очень почитает князь Михаила Черниговского и боярина Феодора...— Михаил Всеволодович, князь Черниговский, вместе со своим боярином Феодором, был в 1246 г. замучен в Золотой Орде за отказ выполнить языческие обряды завоевателей. Об этом повествует древнерусское «Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского с боярином Феодором».

Стр. 294. Семик — весенний народный праздник поклонения душам умерших; справлялся в четверг на седьмой неделе после пасхи («зеленый четверг»); в православном быту славянский праздник семик сливался с церковным праздником троицы и духовя дня.

Стр. 301. Ксавье де Монтенан (1823—1902) — французский писатель, автор многочисленных, популярных в России авантюрных романов и мелодрам. Горький приводит первую фразу его романа «Трагедии Парижа».

Стр. 303. ...читатели-то, железную дорогу взорвали...— Речь идет о неудавшемся покушении на Александра II (взрыв на линии Московско-Курской ж. д. в 1879 г.).

А при Благословенном государе Александре Павлыче...— При Александре I, в 1822 г., были закрыты все масонские «ложи», в которых царь усматривал рассадник вольномыслия.

Стр. 305. ...книжонки Миши Евстигнеева...— Под именем Миши Евстигнеева выходили многочисленные лубочные книжки.

«Гуак, или Непреоборимая верность» — рыцарская повесть, впервые издана в Москве в 1789 г., много раз выходила в XIX в. у лубочных издателей. «Франциль Венециан» — «История о храбром рыцаре Франциле Венециане и о прекрасной королевне Ренцывене», лубочная переделка западноевропейской рыцарской повести, 1787. «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» — роман Н. Зряхова, лубочного автора 20—40-х годов XIX в.

Стр. 306. «Стрельцы», «Юрий Милославский», «Таинственный монах»...— Алеша Пешков читал лубочные переделки исторических романов: «Стрельцы» К. Масальского, «Юрий Милославский» М. Загоскина, «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I» Р. Зотова.

«Япанча, татарский наездник» — «Япанча, татарский наездник, или Гибель последнего царя Казани», 1875; автор — И. С. Кассиров, один из сочинителей лубочных исторических романов.

Стр. 307. «Московский листок» — бульварная газета, издавалась с 1881 г. Вашков, Рокшанин, Рудниковский — постоянные авторы «Московского листка».

Стр. 308. ...поступки знаменитого разбойника Чуркина... — Имеется в виду герой лубочной повести «Разбойник Чуркин», автором которой был издатель «Московского листка» Пастухов; регулярно печаталась в этой газете, начиная с января 1881 г. Братья Чуркины — реально существовавшие лица, в 70-е годы XIX в. разбойничали во Владимирской и Рязанской губерниях.

...ямщику Фоме Кручине... — Герой повести П. Богатырева «Фома Кручина (Из рогожских нравов)», печатавшейся в «Московском листке» в 1882 г.

Леонид Граве (1842—1891) — нижегородский адвокат, поэт.

...стихи Стружкина, графа Мemento-Mori... — Юмористы «Московского листка».

Стр. 309. «Огонек» — иллюстрированный еженедельный журнал литературы, науки, искусств и политики; издавался с 1879 г.

...читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский»... — Е. А. Салиас де Турнемир (1840—1908) — автор исторических и бытовых романов. Роман «Граф Тятин-Балтийский» печатался в «Огоньке» в 1879 г.

Стр. 310. Хилиазм (от греч. «хилиас» — тысяча) — мистическое учение раннего христианства, вера в тысячелетнее царствование Христа после его второго пришествия и осуществление идеала справедливости на земле.

Всталь закован, по безлюдью... — Перевод фрагмента из поэмы польского поэта-романтика Юзефа Богдана Залесского «Дух степей».

Стр. 312. Царя убили! — Убийство Александра II народо-довольцами 1 марта 1881 г.

Стр. 314. ...книги Дюма-отца, Понсон де Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ... — Здесь называются имена французских писателей, авторов многочисленных остросюжетных романов. Среди этих писателей выделяется своим талантом Александр Дюма-отец (1802—1870). О таких писателях, как Густав Эмар или его замечательный предшественник Габриэль Ферри — автор романа «Лесной бродяга»; Горький всегда говорил с чувством благодар-

ности (см.: «Детская литература», 1977, № 3, с. 32). Произведения названных французских писателей в 60—80-е годы прошлого века (а Дюма и Густава Эмара и в последующие годы) широко издавались в России и имели большой успех.

Стр. 315. «Б р а т ь я З е м г а н н о» — роман французского писателя Эдмона Гонкура; вышел в русском переводе в 1879 г.

Стр. 316. «П о д л и н н а я и с т о р и я м а л е н ь к о г о о б о р в ы ш а» — повесть английского писателя Джеймса Гринвуда (1833—1929); в русском переводе Марко Вовчок появилась в 1868 г.

...книга... А р с е н а Г у с с э «Р у к и п о л н ы р о з, з о л о т а и к р о в и». — В русском переводе книга вышла в 1875 г. Б э л л о, П о л ь д е К о к, П о л ь Ф е в а л ь — французские романисты.

...р о м а н ы М а р р и е т а... — Фредерик М а р р и э т (1792—1848) — английский писатель, автор морских романов. Романы Марриэта, в которых острый сюжет соединялся с довольно обстоятельными зарисовками быта и со многими подробностями, относящимися к службе на кораблях (м. б., эта бытовая и профессиональная стихия и оттолкнула Алешу Пешкова от произведений талантливого писателя), приобрели в XIX в. мировую известность. Дочь Карла Маркса, Э. Маркс-Эвелинг, вспоминала: «Когда мне исполнилось шесть лет, Мавр (прозвище Маркса. — Ред.) впервые подарил мне ко дню моего рождения роман — бесстрашного «Питера Простака» (роман Марриэта. — Ред.). Потом последовали полные собрания сочинений Марриэта и Купера, и мой отец читал со мной все эти повести...» В е р н е р Элизабет (1838—1918) — немецкая романистка. Ш п и л ь г а г е н Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, автор социальных романов; был популярен в России. А у э р б а х Бертольд (1812—1882), немецкий писатель, автор рассказов о жизни крестьян. С ю Эжен (1804—1857), французский писатель, автор социальных романов, отличающихся острым сюжетом («Вечный жид», «Парижские тайны»).

Стр. 318. Д и а н а П у а т ь е — героиня романов А. Дюма «Асканио» и «Две Дианы». К о р о л е в а М а р г о (Маргарита) — героиня одноименного романа Дюма. Л а В а л ь е р — героиня романов Дюма «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон».

Стр. 321 «Т а й н ы П е т е р б у р г а» князя М е щ е р с к о г о — «Тайны современного Петербурга. Записки магистра Степана Боба», роман кн. В. А. Мещерского (1839—1914).

Стр. 322. «Д у ш о ю ч е р н о й з л о л ю б я...» — из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Стр. 323. «Жизни веселой наука» — из «Песни труда» Беранже (1780—1857).

«А девушке семнадцать лет...» — из «Руслана и Людмилы».

Стр. 325. «Только песне нужна красота...» — не совсем точная цитата из стихотворения А. Фета «Только встречу улыбку твою...» (1873).

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Стр. 335. Офеня — странствующий торговец-разносчик.

Стр. 340. Белгород — Белград.

Стр. 346. Рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна... — Ля-Моль и Аннибал де Коконнас — персонажи романа Дюма «Королева Марго». Людовик XI — французский король (1461—1483), известный своей хитростью и скупостью, действует в романе Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Отец Гранде — герой романа Бальзака «Евгения Гранде». Корнет Отлетаев — персонаж из одноименной повести кн. Г. В. Кугушева (1856), бравый кавалерист, прожигатель жизни. Рокамболь — герой многотомной серии романов Понсон дю Террайля «Приключения Рокамболя».

Стр. 347. Генрих IV — король Наваррский, потом король Франции (1589—1610); изображен в нескольких романах Дюма.

Анж Питу — герой одноименного романа Дюма, являющегося продолжением романа «Записки врача», упомянутого в повести «Детство».

Стр. 349. «Виноград» — тиснение на металле, служившее традиционным украшением икон.

Стр. 350. Богородиц знаешь? Гляди... — Приказчик называет различные типы иконописного изображения богоматери.

...старообрядцы из Заволжья... — В Заволжье, на реках Керженце и Иргизе, находились центры старообрядчества.

Псалтыри следованные и толковые... — Следованные — вместе с Часословом; толковые — содержащие толкования важнейших псалмов.

...установы... — Устав — церковная книга о порядке совершения служб.

Стр. 352. Господь не изменял, да Никон изменил. — Покупатель-старообрядец говорит о церковной реформе патриарха Никона в середине XVII в.; реформа заключалась в исправлении церковных обрядов и русских богослужебных книг по греческим образцам.

Д м и т р и й Р о с т о в с к и й (1651—1709) — монах и церковный писатель, выступал против раскола; издал «Минеи-четы» — жития святых.

...м е д н ы е с к л а д н и с ф и н и ф т ь ю... — иконы с изображениями на двух или трех складывающихся створках и покрытые особой эмалью — финифтью.

Стр. 353. С и м о н У ш а к о в (1626—1686) — крупнейший русский иконописец XVII в. **Д о л и ч н о е** — все то, что изображалось иконописцем до лика, то есть одежда, пейзаж, палаты. **Ч к а** — доска, на которой писалась икона. **Л е в к а с** — смесь мела с клеем, служившая для наведения грунта под краску и позолоту.

Стр. 357. Б а т м а н — мера веса у азиатских народов; в районах Поволжья равнялась 10 фунтам.

Стр. 360. К и р и л л о в — д в о е б ы л о... — Кирилл, епископ Александрийский (V в.), и Кирилл, епископ Иерусалимский (IV в.).

Стр. 361. ...п о 103 с т а т ь е. — Статья 103-я «Уложения о наказаниях» предусматривала репрессии против раскольников.

Стр. 362. Е ш и б о т н и к — ученик еврейской духовной школы (ешибот), готовящей раввинов.

Стр. 363. ...н а к н и г е к н я з я М ы ш е ц к о г о «В и н о г р а д Р о с с и й с к и й»... — «Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (кн. Мышецким)» (первая половина XVIII в.).

«Н е т о в щ и н а» — одна из крайних форм того направления в старообрядчестве, которое получило название беспоповщины. Беспоповщина отвергала церковную иерархию и священников.

А л е к с а ш а — Александр Васильевич, сектант-«бегун». «Бегуны» отрицали государство и церковь, требовали разрыва всяких связей с обществом.

Стр. 364. Б о г о м и л ы — христианская ересь, зародившаяся в X в. в Болгарии; источник многих позднейших еретических и сектантских движений.

Х л ы с т ы — мистическая секта, возникшая в России во второй половине XVII — начале XVIII вв.

...н а с т а в н и к **Д а н и л о...** — крестьянин Костромской губернии Данило Филиппович, считающийся основателем хлыстовства.

Стр. 366. Н у — т р е г у б а я а л л и л у й я, н у — с у г у б а я... — Речь идет об одном из спорных вопросов церковного обряда, породивших раскол. Старообрядцы стояли за то, чтобы при богослужении произносить припев «аллилуйя» два раза (сугубая

аллилуйя) — в противоположность «трегубой аллилуйе» нико-
ниан. Аллилуйя (др.-евр.) — «хвалите господ».

Стр. 368. Симеон Столпник — христианский подвиж-
ник-аскет (V в.).

Стр. 371. ...по-византийски, по-фряжски и
«живописно», итальянской манерой.— По-визан-
тийски — в традициях древнего византийского иконописания.
Фряжское (чужеземное, иностранное) письмо — вид иконописи,
возникший в XVII в. и представляющий собой слияние византий-
ской традиции с западным реализмом. Итальянская ма-
не-ра — реалистический стиль итальянского Возрождения.

Связали нас подлинники эти...— Подлин-
ники — руководства, которым должен был следовать иконопи-
сец.

Стр. 377. «Взгляни: вот женщины прекра-
сной...» — неточная цитата из стихотворения В. Г. Бенедиктова
«Бездна» (1838).

Стр. 378. Голицинский А. П.— автор рассказов из на-
родного быта и «Очерков из фабричной жизни» (1861). «Иван
Выжигин» — роман Ф. В. Булгарина (1789—1859), реакци-
онного журналиста, сочинителя мещанской беллетристики.
Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского (1800—
1858), журналиста и писателя.

Стр. 383. Легенда о китайском черте...— «Цын
Киу-Тонг, или Три добрые дела Духа тьмы. Фантастический
роман в 4 частях» Р. М. Зотова, 1840.

Стр. 384. Иордань — в православном обиходе место на
реке или озере, где в день крещения устраивается водосвятие
(в память евангельского крещения Христа в реке Иордан).

«Жизнь актера Яковлева».— А. С. Яковлев
(1773—1817) — русский трагический актер. Его жизнеописание
было составлено Р. М. Зотовым и издано без имени автора под
титлом: «Описание жизни актера г-на Яковлева», 1817.

Мария Стюарт — шотландская королева, казненная в
1587 г., после 18-летнего заточения, английской королевой
Елизаветой.

«Испанский дворянин» — пьеса, популярная в ре-
пертуаре русских провинциальных театров; переделка с франц.
(драмы Д'Энери и Дюмануара). Дон Сезар де Базан —
герой этой пьесы.

Стр. 398. ...на фоминой...— вторая неделя после пасхи.

Стр. 402. Море синее, Море бурное...— песня на
стихи И. И. Козлова.

Стр. 404. «Знамена времени» — роман Д. Л. Мор-
довцева (1830—1905). «Шаг за шагом» (1870) — роман

И. В. Омулевского-Федорова (1836—1883), повествующий о «новых людях».

Стр. 409. «Искушение святого Антония» — произведение Гюстава Флобера (1821—1880).

«Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей» — мемуары, собранные Павлом Мантегацца, профессором антропологии во Флоренции, печатались в «Еженедельном Новом времени» (1880).

Стр. 421. Петр «Плотничьей артели» — герой рассказа А. Ф. Писемского (1821—1881).

Стр. 425. Харламы — очевидно, «горлопаны» (от глагола «харлатать» — кричать, горланить).

Стр. 426. Шестерка — половой.

Стр. 431. Паузки — перегрузка товара на мелководье с крупных судов на небольшое речное судно (паузок).

Стр. 440. Казанская академия — духовная академия в Казани.

МАКАР ЧУДРА

Впервые напечатано в газете «Кавказ» (Тифлис), 1892, № 242. Подпись: М. Горький.

«Макар Чудра» — первый опубликованный рассказ Горького. С этим произведением в русской литературе появился и псевдоним «М. Горький».

Стр. 462. Кошут — Лайош Кошут (1820—1849) — выдающийся деятель венгерского национально-освободительного движения, возглавивший борьбу против австрийского господства во время революции 1848—1849 гг.

ЧЕЛКАШ

Впервые, с подзаголовком «Эпизод», напечатано в журнале «Русское богатство», 1895, № 6.

«Челкаш» — первое произведение Горького, напечатанное в столичном журнале.

Стр. 470. Меркурий — в древнеримской мифологии бог торговли, он же посланник богов. У греков этот бог носил название Гермес.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Впервые, под названием «В Черноморье» с подзаголовком «Песня», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 50.

Как свидетельствовала Н. К. Крупская, «Песню о Соколе» любил В. И. Ленин.

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

Впервые, с подзаголовком «Рассказ бывалого человека», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 154 и № 156.

КОНОВАЛОВ

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Новое слово», 1897, кн. 6.

Рассказ, написанный в октябре—ноябре 1896 г. в Нижнем Новгороде, автобиографичен. События, изображенные в нем, происходили в Казани и Феодосии.

Сразу же после появления в печати рассказ вызвал оживленные споры.

В. В. Воровский в статье «О М. Горьком» развенчал как народнические, так и либерально-буржуазные концепции раннего творчества писателя. И вместе с тем отметил, что Горький обнаружил в своем герое за грубой оболочкой «такие жемчужины нравственных качеств, к которым тщетно апеллируют современные писатели и мыслители» (В. Воровский. Литературно-критические статьи, М., 1956, с. 66). А. Луначарский увидел в Коновалове «чудесный привлекательный тип». (А. Луначарский. Собрание сочинений, т. 2, М., 1964, с. 65).

БЫВШИЕ ЛЮДИ

Впервые опубликовано в журнале «Новое слово», 1897, № 1 и № 2.

В рассказе отразились впечатления Горького, связанные с его пребыванием в Казани, где в 1885 году будущему писателю пришлось жить в ночлежном доме на Задне-Мокрой улице.

Стр. 558. ...стал рассказывать о киммерийцах, скифах...— Киммерийцы — древнейшее из племен, населявших северное Причерноморье. Скифы — древние племена, кочевавшие в Причерноморье.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Впервые печаталась нелегально в гектографированных изданиях рассказа «Весенние мелодии» в конце марта 1901 г. Как самостоятельное произведение впервые напечатана в журнале «Жизнь», 1901, т. IV.

Передовые круги русского общества приняли «Песню о Буревестнике» как пламенную революционную прокламацию. Это произведение высоко ценил В. И. Ленин. Основные образы «Песни» Ленин использовал в 1906 г. в своей статье «Перед бурей»:

«Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной того же героизма массы, которым ознаменованы все великие этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы погрозить правительству, пусть эти ограниченные мещане всю силу «ума и чувства» вкладывают в ожидание новых выборов,— пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут тело жирное в утесах».

«Пусть сильнее грянет буря!» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 13, изд. 5., с. 337—338.)

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Впервые, с подзаголовком «Из воспоминаний «проходящего», напечатано в журнале «Заветы», 1912, № 1.

Летом 1892 г., странствуя по Руси, Горький работал на строительстве шоссе Сухуми — Новороссийск. Засуха и неурожай в центральных районах страны и в Поволжье привели к голоду. Голодающие крестьяне отправлялись на заработки в южные края. С группой таких крестьян и работал Горький. После окончания работ, по пути в Очамчиры, ему пришлось выполнить обязанности акушера. Об этом событии позднее он и поведал в своем замечательном рассказе.

Как свидетельствуют мемуарная литература и переписка Горького, он любил этот рассказ, придавал ему программное значение, видя в нем произведение, утверждающее «веру в светлое и радостное существо жизни».

Стр. 625. К о д о р — река в Абхазии.

...«пьяный мед», который в древности едва

не погубил солдат Помпея Великого...— Римский полководец Гней Помпей Великий во время войны Рима с Понтийским государством (66—63 гг. до н. э.) вел на территории Кавказа бои с войском Митридата, понтийского владыки. Как свидетельствует географ Страбон, три Помпеевых отряда, употреблявших в пищу разновидность меда, обладавшую пьянящим действием, были истреблены противником.

ЛЕДОХОД

Впервые, под заглавием «Из впечатлений «проходящего», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1912, кн. 12.

В основе рассказа лежат впечатления и переживания будущего писателя, относящиеся к 1883—1884 гг., когда он работал в Нижнем Новгороде у своего двоюродного дяди В. С. Сергеева.

Стр. 635. Пещер — лубяная корзинка.

Галман — грубиян, невежа.

Стр. 636. ...пишет тоже печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.— Церковный устав — старославянское письмо, кириллица. В 1708—1710 гг. Петр I ввел гражданский шрифт вместо старославянского, и последний с этого времени употребляется только в церковных книгах.

Стр. 647. Чка — плывущая льдина.

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ»

«Сказки об Италии» Горький писал на острове Капри в 1906—1913 гг.

В. И. Ленин назвал «Сказки» «великолепными». Он подчеркивал прежде всего их жизнеутверждающую силу, их радостный, мажорный, «духоподъемный» тон, их бьющее ключом жизнелюбие (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, с. 44—48).

Стр. 655. Симплонский туннель — туннель, соединяющий Швейцарию и Италию; проложен в Альпах — в районе перевала Симплон — в 1898—1906 гг.

Стр. 659. Я — лигурец...— житель области Лигурия, расположенной на побережье Лигурийского залива Тирренского моря с центром — городом Генуя.

Стр. 661. Вся коммуна смотрела на нас...— Здесь: коммуна — жители небольшого городка-поселка.

Стр. 665. ...мы не знаем, Эней или Ромул построил Рим, но точно известно имя Алариха: Эней — легендарный родоначальник римлян. Другое предание приписывает основание Рима Ромулу. Аларих — вестготский король. Три раза предпринимал поход на Италию и трижды осаждал Рим. 24 августа 410 года он, наконец, взял город, разрушил и разграбил его.

Тексты произведений Горького, включенных в однотомник, подготовили и комментарии к ним составили: И. А. Бочарова («Детство», «В людях»), Л. П. Быковцева («Сказки об Италии»), И. И. Вайнберг («Макар Чудра»), Т. Б. Дмитриева («Случай из жизни Макара»), Л. А. Евстигнеева («Однажды осенью», «Коновалов»), В. Н. Ланина («Песня о Соколе»), И. А. Ревякина («Песня о Буревестнике»), А. А. Тарасова («Челкаш»), Е. А. Тенишева («Бывшие люди», «Рождение человека», «Ледоход»).

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Жегалов. Великий писатель России 3

ПОВЕСТИ

Детство 41
В людях 202

РАССКАЗЫ

Макар Чудра 459
Челкаш 469
Песня о Соколе 496
Однажды осенью 500
Коновалов 506
Бывшие люди 547
Песня о Буревестнике 598
Случай из жизни Макара 599
Рождение человека 625
Ледоход 634

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ»

IV 655
VII 658
XI 661
XXIV 666

Комментарии 669

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Том 13

Алексей Максимович Горький

ИЗБРАННОЕ

Ответственный редактор
Н. М. Кожмякина
Художественный редактор

В. А. Горячева

Технический редактор

Л. В. Гришина

Корректоры

Э. Л. Лофенфельд и Е. А. Сукьян

ИБ № 5205

Сдано в набор 15.02.82. Подписано к печати 17.09.82.
Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт акаде-
мический. Печать высокая. Усл. печ. л. 44,13. Усл.
кр.-отт. 47,81. Уч.-изд. л. 45,39+9 вкл.=46,07. Ти-
раж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ № 455.
Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Детская литература» Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Чер-
касский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграф-
прома Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Моск-
ва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополномерных форм «Целлофот»

Горький М.

Г71 Избранное/ Предисл. Н. Н. Жегалова; Ил. Б. А. Дехтерева.— М.: Дет. лит., 1982.— 686 с., ил., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 13).

В пер.: 2 р. 10 к.

В том вошли избранные произведения М. Горького: повести «Детство» и «В людях», рассказы «Макар Чудра», «Челкаш», «Песня о Соколе», «Однажды осенью», «Коновалов», «Бывшие люди» и др.

Г **4803010102—469** Подп. изд.
М101(03)82

Р2

